

A woman with her hair in a bun is seen from behind, looking into a large, ornate mirror. In the reflection, she is wearing a white dress and a red ribbon around her neck. Behind her in the reflection is a devil with horns and a menacing expression. The scene is dimly lit, creating a dramatic and ominous atmosphere.

А.В.Косарев

ПРАВО НА ВЫХОД

ПРАВО НА ВЫХОД

18+

Анатолий Косарев

ОСВОБОЖДЕНИЕ

<https://litres.ru/74027189>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Дочери, которые так ухаживают за матерями с деменцией, умирают раньше них. Вы — следующая.» Эту фразу Вера услышала от врача — и поняла: то, что она считала любовью, было клеткой. В доме, где Анна Кирилловна строила крепость из контроля и долга, теперь четверо. Дочь, которая была прислугой. Мать, которая иногда не узнаёт дочь. Военный Григорий, обещавший свободу. И Сергей, который давно считает себя лишним. Каждый мнит себя жертвой и хозяином судьбы. Никто не спрашивает, почему по ночам в доме звучат шаги, которых быть не должно. Это три слоя одной истории: семейная драма о долге, психологический триллер о манипуляторах и притча о наследстве, которое не отдают.

Герои отчаянно пытаются вырваться из невидимой клетки прошлого, не замечая, что сами строят стены более суровой тюрьмы. Роман глубоко исследует созависимость, вину и границы человеческой свободы. Ведь истинное зло побеждает не тогда, когда оно становится сильнее, а в момент, когда человек решает смириться и опускает руки.

Содержание

ЧАСТЬ 1. ИЛЛЮЗИЯ	5
ГЛАВА 1. «ТРЕТЬЕ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ»	6
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИКА ГРЕХА	53
ГЛАВА 3. ГРУДНОЙ СЕЙФ	137
ГЛАВА 4. ГРИГОРИЙ АННА ПРИНИМАЕТ ГРИШУ СЕРЁЖА И ГРИГОРИЙ ПЕРВОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЛО ОСМОТР ДОМА	166 171 189 193 198
ГЛАВА 5. ТИШИНА ВЕРЫ	205
ГЛАВА 6. ЧУЖАЯ ЕДА Трапеза в одиночестве	234 248
ГЛАВА 7. ПОСЛЕ ТАРЕЛКИ	251
ГЛАВА 8. МАТЕМАТИКА ИЗБАВЛЕНИЯ	289
ГЛАВА 9. ДОМ ПОМНИТ	343
Глава 10. ГРИГОРИЙ-ФАНТОМ	365
ГЛАВА 11. «КОТ ШРЁДИНГЕРА»	391
ГЛАВА 12. ПСИХИАТР	402
ГЛАВА 13. ЭКЗЕКУЦИЯ: ГОЛОС	418
ГЛАВА 14. ХИТРОСТЬ НЕМОЩИ	456
ГЛАВА 15. НОЧЬ СЛАБИТЕЛЬНОГО	482

Анатолий Косарев
ОСВОБОЖДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ИЛЛЮЗИЯ

ГЛАВА 1. «ТРЕТЬЕ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ»

ПОДГОТОВКА КВАРТИРЫ

У Веры из головы никак не выходил ночной кошмар.

Перед глазами всё крутилось одно и то же: темнота, медленные харкающие шаги, незнакомые, в коридоре и то, как она лежала, цепenea от первобытного ужаса, пока дверная ручка медленно ползла вниз... Но всё это было ночью. Сейчас же день, когда маме исполнилось 75, и Вера мелко резала селёдку. Мама не выносила крупных кусков и всегда ворчала, что это «по-деревенски».

— Верочка, скатерть косо лежит.

— Сейчас, мама. Вере хотелось вогнать кухонный нож в разделочную доску по самую рукоять, но она ответила как всегда — тихо и покорно.

В воздухе кухни висел запах котлетного жира — многолетний, въевшийся в обои с коричневым рисунком, как сам запах её несвободы

Она не оборачивалась. Знала и так: Анна Кирилловна сидит на своём стуле у серванта — не на диване, не в кресле, а именно на стуле, с прямой спиной, сложив руки на коленях, — и наблюдает за дочерью взглядом начальника ОТК, выискивающего невидимый брак в самой ткани её существа.

— Косо, говорю.

Вера вытерла руки о передник и вышла из кухни. Скатерть лежала ровно. Она потянула её на полсантиметра влево.

— Вот так, — сказала мама и кивнула.

Квартира к юбилею была вымыта дважды: в среду Вера делала полную уборку, в пятницу прошлась ещё раз по плинтусам и карнизам.

Кухня пахла луком и котлетным жиром. Запах был густой, душный, липкий — Вера помнила его с детства, он пропитал, казалось, сами стены, въелся в обои с коричневым рисунком, которые не меняли с восьмидесятого года. На подоконнике стояли три горшка с геранью. Герань цвела — красные шапки, яркие до неловкости, как помада на старом лице.

Поливала сама, даже когда плохо ходила. Вера однажды

предложила помочь — Анна Кирилловна посмотрела на неё так, будто та предложила что-то неприличное.

— Оливье не жидкий сделай, — сказала мама из комнаты.

— В прошлый раз был жидкий.

— Я помню.

— Ты говоришь «помню», а потом делаешь жидкий.

Вера молчала. Это был не спор — спорить здесь было не с кем и не о чем, это было просто устройство мира, как погода или давление в кранах. Она добавила в миску ещё картошки и стала резать — ровными кубиками, как учила мама, как учила мама маму, как, наверное, резали всегда в этом роду, передавая по наследству вместе с хрустальной вазой на серванте и умением молчать в нужный момент.

Хрустальная ваза стояла на своём месте — в центре серванта, между фотографиями и стопкой открыток, перевязанных розовой ленточкой. Открытки мама хранила все.

Поздравления с восьмым марта от профкома, от учеников, от соседки Зинаиды Фёдоровны, которая умерла в девяносто восьмом, — всё лежало стопочкой, как маленький архив чужого уважения.

На самом видном месте серванта, прислонённая к стеклу, — медаль «Ветеран труда» в бордовой коробочке, крышка откинута. Рядом — фотография в рамке: Анна Кирилловна

молодая, в белом халате, что-то объясняет у доски. Строгая. Уверенная. Совсем другая.

Или та же самая.

— Верочка, духи мне подай. Красные. На туалетном столике.

Вера сняла передник, прошла в спальню. На туалетном столике стояло несколько флаконов — она сразу увидела «Красную Москву», тяжёлый флакон тёмного стекла. Принесла.

Анна Кирилловна взяла, не поблагодарив, — не из грубости, просто это не входило в систему. Благодарят за что-то неожиданное, а Вера делала то, что должна была делать. Мама нанесла духи на запястья, на шею — одно движение, привычное, из другой эпохи, — и Вера вдруг отчётливо увидела: мама сегодня волнуется. Совсем чуть-чуть. Почти незаметно. Руки были спокойны, лицо — непроницаемо, но духи она нанесла сначала на левое запястье, потом снова на левое.

— Гости к шести? — спросила Вера.

— К шести. Зинаида раньше придёт, она всегда раньше.

— Я знаю.

— Ты знаешь, — повторила мама — ровно, без интонации. — Тогда поторопись с салатами.

Вера замерла, так и не опустив нож на доску. Рука её мелко дрожала. Спросить? Прямо сейчас, в лоб спросить?! Изнутри удушливой волной снова хлынул ночной кошмар: она опять, до безумия отчётливо вспомнила, что в коридоре кто-то ходил. Ведь не мама это была, и не брат, нет! Это были чужие, грубые шаги, а за ними — тяжёлое, какое-то влажное, предсмертное хрипение у самой щели её двери... Она мысленно осеклась, попыталась загнать этот ужас обратно, приказать себе молчать, но дикий, первобытный страх оказался сильнее её воли. Слова сами, против ума, сорвались с губ: — Мама Я ночью слышала шаги. Чужие они были, мама!

Анна Кирилловна даже не обернулась: — Тебе приснилось, Вер. Не засиживайся допоздна. Ложись спать пораньше.

Вера вернулась на кухню.

За окном был март — серый, мокрый, без обещаний. Снег уже сошёл, но земля ещё не верила в это и выглядела растерянной. По уличному тротуару шла женщина с коляской, низко опустив голову. Вера смотрела на неё секунду, не больше, — потом отвернулась и снова взяла нож.

Надо было ещё нарезать хлеб.

И поставить чайник.

И переодеться до прихода гостей.

И улыбаться.

ПРИХОД ГОСТЕЙ

Зинаида Фёдоровна позвонила в калитку в половине шестого.

Серёжа вздрогнул от звонка так, будто это был сигнал к началу зачётных стрельб, на которых он заранее промахнулся. Он сорвался с места и почти выбежал в сени — не из вежливости, а спасаясь от маминога взгляда, который уже начал медленно, слой за слоем, снимать с него кожу

Это тоже была система: в этом доме многое делалось по принципу наименьшего сопротивления, и все давно перестали разбираться, где здесь привычка, а где характер.

Вера слышала звонок из кухни:

— Здравсьте, Зинаида Фёдоровна. Осторожно — ступенька подмёрзла.

— Серёженька! Вырос-то как!

Серёже был сорок один год.

Вера перевернула котлеты и ничего не сказала — себе, в уме.

Только крепче сжала деревянную лопатку.

Зинаида Фёдоровна вошла в дом как таран. Зинаида Фёдоровна ворвалась в комнату, неся на себе облако сладкого, до тошноты густого парфюма, который немедленно вступил в схватку с запахом котлетного жира. Этот запах «праздника» казался здесь таким же неуместным, как яркая герань на фоне выцветших обоев восьмидесятого года.

Пальто — тяжёлое, драповое, пахнущее мартовской улицей и сладкими чужими духами — она начала снимать ещё в сенях, и к тому времени, как добралась до комнаты, была уже полностью готова к торжеству.

— Аннушка! Красавица моя! В третий раз поздравляю тебя с двадцатипятилетием!

Все засмеялись.

Мама позволила себя обнять — слегка, кончиками пальцев придерживав гостью за локти, с тем тихим достоинством, которое Вера наблюдала всю жизнь и которому не могла дать точного названия. Не высокомерие. Скорее — привычка к тому, что тебя любят. Давно усвоенная, спокойная привычка.

— Верочка, — сказала мама, — пальто повесь. В тёмной прихожей, среди тяжёлых драповых пальто, Вере снова почудилось то самое влажное, хриплое дыхание из кошмара. Она замерла, вцепившись в рукав гостьи. Ей казалось, что

если она сейчас обернётся, то увидит за своей спиной не вешалку, а ту самую «закрытую коробку», которую ей скоро предстоит открыть

Вера унесла тяжёлый драп в тёмную прихожую. В нос сразу ударил запах застоявшейся сырости. Из угла, у самого плинтуса. Будто ночью здесь действительно стоял кто-то в мокрой обуви. Призрак? Или Серёжа наследил, когда ходил курить

Вера машинально вернулась на кухню.

Пришла Римма Павловна — соседка через два дома, маленькая, быстрая, с коробкой зефира. Чмокнула маму в щёку, сунула коробку Вере: «Верочка, поставь на стол, я сама уберу потом, не беспокойся» — и немедленно устроилась на диване рядом с Зинаидой Фёдоровной, и обе уставились на Анну Кирилловну с одинаковым выражением умилённого ожидания, как зрители перед началом спектакля.

Мама сидела во главе стола.

Никто её туда не сажал. Просто так вышло — как всегда выходило в этом доме, где каждый предмет и каждый человек давно нашли своё место и держались его с тихим упрямством. Юбилейное платье — тёмно-синее, с брошью — было отглажено Верой вчера. Волосы мама уложила сама. Причёску никому не доверять — это был принцип.

— Аннушка, — сказала Зинаида Фёдоровна и всплеснула руками, — ну как ты так умудряешься? Семьдесят пять — а

выглядишь на шестьдесят, не больше!

— На шестьдесят пять, — поправила мама — без обиды, с удовлетворением человека, принимающего должное.

Серёжа сидел на своём месте — с краю дивана, ближе к окну, немного в стороне от центра, словно готов был в любую секунду вскочить. Он кивал Зинаиде Фёдоровне, вовремя улыбался.

Но Вера видела: брат не в себе. Нервный. Чужой. С утра дважды выходил во двор без причины. Долго стоял у забора. Смотрел на пустую улицу. Будто высматривал кого-то. Или ждал. Потом вернулся, спросил: «Вер, чем помочь?» — она сказала: «Наколи дров» — и он наколол хорошо, аккуратно, принёс и сложил у крыльца. Конкретное он всегда делал хорошо. Без конкретного приказа терялся.

Вера носила блюда из кухни.

Селёдку под шубой. Оливье — не жидкий, мама не любит жидкий. Хлеб нарезанный. Никто не предложил помочь. Серёжа мог бы — но он разговаривал, и это тоже было нужно, это тоже была работа, просто другая, та, которая на виду.

— Верочка, нож для рыбы возьми другой, — сказала мама, не оборачиваясь. — Я же показывала, где лежит.

— Да, мама.

Зинаида Фёдоровна проводила Веру взглядом — тёплым,

искренним — и сказала маме вполголоса, но достаточно громко:

— Золото у тебя дочь, Аннушка. Настоящее золото.

— Да, — согласилась мама.

Просто «да». Ровно, без паузы. Как соглашаются с очевидным.

Вера стояла у буфета спиной к ним, искала нож в верхнем ящике. Нож лежал там, где всегда. Она нашла его сразу — но не торопилась оборачиваться. Смотрела на фотографию в рамке: мама молодая, у доски, строгая, уверенная. Или та же самая — просто другой возраст.

Держала нож и смотрела.

Потом стукнула калитка.

Один удар — резкий, уверенный, без лишних движений.

В комнате стало тише на один короткий момент, почти неуловимый. Серёжа перестал говорить на полуслове. Зинаида Фёдоровна повернула голову к окну — рефлексивно, как поворачиваются на незнакомый звук.

— Иди открой, — сказала мама.

Непонятно кому — Вере или Серёже. Оба это поняли. Серёжа поднялся первым — и Вера заметила: поднялся не как человек, которому всё равно, а как человек, который хочет первым посмотреть.

СЕРЁЖА

Серёжа вернулся через минуту.

Григорий Иванович, — объявил Серёжа, и в его голосе прорезалась странная, почти детская робость. Григорий вошёл не как гость, а как оператор, оценивающий рельеф местности. Его взгляд не задержался на праздничном столе — он сразу нашёл Веру, и она почувствовала, как её внутренняя «ровность» даёт первую глубокую трещину.

Мама оживилась сразу:

— Ну так зови, Серёжа. Зови.

Серёжа посторонился, пропуская гостя, — и Вера, стоявшая в дверях кухни с ножом в руке, увидела их обоих одновременно: Серёжу у стены, с руками в карманах, с тем прищуренным, осторожным вниманием во взгляде, которое у него появлялось, когда он чувствовал что-то, чему ещё не придумал названия — и Григория, который входил спокойно, без суеты, с двумя тяжёлыми пакетами, которые держал без усилия.

Серёжа поймал взгляд сестры.

Пожал плечами — едва заметно, одним плечом. Что означало примерно: *я ничего не говорю. Просто смотрю.*

Вера убрала нож на стол и вышла к гостю.

Когда гости заговорили все разом — Зинаида Фёдоров-

на с вопросами, Римма Павловна с восклицаниями, мама с тем своим особым оживлением, которое Вера видела редко и всегда замечала, — Серёжа тихо зашёл на кухню.

Сел на табурет у окна. Вытянул ноги.

Серёжа тихо зашёл на кухню, сел на табурет у окна и вытянул ноги. За окном лежал мартовский двор: сырая земля, рыжие листья и голая старая яблоня у забора, но она плодоносила каждый год — упрямо, без спросу, ни от кого не завися.

— Мама давно с ним знакома? — спросил Серёжа.

— С января. Она рассказывала.

— Мне не рассказывала.

Вера промолчала. Помешала в кастрюле.

— Ты его видела раньше?

Она не ответила сразу, рука с ложкой над кастрюлей на мгновение замерла — чуть дольше, чем нужно для простого «нет».

— Несколько раз, — сказала она наконец. — Случайно.

Серёжа посмотрел на неё.

— Случайно, — повторил он, и словно взвесил это слово на ладони, не поверив, без интонации вопроса, но и без интонации согласия. Просто взял слово и подержал его немного, как держат монету, которую ещё не решили, класть ли в

карман.

— Иди к гостям, Серёж.

— Иду.

Но не шёл. Сидел, смотрел в окно на двор, на яблоню, на серое небо над забором. Потом сказал — и в голосе его было что-то, чего Вера давно не слышала, что-то прямое и негромкое, без его обычной обволакивающей весёлости:

— Вер, он ведь не за селёдкой пришёл, ты же видишь? — Серёжа кивнул на закрытую дверь комнаты, и в его голосе прорезалось то самое дребезжание, которое бывает у человека, почуявшего в своём лесу более сильного хищника. — Мама таких просто так в дом не впускает. Он её как будто «считал», понимаешь?

— Мама пригласила. На юбилей.

— Мама чужих в дом не пускает — отрезал брат. — Тем более на юбилей.

Вера сняла крышку с кастрюли.

Пар от котлет медленно лизал старое жёлтое пятно на потолке — вечный след от прорванной трубы, который никто не закрашивал, будто это была родовая отметина их общего бессилия перед распадом этого дома

— Серёжа, — сказала она ровно. — Человек пришёл на день рождения. Принёс подарок. Сидит за столом.

— Я понимаю.

— Тогда иди.

Он встал. Одёрнул рубашку — привычно, машинально, с тех пор как мама начала делать замечания по поводу внешнего вида. Постоял секунду.

— Котлеты не пережарь, — сказал он.

— Я знаю.

Он ушёл — и через несколько секунд Вера услышала, как он входит в комнату: голос сразу нашёл нужную интонацию, наполнил пространство — не нагло, просто привычно, так как умел только он.

— Зинаида Фёдоровна, а вот у меня на прошлой неделе был случай...

Зинаида Фёдоровна засмеялась — заранее, ещё не зная, чем кончится.

Вера перевернула котлеты.

Они зашипели громче.

Она стояла у плиты и думала. **Не словами — тем липким, подсознательным страхом, который боишься озвучить.** Серёжа задал правильный вопрос.

Её «случайно» было неточным. Не ложью — просто неточным. Ведь случайность означает, что у тебя не было выбора. А Вера **выбрала сама.** Она сама рассказала Григорию, какой этот дом старый, тяжёлый и душный для троих.

Котлеты начинали пахнуть готовностью.

Она сняла их с огня.

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ГРИШИ

Дверь Вера открыла сама — мама не сказала «открой», просто она всегда открывала.

На пороге стоял мужчина лет пятидесяти с небольшим. Невысокий, плотный, в тёмном пальто без лишних деталей. В руках — два пакета, увесистых, явно тяжёлых, но он держал их без усилия, ровно, как держат вещи люди, привыкшие к нагрузке. Под пальто — тёмный свитер, не праздничный, но чистый. Выбрит. Волосы короткие, без претензий.

Он смотрел на Веру.

Не нагло. Просто — смотрел. Спокойно и внимательно, как смотрят на что-то, что нужно запомнить.

— Добрый вечер, — сказал он. — Я Григорий. Мы с Анной Кирилловной из одной поликлиники. Она приглашала.

Голос был ровный. Без интонации праздника.

— Да, — сказала Вера. — Проходите.

Она посторонилась. Он вошёл — негромко, без той суеты, с которой входят в чужой дом впервые, когда не знаешь, куда деть руки и где встать.

Григорий вошёл и сразу занял собой весь объём прихожей. Он не ждал приглашения — он инспектировал. Его

взгляд скользнул по вешалке, по криво висящему зеркалу, по маминому пальто, и Вера почувствовала: он не гость, он — новый квартирмейстер, прибывший в запущенную казарму»

— Разрешите? — сказал он и кивнул на пакеты.

— Я возьму, — сказала Вера.

— Тяжёлые.

— Ничего.

Он не стал спорить. Просто поднял оба пакета и поставил их чуть ближе к ней — не отдал, но сократил расстояние. Она взяла. Пакеты были действительно тяжёлые.

Из комнаты доносился голос Серёжи — он добрался наконец до развязки истории про Ярославку, и Зинаида Фёдоровна смеялась. Григорий слушал секунду, не больше, — просто зафиксировал, что там люди, — и повернулся к Вере.

— Анна Кирилловна дома?

— В комнате. Я провожу.

— Не нужно, — сказал он. — Я найду.

И прошёл — ровно, без спешки.

Вера осталась в прихожей с двумя пакетами. Заглянула в один: коньяк, хороший, не дорогой напоказ, но хороший — она разбиралась достаточно. Конфеты в жестяной коробке. Что-то в белой бумаге, перевязанное шпагатом, — судя по форме, книга. Она не стала разворачивать.

В комнате голос Серёжи осёкся.

Потом — пауза.

Потом мама сказала:

— Гришенька, ну наконец-то. Я уж думала, не придёшь. Вера вошла, когда он уже сидел.

Не во главе стола — туда он и не думал садиться — но и не на краю, не там, где садятся те, кто чувствует себя лишним. Он занял место ровно посередине, сбоку, и сидел прямо, без показной прямоты, — просто так, будто любой другой способ сидеть был бы ему неудобен.

Мама смотрела на него иначе, чем на остальных.

Вера это заметила сразу и сразу же убедила себя, что показалось.

— Познакомьтесь, — сказала мама. — Это Григорий Иванович. Мы с ним в очереди к кардиологу познакомились, ещё в январе. Очень интересный человек.

— Да какой там интересный, — сказал Григорий ровно, без ложной скромности. Просто констатировал.

— Интересный, интересный. — Мама слегка качнула головой — жест, который означал: я сказала, значит так и есть.

Зинаида Фёдоровна уже смотрела на него с любопытством — тем специальным женским любопытством к мужчине, который вошёл в комнату и не заполнил её собой, не рассыпался в любезностях, просто сел и оказался как-то весомее других. Римма Павловна поправила брошь.

Серёжа разглядывал цепочку у себя на груди.

— Вы по какой специальности? — спросила Зинаида Фёдоровна.

— Был военным, — сказал Григорий. — Сейчас на пенсии.

— О, военный! — обрадовалась она, как будто это объясняло что-то очень важное.

— Бывший, — поправил он.

Бывших военных не бывает — это Вера слышала когда-то, не помнила где. Глядя на него, она думала, что, наверное, это правда. Не потому что он производил впечатление — как раз наоборот. Он намеренно не производил никакого впечатления. Но в том, как он сидел, как держал руки на столе — спокойно, ладонями вниз, — как слушал чужой разговор, не встречая, но и не выпадая, — во всём этом была какая-то выправка, которую не снимешь вместе с погонами.

На левой руке — шрам. Старый, давно зарубцевавшийся, белёсый. Шёл от запястья наискосок, терялся под манжетой свитера. Он не прятал его и не выставлял — просто рука лежала на столе, и шрам был частью руки, как линии на ладони.

Вера поставила на стол коробку конфет из его пакета.

— От Григория Ивановича, — сказала она.

— Зачем было тратить, — сказала мама тоном, который означал: правильно сделал.

— Пустяки, — сказал он.

Серёжа потянулся к конфетам, открыл коробку, взял одну — шуршание фольги прозвучало в наступившей тишине неожиданно громко. Он почувствовал это, оглянулся, предложил коробку Зинаиде Фёдоровне. Та взяла. Напряжение

рассеялось.

— Григорий Иванович, — сказал Серёжа, — вы давно с мамой знакомы?

— С января, — повторил тот.

— А, — сказал Серёжа. И больше ничего не спросил.

Вера вернулась на кухню за котлетами.

Пока несла блюдо по коридору, остановилась на секунду — не специально, просто остановилась — и посмотрела в комнату через приоткрытую дверь.

Григорий говорил что-то маме — негромко, наклонившись чуть вперёд. Мама слушала. Лицо у неё было — Вера искала слово и не находила. Не моложе. Просто — другое. Как будто кто-то убрал оттуда что-то тяжёлое, что обычно там лежало.

Он поднял глаза.

Прямо на Веру — через коридор, через приоткрытую дверь, через расстояние.

Она пошла на кухню.

Поставила блюдо на плиту. Постояла. Руки были совершенно спокойны. Она удивилась этому — тому, что руки спокойны, — потому что внутри что-то сдвинулось, совсем немного, как сдвигается мебель в комнате, когда её передвинули на несколько сантиметров: всё вроде бы на месте, но ходить нужно чуть иначе.

Она взяла блюдо и понесла к столу.

— Котлеты, — сказала она.

— Наконец-то, — сказал Серёжа и потёр руки.

Григорий посмотрел на блюдо. Потом на Веру.

— Спасибо, — сказал он.

Просто «спасибо». Без имени, без улыбки. Но она почувствовала: он заметил её. Не как часть сервировки — как человека.

Это было так непривычно, что она не нашла, что ответить.

И просто пошла за следующим блюдом.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Первый тост произносила Зинаида Фёдоровна.

Она встала — торжественно, с рюмкой наливки на уровне груди — и говорила долго, с чувством, про годы и мудрость, про то, что такие люди, как Анна Кирилловна, — это редкость, это соль земли, это то, чего сейчас уже не делают. Слова были правильные, красивые, явно подготовленные заранее. Зинаида Фёдоровна даже немного волновалась — голос чуть дрожал на слове «семьдесят пять», — и это волнение было настоящим, не наигранным.

Все выпили.

Мама пригубила — ровно столько, сколько считала приличным.

— Спасибо, Зиночка, — сказала она. — Ты всегда умела

говорить красиво.

Это был комплимент. Но что-то в интонации — самую малость, на одну ноту — делало его немного снисходительным. Зинаида Фёдоровна этого не заметила. Она расцвела и снова села, довольная собой, поправляя бусы.

Вера заметила.

Она сидела на своём обычном месте — с краю, ближе к кухне, чтобы в любой момент можно было встать, — и ела мало, почти не ела. Накладывала, переставляла вилкой по тарелке, иногда подносила ко рту. Следила за столом: у Зинаиды Фёдоровны кончилась наливка — долить, у Риммы Павловны нет хлеба — подать, Серёжа тянется через весь стол за салатом — поставить ближе.

Это тоже была работа.

Невидимая, непрерывная.

— Верочка, — сказала мама, — у Григория Ивановича тарелка пустая.

— Я вижу, мама.

Она потянулась с блюдом к Григорию. Он слегка наклонил голову — коротко, как кивают люди, у которых благодарность выражается жестом, а не словами. Вера переложила котлеты и отвела глаза.

Тосты шли своим чередом.

Серёжа говорил второй — уже свободнее, уже немного больше, чем нужно, — но говорил хорошо, искренне, и в какой-то момент голос у него сел, и он кашлянул и засмеялся,

чтобы это скрыть, и все сделали вид, что не заметили. Мама смотрела на него во время тоста с тем же выражением — не мягче и не жёстче — и когда он закончил, сказала:

— Молодец, Серёженька.

Как говорят ребёнку, который прочёл стихотворение на утреннике.

Серёжа выпил. Налил ещё — не сразу, выждал немного, но налил.

Потом был тост от Риммы Павловны — короткий, сбивчивый, про здоровье и долгие лета. Потом Григорий поднял рюмку — без вступления, без предисловий — и сказал только:

— За вас, Анна Кирилловна. Дай бог здоровья.

Пять слов.

Мама посмотрела на него и чуть заметно кивнула — по-другому, чем кивала остальным. Будто эти пять слов весили столько же, сколько речь Зинаиды Фёдоровны.

Выпили.

За едой разговор расплылся, потёк в разные стороны — про погоду, про цены, про то, что в соседнем доме сделали ремонт подъезда и теперь домофон не работает. Серёжа рассказал ещё одну историю, уже не про Ярославку, — эта была короче и смешнее, и Зинаида Фёдоровна смеялась так, что вытирала глаза салфеткой.

Стол был хорош.

Это Вера знала объективно, без самолюбия — просто

факт. Селёдка под шубой лежала ровными слоями, оливье не жидкий, котлеты не пережаренные, хлеб нарезан правильно, всего достаточно и ничего лишнего. Такой стол требовал двух дней работы и не требовал ни одного слова благодарности — он просто должен был быть таким, это подразумевалось.

— Анечка, — сказала Зинаида Фёдоровна, накладывая себе ещё салата, — ты такую дочь вырастила. Такую дочь. Я всегда говорю: Верочка — это настоящее сокровище.

— Да, — согласилась мама.

Пауза.

— Верочка у меня — настоящий Ветеран Труда, только без медали, — мама обвела присутствующих взглядом, в котором гордость за дочь мешалась с удовлетворением владельца, чей инструмент работает исправно. — Другие бы разлетелись, а эта — как пришитая. Чистая овечка, правда, Зиночка?

Рядом. Я без неё не знаю, как бы и справлялась.

Зинаида Фёдоровна умилённо покачала головой.

Римма Павловна сказала: «Это редкость сейчас, редкость».

Серёжа смотрел в тарелку.

Вера улыбнулась.

Улыбка получилась правильная — тёплая, скромная, такая, какой и должна быть улыбка золотой дочери, которую

только что похвалили. Она умела эту улыбку. Выучила давно, носила как носят удобную, разношенную обувь — не замечая.

Но где-то под улыбкой, глубже, там, куда гости не смотрят, что-то сжалось и не разжалось.

Так и не вышла замуж.

Сказано с любовью. Сказано с гордостью. Сказано при людях — и значит, теперь это правда, теперь это версия, которая останется, которую будут пересказывать: *Верочка, вы знаете, такая преданная дочь, всё возле матери, вся жизнь — матери.*

Вера взяла кусок хлеба и стала есть.

— А Серёженька у нас творческий человек, — сказала мама немного погодя.

Она говорила это в пространство, ни к кому конкретно — просто продолжала рассказывать гостям про детей, как рассказывают про предметы в коллекции: вот этот редкий, вот этот с историей, вот этот с трещиной, но тоже по-своему интересный.

Творческий человек.

Серёжа не поднял глаз. Он в этот момент намазывал хлеб маслом — медленно, старательно, с преувеличенным вниманием к процессу. Рука почти не дрожала.

— Он у меня с детства такой был, — продолжала мама. — Всё придумывал, всё фантазировал. В технический институт поступил — не доучился. Потом на завод пошёл — не задер-

жался. Ну что ж. Зато человек живой, правда, Серёженька?

— Правда, мам, — сказал он.

Голос был ровный. Почти.

— Живой, — повторила мама с удовлетворением. — Это тоже дар.

Зинаида Фёдоровна снова закивала. Римма Павловна сказала что-то про то, что главное — здоровье. Разговор потёк дальше, перешёл на чьих-то внуков, на пенсии, на лекарства.

Вера смотрела на брата.

Он дожевывал хлеб. Потянулся к графину — на этот раз мама ничего не сказала, и он налил, выпил, поставил рюмку аккуратно, точно на прежнее место. Поднял глаза — встретился с Верой взглядом — и одними губами, беззвучно, сказал что-то.

Она не разобрала.

Он усмехнулся и отвернулся к Зинаиде Фёдоровне.

Григорий ел молча и ровно.

Не демонстративно молчал — просто не чувствовал нужды говорить, когда говорить было не о чем. Иногда отвечал на вопросы Зинаиды Фёдоровны — коротко, точно, без лишнего — и снова замолкал. Один раз сам спросил что-то у мамы про поликлинику, про нового терапевта — и мама отвечала ему охотнее, чем отвечала остальным, голос становился чуть живее, интонация — чуть моложе.

Вера подкладывала котлеты.

Убирала пустые тарелки.

Приносила из кухни чистые вилки.

В какой-то момент она встала за чем-то и, проходя мимо серванта, увидела себя в тёмном стекле — мельком, на секунду. Женщина с тарелкой. Тёмное платье, волосы убраны. Лицо — она не успела разглядеть лицо.

— Верочка, чай когда поставишь? — спросила мама.

— Сейчас, мама.

Она пошла на кухню.

Поставила чайник. Достала чашки — праздничные, из сервиза, который доставали три раза в год. Расставила на подносе. Руки двигались сами, по памяти, без участия мыслей.

За стеной смеялась Зинаида Фёдоровна.

Мама что-то говорила — негромко, уверенно.

Серёжа снова наливал.

И Вера стояла у плиты и ждала, когда закипит чайник, и смотрела на огонь под ним — синий, ровный, бесшумный — и думала о том, что праздничный сервиз она мыла вчера, и сегодня вымоет снова, и поставит обратно в сервант, и закроет стеклянную дверцу, и всё будет стоять ровно до следующего раза.

Чайник закипел.

Она сняла его с огня.

ПЕРВЫЙ МИКРОВЗРЫВ

Чай по чашкам разливала Вера.

Праздничные чашки — белые, с синей каёмкой, тонкие настолько, что сквозь фарфор просвечивал палец, — она расставила по блюдам аккуратно, без звука. Сахарница в центре. Вазочка с зефиром от Риммы Павловны. Коробка конфет, принесённая Григорием, — жестяная крышка снята, конфеты лежат рядами, нетронутые почти.

Серёжа к этому моменту выпил достаточно.

Не много — он умел держать количество в той зоне, где ещё всё в порядке, где ещё можно и голос ровный, и глаза смотрят куда надо. Но Вера видела: чуть больше обычного жестикулирует. Чуть громче смеётся. Чуть быстрее находит слова — слишком быстро, без паузы между чужой репликой и своей.

Разговор шёл о здоровье — как всегда шёл разговор за этим столом в какой-то момент, неизбежно, как вода находит щель. Зинаида Фёдоровна рассказывала про свои колени. Римма Павловна — про давление. Мама слушала с видом человека, у которого и колени, и давление устроены лучше, чем у остальных, — слушала молча, но сам этот молчаливый вид был красноречив.

— Анна Кирилловна, — сказал вдруг Григорий, — вы в

прошлый раз говорили, что кардиолог вам что-то новое назначил.

— Назначил, — сказала мама. — Пью.

— Помогает?

— Помогает. — Она помолчала секунду. — Когда пьёшь — помогает.

Это было сказано просто, без жалобы, без призыва к сочувствию — просто факт, произнесённый вслух. Но Вера почувствовала: факт адресован. Не Григорию. За столом.

Она поставила чашку перед мамой.

— Верочка, мне не очень горячий, — сказала мама.

— Я знаю, мама.

— Ты говоришь «знаю», а в прошлый раз принесла кипяток.

— Этот не кипяток.

Мама взяла чашку, отпила — проверила — и поставила обратно. Ничего не сказала. Это тоже был ответ.

Серёжа в этот момент смотрел в окно.

За окном был уже плотный вечер — фонари, мокрый асфальт, синий прямоугольник неба между домами. Он смотрел туда без выражения, без мысли, которую можно было бы поймать и назвать, — просто смотрел, и что-то в нём в этот момент было очень тихим, почти детским.

Потом он обернулся.

И засмеялся — вдруг, неожиданно для себя самого, громко:

— Мам, а вот я что думаю: ты нас всех ещё переживёшь. Серьёзно. Ты у нас железная, ты ещё на наших похоронах будешь стоять и командовать, где венки класть!

Зинаида Фёдоровна засмеялась.

Римма Павловна — тоже, чуть позже, вслед, как смеются на всякий случай, когда ещё не до конца понятно, смешно ли.

Вера не засмеялась.

Она в этот момент стояла с чайником у края стола и смотрела на мать.

Анна Кирилловна не засмеялась.

Она замерла.

Не резко — не как человек, которого ударили, — а медленно, как медленно останавливается маятник: ещё качнулся, ещё качнулся — и вдруг стоит. Руки на скатерти. Лицо — ровное, закрытое, но под этой ровностью что-то двигалось, что-то поднималось снизу, как поднимается вода под льдом — невидимо, но лёд уже другой, уже не тот.

Секунда.

Две.

Зинаида Фёдоровна всё ещё улыбалась — она не видела лица Анны Кирилловны, она смотрела на Серёжу.

Серёжа видел.

Улыбка у него начала сползать — медленно, как сползает со стола скатерть, если потянуть за угол, — и он уже хотел что-то добавить, смягчить, перевести в другую сторону, он

умел это делать, он всегда умел это делать, но не успел.

— Вы бы только рады были, — фраза Анны Кирилловны упала в праздничную тишину, как кусок льда в горячий чай. Она не смотрела на сына. Она смотрела сквозь хрустальную вазу, в ту точку пространства, где уже материализовались её страхи. — Сложили бы меня в коробочку, перевязали ленточкой и наконец-то вздохнули. Ведь так, Верочка?

Очень тихо — так тихо, что Зинаида Фёдоровна не сразу поняла, что она сказала, и переспросила:

— Что, Аннушка?

— Ничего, — сказала мама. — Пейте чай.

Тишина была недолгой — может быть, пятнадцать секунд, может, двадцать — но внутри этих секунд умещалось что-то очень большое, что-то, что не имело названия в обычном разговоре, для чего вообще не принято иметь название, потому что если дать ему название — придётся с ним что-то делать.

Вера стояла с чайником.

Она смотрела на мать — и думала, как думают в такие моменты не словами, а чем-то, что глубже слов, — думала о том, что мама сейчас права. Не права по-человечески, не права в смысле справедливости и добра, но права в том смысле, в каком бывает права боль: она просто есть, и она

настоящая, и отрицать её невозможно.

Анна Кирилловна боялась смерти.

Нет — не так.

Она боялась не самой смерти — смерти она не боялась никогда, Вера знала это точно, — она боялась того, что будет после неё. Что они сделают с квартирой. Как быстро разберут вещи. Как скоро перестанут ходить на могилу. Она боялась, что умрёт — и окажется, что её жизнь, её семьдесят пять лет, её медаль «Ветеран труда», её хрустальная ваза и её герань на подоконнике — всё это разлетится в три дня, аккуратно, деловито, почти без горя.

И самое страшное — думала Вера, стоя с чайником у края стола, — самое страшное, что она права.

Не потому что дети злые.

Не потому что Серёжа — плохой сын или она — плохая дочь.

А потому что усталость длиной в двадцать лет — это тоже правда. И эта правда не отменяет любви — они обе существуют одновременно, рядом, как два человека в маленькой комнате, которые давно друг друга знают и давно друг от друга устали, но никуда не уходят, потому что идти некуда и незачем.

Вы бы только рады были.

Пять слов.

И в этих пяти словах — вся история их семьи, весь счёт, который никто никому не предъявлял вслух, но который все

знали наизусть, как знают наизусть стихотворение, которое не любишь, но которое учила в детстве и которое уже не забудешь.

Серёжа кашлянул.

— Мам, — сказал он — тихо, без смеха, совсем другим голосом, — я же пошутил. Ты что.

— Я знаю, — сказала мама.

— Ну и всё тогда.

— И всё, — согласилась она.

Вера почувствовала, как по спине пробежал холод. Это не был каприз именинницы — это была первая глубокая трещина в «бронне», сквозь которую пахнуло могильным холодом.

Она взяла чашку. Отпила чай — медленно, аккуратно. Поставила. Посмотрела на Зинаиду Фёдоровну:

— Зиночка, ты зефир попробуй. Римма принесла, говорит — хороший.

— Ой, с удовольствием, — сказала Зинаида Фёдоровна с облегчением человека, которому только что разрешили выдохнуть.

Разговор восстановился — медленно, осторожно, как восстанавливается огонь после того, как его чуть не задуло: сначала маленький, неуверенный, потом снова ровный.

Серёжа молчал.

Он сидел прямо, руки на коленях, рюмку не трогал — пер-

вый раз за вечер сам не тянулся, — и смотрел на мать с таким выражением, что Вера отвела взгляд. Потому что в этом выражении было что-то, чего она не ожидала увидеть на его лице — что-то взрослое и очень тихое, почти нежное, то, что бывает у людей, когда они вдруг, на секунду, перестают защищаться.

Григорий во время всего этого не сказал ни слова.

Он сидел ровно, держал чашку двумя руками — грел ладони — и смотрел в стол. Но Вера почувствовала — непонятно как, без доказательств, просто почувствовала — что он не пропустил ни секунды. Что он сидит и слушает эту семью так, как слушают местность, в которой скоро придётся действовать.

Она убрала чайник на кухню.

Встала у плиты.

За стеной снова говорила Зинаида Фёдоровна — про зефир, про то, что раньше зефир был другой, настоящий, — и мама ей отвечала, и голос у неё был снова ровный, снова собранный, снова такой, каким должен быть голос человека, у которого всё в порядке и который принимает гостей.

Вера смотрела на газовую горелку.

Она была выключена — синего огня не было, была просто металлическая решётка и холодная конфорка. Но Вера смотрела на неё так, будто огонь ещё горит. Будто она ждёт, когда он погаснет до конца.

ХАРКАЮЩИЕ ШАГИ

Гости ушли в начале одиннадцатого.

Зинаида Фёдоровна уходила дольше всех — в прихожей ещё раз обняла маму, ещё раз сказала про годы и мудрость, потом вспомнила что-то про соседку с пятого этажа и рассказала это в пальто, уже с сумкой в руке, стоя у открытой двери, из которой тянуло подъездом — сыростью и чужим табаком. Мама слушала стоя, прямо, с тем же терпеливым вниманием, с каким слушала весь вечер — не перебивала, не торопила, просто ждала, когда история закончится сама.

Римма Павловна ушла раньше — сослалась на давление, расцеловала маму в обе щеки, сунула Вере в руки пустую коробку из-под зефира («я потом заберу, не выбрасывайте») и исчезла с лёгкостью человека, который умеет уходить вовремя.

Серёжа задержался.

Он помогал Вере убирать со стола — неловко, переставлял тарелки с места на место больше, чем носил на кухню, — и молчал. Не то чтобы обиженно молчал, и не то чтобы задумчиво — просто молчал, и в этом молчании была та особая трезвость, которая приходит к человеку не тогда, когда он не пил, а тогда, когда внутри что-то остыло.

— Вер, — сказал он наконец, на кухне, когда они остались

вдвоём на минуту.

— Что?

Он стоял у раковины, держал в руках блюдо из-под котлет и смотрел на него, как будто забыл, что с ним делать.

— Она сильно сдала за зиму, — сказал он.

Вера взяла у него блюдо, открыла кран.

— Я вижу, — сказала она.

— Ты говори мне, если что. Звони.

— Звоню.

— Я имею в виду — если серьёзное что.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, Серёжа.

Он кивнул. Потоптался немного. Хотел, кажется, сказать ещё что-то — что-то про Григория, Вера это почувствовала, он уже открыл было рот, — но не сказал. Поднял с табуретки куртку.

— Ладно. Поеду.

— Езжай.

В прихожей он попрощался с мамой — коротко, без объятий на этот раз, просто поцеловал в висок, — и мама подставила висок и закрыла глаза на секунду, и снова открыла, и сказала: «Езжай, поздно уже».

Дверь закрылась.

Григорий ушёл раньше всех — сразу после чая, без лишних слов. попрощался с мамой отдельно, в сторону от гостей, — Вера не слышала, что он говорил, видела только, что мама кивала, и выражение у неё было то же самое, что она

заметила в начале вечера, — то, которому не могла найти названия. Потом он взял пальто сам, оделся в прихожей, сказал Вере «спокойной ночи» — ровно, без интонации, которую можно было бы неправильно истолковать, — и вышел.

На вешалке осталось пятно от его пальто — чуть влажное, мартовское.

Вера методично счищала с тарелок ошмётки оливье и селедочные хвосты. Праздник выветривался, оставляя после себя лишь грязную посуду и стойкий, кислый запах вчерашнего дня, который в этом доме всегда был одинаковым

Скатерть придётся стирать — пятно от наливки с края, маленькое, но мама заметит. Она замочила её в тазу, добавила порошок. Вернулась в комнату — собрать рюмки, которые Серёжа зачем-то переставил на подоконник.

Мама сидела в кресле.

Не спала — просто сидела, сложив руки на коленях, и смотрела в выключенный телевизор. На экране отражалась комната — вверх ногами, тёмная, почти неузнаваемая.

— Мама, — сказала Вера. — Тебе помочь переодеться?

— Подожди, — сказала мама.

Вера подождала.

Мама молчала минуту, может больше. За окном шёл дождь — он начался, пока уходили гости, негромкий, ровный, без намерений. Мокрый март делал своё дело методич-

но, без спешки.

— Хороший был вечер, — сказала мама наконец.

Не вопрос. Утверждение — но с той интонацией, которая ждёт подтверждения.

— Хороший, — сказала Вера.

— Зинаида говорила долго. — Пауза. — Но искренне.

— Да.

— Серёжа выпил лишнего.

— Немного.

— Немного, — повторила мама — ровно, без осуждения, просто зафиксировала, занесла в реестр.

Потом помолчала ещё.

— Григорий Иванович — хороший человек, — сказала она.

Вера не ответила. Она складывала рюмки на поднос — осторожно, стекло к стеклу, — и считала их, хотя прекрасно знала, сколько их должно быть.

— Одинокий, — добавила мама. — Жена умерла три года назад. Дети в другом городе.

— Ты мне рассказывала.

— Рассказывала, — согласилась мама. И ничего не добавила.

Переодевалась мама медленно — не потому что не могла быстрее, а потому что каждое движение в последние годы требовало отдельного решения, отдельного усилия воли. Вера помогала молча: расстегнула крючки на платье сзади

— мелкие, тугие, — сняла с плеч, повесила на спинку стула. Принесла ночную рубашку. Помогла снять чулки.

Мама сидела на краю кровати в одной комбинации — маленькая, сухая, с острыми ключицами — и Вера думала мельком, как думают о том, что видят каждый день и перестали замечать: когда она стала такой маленькой? Было же что-то другое — было плечо, до которого Вера в детстве не доставала, была спина, прямая как стена, был голос, который заполнял коридор.

Куда это девается?

Когда?

Мама потянулась к ночной рубашке сама, Вера подала — и в этот момент распахнулась пола комбинации, и Вера увидела.

Она не сразу поняла, что видит.

Просто что-то белое. Потом — ткань. Потом — форма. Бюстгальтер — старый, давно потерявший форму, растянутый, выстиранный бессчётное количество раз до той степени, когда уже не белый и не серый, а какой-то средний, безмянный цвет. И в чашечке — что-то лежало. Плотно, аккуратно сложенное.

Деньги.

Мама перехватила её взгляд.

Не смутилась — нет. Просто посмотрела на Веру спокойно, с тем спокойствием человека, которого застали за чем-

то, что он не считает нужным скрывать, но и объяснять не торопится.

Медленно достала пачку — не пачку даже, просто несколько купюр, сложенных вчетверо, перехваченных аптечной резинкой. Купюры были мятые, влажноватые, с тем особым видом денег, которые долго лежат близко к телу и пропитываются им.

Положила на колено.

Разгладила ладонью — привычно, машинально.

— Банкам верить нельзя, — сказала она.

Вера стояла и смотрела.

— Сберкасса — и та не надёжная, — продолжала мама ровно, как говорят о вещах давно решённых и пересмотру не подлежащих. — Я при советской власти деньги держала в сберкассе. Всю жизнь откладывала. Ты помнишь, как в девяносто первом всё пропало?

— Помню, мама.

— Вот. — Она снова разгладила купюры. — Больше никому не доверяю.

Пауза.

Дождь за окном шёл ровно, без усиления и без намерения останавливаться.

— Только деньги спасают, — — мама погладила серые бумажки так, как никогда не гладила Веру. — Банки лопаются, дети уезжают, а это — всегда при мне, греет. Ты не понимаешь, Вера, ты ещё не стояла на пустом перроне, когда за

спиной — ничего, а впереди — только мороз.

Вера на секунду увидела её другой — не старой женщиной на краю кровати, а кем-то, кто прожил достаточно, чтобы выработать такой закон, и кто платил за этот закон годами, и кто не собирается от него отказываться, потому что он — единственное, что выдержало проверку.

Вера подала ночную рубашку.

Мама взяла, начала надевать — Вера помогла с рукавами — и деньги лежали рядом на одеяле, и Вера смотрела на них и думала: сколько их там? Немного, наверное. Может, несколько тысяч. Может, меньше. Не в этом дело.

Дело было в том, что эти мятые бумажки, тёплые от чужого тела, хранящие запах старой кожи и аптечной резишки, были для этого человека — настоящим. Единственным настоящим, которому можно было верить. Не дети — дети разлетаются или пьют или молчат на кухне. Не люди — люди уходят или умирают или приходят в гости и хвалят стол, не замечая, кто его накрыл. Не слова — слова ничего не стоят, Анна Кирилловна знала это лучше, чем кто-либо.

Только вот это.

Несколько влажных бумажек под тканью, близко к сердцу.

Мама убрала деньги обратно — в тумбочку, в нижний ящик, под старый молитвослов, который там лежал неизвестно с каких пор — и закрыла ящик. Легла. Вера поправила одеяло.

Потом мама сделала то, чего Вера не ожидала.

Подняла руку — медленно, с усилием — и положила ладонь на голову дочери.

Просто положила. Погладила — один раз, тихо, как гладят спящего ребёнка, которого не хотят разбудить, или как гладят что-то, с чем боятся расстаться.

Вера замерла.

— Только ты у меня и осталась, — сказала мама.

Ладонь матери легла на голову Веры — сухая, как пергамент, и тяжёлая, как могильная плита. В этом жесте не было нежности, в нём было право собственности. Вера чувствовала, как этот груз придавливает её к полу, лишая «права на выход» сильнее, чем любые замки.

Вера не двигалась.

Она стояла на коленях у кровати — она не заметила, когда опустилась на колени, это произошло само собой — и чувствовала материнскую ладонь на голове, сухую, лёгкую, почти невесомую, — и думала о том, что эта рука когда-то была другой. Что этой рукой писали на доске, перелистывали журналы, резали хлеб, застёгивали пальто на маленькой Вере в прихожей, когда надо было торопиться в школу и мама говорила: «Стой ровно, не вертись» — и она стояла ровно и не вертелась.

Думала о том, что времени, которое между той прихожей и этой спальней, — нет. Не прошло. Оно здесь, всё здесь, в

этой ладони и в этом запахе — лекарства, старое дерево, чуть заметное что-то ещё, то, о чём не думают вслух, — и ничего из него нельзя взять обратно и ничего нельзя исправить.

И вместе с этим — другое.

Усталость.

Не злость — нет. Не то острое, горячее, что можно было бы назвать ненавистью и от чего можно было бы оттолкнуться. Просто усталость — ровная, глубокая, как усталость человека, который нёс тяжёлое долго и уже не помнит, когда начал нести, и не знает, есть ли место, где можно поставить.

Её жизнь.

Где она?

Не в смысле — что с ней не так, не в смысле претензии или обиды. Просто — где она? Где то, что принадлежит ей и только ей, что не является чьей-то тарелкой, чьей-то скатертью, чьим-то чаем нужной температуры? Женщина в тёмном стекле серванта — с подносом, с полотенцем, с вечно готовым ответом «сейчас, мама» — это она? Это всё она?

Ладонь на голове была тёплой.

И Вера вдруг подумала — быстро, как думают то, о чём стыдно думать и что поэтому проносится быстро, не задерживаясь: *когда это кончится — что останется от меня?*

Не пожелала матери смерти.

Нет.

Просто спросила себя — и спросила честно, впервые честно, — сколько ещё. Не из жестокости. Из той простой чело-

веческой усталости, которая не выбирает, когда приходиться, и не спрашивает разрешения, и не делает человека плохим — просто делает его живым, со всем, что это означает.

Мама убрала руку.

— Свет выключи, — сказала она. — И форточку закрой, дует.

Вера встала.

Закрыла форточку — дождь стал тише, почти неслышным. Выключила свет. Постояла в темноте секунду — глаза привыкали, и постепенно проявлялось: окно, силуэт кровати, очертания серванта, тёмный прямоугольник фотографии на стене.

Пошла к двери.

— Верочка.

Она остановилась.

— Ты ведь меня не бросишь?

Голос был тихий. Почти без интонации — почти, но не совсем, потому что в самом конце, на последнем слове, было что-то, что не давалось контролю. Что-то маленькое и настоящее, что прожило семьдесят пять лет внутри этого человека и так и не научилось прятаться до конца.

— Нет, мама, — сказала Вера.

Она ответила быстро.

Слишком быстро — раньше, чем успела подумать, раньше, чем что-то внутри успело сформулироваться или возразить, — просто слова вышли сами, как выходят слова, кото-

рые говорили много раз, которые знаешь наизусть, которые уже не требуют участия.

Дверь закрылась мягко.

В коридоре горел маленький ночник — мама не любила полную темноту, хотя никогда в этом не признавалась, — и Вера стояла в этом жёлтом, слабом свете и слушала тишину квартиры. Тишина была плотная, обжитая, полная запахов прожитого вечера: остывшие котлеты, табачный след от Серёжиной куртки, чуть — духи Зинаиды Фёдоровны, и глубже, под всем этим, постоянное, никуда не девающееся: лекарства, старое дерево, время.

Она сказала «нет».

Правильное слово. Единственно возможное слово. Слово, которое она говорила всю жизнь и будет говорить — завтра, и послезавтра, и ещё много раз, стоя в дверях этой спальни или в прихожей с чужим пальто в руках, или на кухне у плиты с котлетами, которые нельзя передержать.

Но что-то в том, как быстро оно вышло, — что-то в этой скорости, в этой отработанности, в том, что между вопросом и ответом не было ни секунды, которая принадлежала бы ей, — что-то в этом было не утешением.

Вера прошла на кухню.

Налила воды из-под крана. Выпила стоя, у раковины, в темноте — она не стала включать свет. Поставила стакан. Посмотрела в окно: дождь, фонарь, мокрая ветка дерева — почти чёрная, без листьев, — и маленькие оранжевые окна

напротив, за которыми жили чужие жизни, тёплые и непрозрачные.

Она стояла долго.

Не думала ни о чём конкретном — или думала обо всём сразу, что в какой-то момент становится одним и тем же. О деньгах в лифчике и о ладони на голове. О Серёже, который уехал в ночь с виноватым лицом и новой цепочкой. О Григории, который сидел прямо и грел чашку ладонями и не пропустил ни слова. О скатерти, которая замочена в тазу. О том, что завтра нужно позвонить в поликлинику — маме надо продлить рецепт.

О том, что она сказала «нет, мама» — и это была правда.

И о том, что это была не вся правда.

За окном погас один оранжевый прямоугольник.

Потом ещё один.

Вера поставила стакан в раковину. Всё. Сил мыть посуду не осталось. Навалилась глухая, отупляющая усталость.

В квартире воцарилась тишина.

Вера легла, но сон не шёл. В темноте мысли потекли по кругу: почему мать так странно уклонилась от ответа? Что она скрывает? Изнутри поднималось глухое, злое упрямство. Вера решила: если это повторится, она не станет малодушно прятаться. Она встанет, выйдет в коридор, и сама во всём разберётся.

Посмотрит этому страху в глаза.

И вдруг — шаги.

Сердце оборвалось и покатилося куда-то вниз. Она ведь не спала, доподлинно не спала! В коридоре раздались именно они. Медленные. Харкающие. Те самые. Шаг — пауза, шаг — пауза.

«Встань! Ну же, встань и посмотри!» — приказала она себе.

Но тело внезапно перестало подчиняться. Оно мгновенно, до самых кончиков пальцев, налилось пудовым свинцом. Окаменело. Чистый, первобытный ужас приковал её к постели — ни рукой двинуть, ни веком шевельнуть, ни издать хотя бы слабый звук.

А шаги уже приблизились. Тяжёлое, хриплое дыхание остановилось у самой двери, прямо за тонкой перегородкой. Наступила мёртвая, звенящая пауза. Кто-то там, снаружи, замер и прислушался к её несну.

Вера лежала, боясь шелохнуться. В коридоре снова раздались они — медленные, харкающие шаги. Шаг — пауза, шаг — пауза. Тяжёлое дыхание остановилось прямо за её дверью. И в мёртвой тишине ручка замка начала медленно, с неумолимым металлическим скрежетом, ползти вниз. Ко-

робка Шрёдингера начинала открываться без её согласия.

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИКА ГРЕХА

УТРО ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Накануне вечером Вера так и не смогла домыть посуду; силы покинули её совершенно, она буквально валилась с ног, а голова разламывалась от тупой, непрерывной боли.

Наступило утро, но новый день не принёс облегчения. Вода в раковине остывала как-то лениво, прилипчиво, точно нехотя. Вера стояла у мойки, бледная, с потемневшими глазами, и упорно, механически тёрла одну и ту же тарелку — из дорогого, некогда праздничного сервиза, тонкую, с синей каёмочкой.

Пальцами она с каким-то болезненным отвращением осязала, что жир не сходит, не поддаётся с первого раза, а ложится липкой плёнкой, точно назло требуя повторного, третьего движения.

Эта едкая, дешёвая химия совсем не пенилась — средство истощилось, кончалось, и Вера с мучительной отчётливостью вспомнила, что ведь знала же, знала это ещё на прошлой неделе! Она же сама записала всё на клочке бумажки, и клочок этот, грязный, засиженный мухами, всё ещё валя-

ется там, на подоконнике...

«Сегодня... Всё сегодня делать!» — промелькнуло в её воспалённом уме с какой-то судорожной, утренней решимостью.

К утру дом затих — той особой тишиной, которая бывает только после гостей, когда воздух ещё хранит следы чужих голосов и чужих духов, но люди уже ушли и взяли с собой весь свет и всё движение, и то, что осталось — стены, посуда, объедки на тарелках — вдруг оказывается каким-то голым, неприкрытым, как комната после переезда.

Из комнаты Сергея доносился звук игры.

Серёжа ещё не спал — он никогда не спал сразу после гостей, ему нужно было время, чтобы спуститься с той высоты, на которую он поднимался в компании: громкий голос, жесты, смех — а потом дверь закрывалась и надо было как-то возвращаться в себя, в обычного себя, и это всегда занимало долгое время. Компьютерные игры были этим способом. Играть — просто слышать чужие диалоги, пока свои не улягутся.

Вера это знала.

Знала и то, что он не пил сегодня больше меры — она следила краем внимания, как следят за чем-то привычно опасным, как следят за газовой горелкой: не постоянно, не тре-

можно, просто — замечают. Вчера было нормально. Это слово она применяла к брату с осторожностью, потому что нормально означало разное в разное время, и лучше было не привыкать.

Из маминой комнаты — кашель.

Негромкий, короткий — мама кашляла так уже несколько недель, с самого февраля, и говорила, что это пройдёт, и не шла к врачу, потому что знала: если пойдёт — ей скажут то, чего она не хочет знать. Это тоже была система. Не ходить туда, откуда приносят плохие новости — значит, плохих новостей нет.

Вера дотёрла тарелку.

Взяла следующую.

На столе ещё оставалось: недоеденный торт в блюде, три рюмки со следами помады — красная, розовая, почти прозрачная, — смятые салфетки с отпечатками пальцев, хлебные крошки, пятно от наливки которое она уже замочила на скатерти, но здесь, на клеёнке, не заметила сразу.

Коробка Григория — жестяная, с конфетами — стояла у края стола, почти нетронутая. Он принёс хорошие конфеты. Мама взяла одну — для приличия. Серёжа взял две. Гости брали охотно.

Вера не брала.

Она вообще почти не ела за праздничным столом — это тоже была давняя привычка, почти незаметная для неё самой: за этим столом она обслуживала, а не ела. Сейчас она была голодна — не сильно, но ощутимо, — и этот голод был какой-то особенно точной метафорой чего-то, о чём она не хотела думать.

Кран капал.

Она не замечала этого раньше — или замечала и не слышала — а сейчас он капал отчётливо, размеренно, с той механической настойчивостью, с которой напоминает о себе всё, до чего не доходят руки. Прокладку надо было менять ещё осенью. Серёжа говорил, что сделает. Не сделал. Она говорила, что вызовет слесаря. Не вызвала. Кран капал.

Кап.

Кап.

Кап.

Дождь, который шёл ночью кончился. Остался запах — сырая земля, прошлогодняя листва, что-то далёкое и горьковатое, что приходит с мартом и уходит только к маю.

Вера домыла рюмки.

Красную помаду — Зинаида Фёдоровна. Розовую — Римма Павловна. Почти прозрачную — мама. Мама красила губы всегда, даже дома, даже когда никого не было, — это был принцип, что-то из той же системы, что и причёска, что и прямая спина, что и «никому не доверять».

Как она говорила, что вдруг кто-то придёт, а она не в порядке. Но никто не приходил без её разрешения.

Вера поставила рюмки в сушилку.

Взялась за блюдо из-под торта.

Торт был куплен в кондитерской — «Наполеон», мама любила «Наполеон» — и Вера купила его вчера, везла в автобусе осторожно, держа коробку двумя руками, чтобы не смялось. Торт оказался хорош, все говорили. Осталась треть — мама скажет после обеда, или ужина вспомнит, что надо доест, что выбрасывать грех, что в её время такого не было. Вера съест. Серёжа, может, тоже.

Так всегда.

Она тёрла блюдо и не думала ни о чём конкретном — или думала обо всём сразу, что в какой-то момент становится одним и тем же. О Григории, который уходил первым и прощался с мамой отдельно — негромко, в сторону от гостей — и мама кивала с тем выражением, которому Вера до сих пор не нашла названия.

О Серёже с его пожатием плеч в прихожей. О том, что скатерть надо сегодня же прополоскать. О том, что рецепт надо продлить. О том, что кран капает.

Кап.

Из маминой комнаты снова — кашель.

Потом тишина.

Потом — тихо, почти неслышно — скрип кровати. Мама поворачивалась на другой бок. Это тоже был знакомый звук,

Вера знала его с детства — кровать у мамы была старая, панцирная, скрипела в одном месте, если лечь на правый бок. Сколько Вера себя помнила, эта кровать скрипела. Сколько себя помнила — она слышала этот звук сквозь стену и знала: мама не спит.

Она домыла блюдо.

Выключила воду.

Тишина без крана оказалась другой — более полной, почти звенящей. Из-за комнаты мать донёсся звук телевизора, который говорил что-то про погоду на завтра — диктор перечислял города, температуры, осадки, — и Вера подумала мельком: надо будет взять зонт, завтра снова дождь.

Она взяла полотенце.

И в этот момент увидела альбом.

Он лежал на краю стола — там, где сидела Зинаида Фёдоровна. Мама, наверное, доставала показать что-то, и альбом так и остался, забытый в конце вечера. Старый, коленкорový, бордовый — с тиснёным узором на обложке, с уголками, которые давно обтрепались и держались непонятно как. Вера знала этот альбом с детства. Знала, что он лежит в серванте, во втором ящике снизу, и что мама достаёт его редко — только когда есть повод, только когда есть кому показать.

Она взяла его — убрать на место.

Он был тяжёлый. Плотный. Фотографии в нём лежали в несколько слоёв — вложенные между страницами, засунутые в кармашки, просто вложенные между страницами без

всякой системы, потому что мама всю жизнь собиралась их разложить правильно и не разложила.

Из альбома выпало.

Она не сразу поняла — просто что-то порхнуло вниз, белое, — и нагнулась, подняла.

Фотография.

Небольшая, с белой рамочкой по краю — такие делали в фотоателье в семидесятых. Чуть пожелтевшая. Слегка надломленная в углу.

Вера поднесла к свету.

И остановилась.

Девушка на фотографии смеялась.

Не улыбалась — смеялась, запрокинув голову чуть назад, с тем открытым, бесстрашным смехом, который бывает только у людей, которые ещё не знают, что нужно беречься. Высокая причёска — волосы убраны вверх, с завитками у висков, как тогда было модно. Белое платье с короткими рукавами. Тонкая. Молодая — очень молодая, лет двадцати, не больше. Живая глазами — именно так, именно это слово: живая, как будто жизнь в ней была не распределена ровно по всему телу, а сосредоточена именно в глазах, и оттуда смотрела прямо, без страха, с каким-то лёгким вызовом.

Вера смотрела.

Долго — дольше, чем нужно, чтобы узнать человека на фотографии.

Она узнала её сразу. Сразу — и всё равно смотрела, потому что между этой девушкой и тем, что было за стеной, за скрипящей кроватью и кашлем и голосом, который умел говорить «только ты у меня осталась» и «Верка, ты где опять ходишь» — между ними было такое расстояние, что разум принимал их как двух разных людей.

Но это был один человек.

Вера держала фотографию и чувствовала что-то странное — не жалость, не нежность, что-то более тревожное, что-то, что поднималось снизу и не хотело называться. Мама была красивой. По-настоящему красивой — не той аккуратной, правильной красотой, которую наводят перед зеркалом и которую Вера знала всю жизнь, — а другой, той, которую не наводят, которая просто есть, пока есть, и потом уходит вместе с чем-то ещё.

С чем?

Вот это было страшно.

Именно это.

Вера перевернула фотографию.

На обороте — карандашом, почти стёршимся — три слова и год:

«Аня. Лето. 1971.»

За стеной телевизор переключился на другой канал. Диктор про погоду исчез — теперь была музыка, что-то старое,

неузнаваемое. Кран не капал. Дом стоял и дышал вокруг неё — старые стены, старое дерево, пятно на потолке от зимней трубы — и Вера стояла посреди этого всего с фотографией в руке и смотрела на девушку, которая смеялась в 1971 году и не знала ещё ничего, что будет.

Совсем ничего.

Кран вдруг капнул один раз — громко, неожиданно — и замолчал.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Вера положила фотографию на стол.

Потом взяла снова.

Это было произвольно — как берут что-то, от чего только что отложили руку и сразу почувствовали: рано. Она поднесла её ближе к лампе — лампа над столом была слабая, сорок ватт, мама всегда говорила, что яркий свет портит глаза, и Вера выросла в убеждении, что это правда, хотя давно уже понимала: просто лампочки стоят денег — и в этом жёлтом, немного усталом свете девушка на фотографии стала ещё отчётливее.

Смеётся.

Вера попробовала вспомнить: видела ли она когда-ни-

будь, чтобы мама смеялась вот так — запрокинув голову, без оглядки, без контроля над тем, как это выглядит со стороны. Перебирала в памяти — методично, почти против воли, как перебирают ящик в поисках нужной вещи и находят другие, ненужные, но откладывают и их тоже, потому что выбрасывать жалко.

Не нашла.

Мама улыбалась — да. Мама умела улыбаться правильно: в нужный момент, нужным людям, нужной интенсивности. Это была улыбка человека, который знает, что улыбка — инструмент, и обращается с ним аккуратно, не тратит попусту. Но вот так — запрокинув голову, с этим светом в глазах, когда человек смеётся и не думает, что он сейчас смеётся — этого Вера не видела никогда.

Или видела — и забыла?

Или это было так давно, что осталось только ощущение — не картинка, а просто тепло где-то в самом раннем, до сознательном, там, куда память не доходит словами?

Она не знала.

Альбом лежал на столе раскрытым — на той странице, откуда выпала фотография. Вера опустила взгляд. На странице были другие — несколько снимков, вставленных в картонные уголки, некоторые уже выскользнули, держались одним углом. Она наклонилась.

Мама с подругой — обе молодые, в пальто, на фоне какого-то здания, зима, снег на плечах. Мама с мужчиной — немолодым, в пиджаке, официальный снимок, оба смотрят прямо в объектив с одинаково серьёзными лицами.

Отец? Нет — отца Вера знала по другим фотографиям, этот человек был старше, с орденскими планками на лацкане. Начальник, наверное. Или кто-то с работы.

И ещё один снимок — маленький, почти квадратный. Вера вытащила его из уголков осторожно, боясь порвать. Мама снова молодая — но здесь другая. Не смеётся. Стоит прямо, смотрит в сторону, чуть мимо объектива — как смотрят, когда снимают неожиданно и человек ещё не успел принять нужное выражение лица. И в этом «не успел» было что-то очень живое: усталость, что ли, или задумчивость, или просто момент между одним и другим — секунда, когда человек ничего не изображает, потому что не знает, что его снимают.

На обороте — ничего. Только пятно от старого клея.

Вера положила оба снимка рядом.

Смотрела на них вместе.

Та, что смеётся, — лето, лёгкость, белое платье. Та, что смотрит мимо, — что-то другое. Что-то, что уже начиналось.

Вера не могла сказать точнее — просто видела: между этими двумя фотографиями прошло что-то, и это что-то изменило человека не внешне — внешне мама была почти та же, та же высокая причёска, те же черты, — а внутри, в том, как держится, как смотрит, как стоит.

Что-то случилось между этими двумя снимками.

Что-то, что она не знала.

Вера никогда особенно не думала о маминой молодости.

Это звучало странно — но это было правдой. Мама существовала для неё всегда в одном образе: строгая, прямая, знающая, как правильно. Мама в прихожей, которая застёгивает пальто и говорит: «Стой ровно». Мама за столом, которая говорит: «Оливье жидкий». Мама у окна, которая говорит — ничего не говорит, просто стоит и смотрит во двор с таким видом, как будто двор должен перед ней отчитаться.

Эта мама не имела прошлого.

То есть — Вера знала, разумеется, что прошлое было: было детство, была юность, был институт, была работа, была своя жизнь до отца, до детей, до этого дома. Знала — как знают о существовании Антарктиды: факт неоспоримый, никак не влияющий на ежедневную жизнь.

Но сейчас.

Сейчас она держала в руках девушку, которая смеялась в 1971 году, — и что-то в этом смехе было такое незащищён-

ное, такое не похожее на всё, что Вера знала, что привычная Антарктида вдруг сдвинулась с места и стала ближе.

Она снова посмотрела на первую фотографию.

Белое платье. Высокая причёска. Смеётся — запрокинув голову, закрыв глаза на секунду, всем телом.

Кто тогда смешил её?

Кто стоял рядом — там, за краем кадра, — и говорил что-то, от чего вот так, не сдержавшись, не скрывая? Кто был тем человеком, при котором молодая Анна позволяла себе не контролировать смех?

Вера не знала.

И поняла вдруг, что никогда не спрашивала.

За всю жизнь — ни разу. Не потому, что было неинтересно. Просто — не спрашивала. Мама не располагала к вопросам о прошлом, это Вера усвоила рано: мама располагала к отчётам о настоящем — что куплено, что приготовлено, что сделано, — но не к разговорам о том, что было до. Будто прошлое было территорией, на которую посторонним вход закрыт, и Вера всю жизнь стояла у этой границы и не пробовала войти.

Посторонним.

Собственная дочь — посторонним.

Она отложила фотографии.

Потянулась закрыть альбом — убрать на место, в сервант, во второй ящик снизу, всё по порядку. Но рука остановилась на обложке. Коленкор был холодный, чуть шероховатый под пальцами. Тиснёный узор — завитки, листья — она знала его на ощупь, этот альбом она держала в руках сотни раз, с детства, но всегда мимоходом, всегда убирая, никогда не открывая.

Вода в трубах тихо гудела — дальний, почти неслышимый звук, как будто дом разговаривал сам с собой.

Из маминой комнаты — тишина. Кашля не было. Кровать не скрипела. Может, наконец заснула.

Вера открыла альбом снова.

Медленно перелистнула страницу.

И другую.

И ещё.

Фотографии шли не по порядку — не по годам, не по событиям, а как попало, как складывают вещи в ящик, когда некогда раскладывать правильно: вот мама совсем молодая, почти девочка, в школьной форме с белым фартуком; вот незнакомые люди за столом, явно чей-то праздник, мамы нет вовсе; вот Вера сама — маленькая, лет трёх, стоит во дворе в зимнем комбинезоне, смотрит в объектив серьёзно, как смотрят дети, которых попросили не двигаться; вот Серёжа

— младенец на руках у женщины, которую Вера не узнала сначала, а потом узнала: мама, но такая, что не сразу.

Потому что мама на этой фотографии смотрела на Серёжу.

Не в объектив. На него — на младенца у себя на руках. И в этом взгляде было что-то такое, что Вера снова остановилась. Не нежность — или нежность, но другого рода, тяжёлая, почти болезненная, та, что не умеет быть лёгкой, потому что за ней стоит что-то большое и тёмное, что-то, чего сам не понимаешь до конца.

Вера помнила — смутно, краями — как мама смотрела на Серёжу в детстве. Иначе, чем на неё. Вера знала это давно, с самого раннего, и давно перестала об этом думать — не потому, что помирилась, а просто потому, что некоторые вещи, которые знаешь с детства, становятся частью мебели: стоит себе, занимает место, не удивляет.

Но сейчас.

Сейчас она смотрела на эту фотографию — мама с младенцем, этот тяжёлый, тёмный взгляд — и думала: откуда это в ней было? Вот эта особенная любовь к сыну — не спокойная, не ровная, а такая, как будто он был ей чем-то должен, и она одновременно была ему должна, и они оба об этом знали и никогда не говорили?

Откуда?

Вера перелистнула ещё страницу.

И там — снова та девушка.

Другая фотография, незнакомая — Вера не видела её раньше или не замечала. Мама стоит на улице — осень, деревья за спиной уже голые, земля в листьях. Пальто — тёмное, с большими пуговицами. Рядом — мужчина. Молодой, в военной форме, с фуражкой в руке. Они стоят близко — не обнимаясь, но близко, тем расстоянием, которое бывает между людьми, когда между ними что-то есть.

Мама смотрит не в объектив.

Смотрит на него.

Вера поднесла фотографию ближе к лампе.

Мамино лицо на этом снимке было незнакомым — не молодостью незнакомым, а чем-то другим. Открытым. Вот это слово. Открытым так, как Вера никогда не видела маму — ни в семьдесят пять, ни в шестьдесят, ни в пятьдесят. Как будто стена, которую Вера всегда чувствовала между собой и мамой, между мамой и всем миром, — как будто на этой фотографии стены ещё не было.

Или она только начинала строиться.

Мужчина в форме смотрел в объектив. Улыбался — легко, уверенно, с той улыбкой, которой улыбаются люди, при-

выкшие нравиться. Красивый. Молодой. Фуражка в руке, плечо прямое, подбородок чуть вздёрнут.

На обороте — снова карандаш, тот же почерк:

«Осень. 72-й.»

Больше ничего.

Вера долго смотрела на этот снимок.

Потом положила его на стол рядом с первым — той, где мама смеётся летом семьдесят первого. Два снимка рядом. Между ними — год. Между ними — этот мужчина с фуражкой в руке и лёгкой улыбкой, которому кто-то когда-то нашёл нужным не подписывать имя.

За окном — ветер тронул яблоню. Ветка скребнула по стеклу — один раз, тихо, как стучатся люди, которые не уверены, что им откроют.

Из маминой комнаты — снова кашель.

Потом голос — неожиданно, резко, из тишины:

— Верка. Воды принеси.

Вера вздрогнула.

Посмотрела на фотографии.

Потом убрала их обратно в альбом — быстро, почти виновато, как убирают чужое письмо, которое прочитали не нарочно.

Встала. Налила воды в стакан.

Пошла к маме.

Анна Кирилловна лежала на спине — прямо, как лежат люди, привыкшие контролировать себя даже во сне. Одеяло подтянуто ровно. Ночник на тумбочке горел — маленький, оранжевый, он всегда горел, даже днём. Лекарства стояли в ряд: три пузырька, пластинка таблеток, валидол в круглой коробочке.

Вера подала воду.

Мама взяла стакан — двумя руками, медленно отпила — и вернула, не глядя на дочь.

— Форточку закрой, — сказала она. — Дует.

Вера закрыла форточку. Постояла.

— Иди отдыхай, — сказала мама.

Голос был бодрый — тяжёлый, с той особой раздражённостью возбуждённого человека, который раздражается не на кого-то конкретно, а просто на то, что уже не спит, а должен ещё спать.

— Иду, — сказала Вера.

Она вышла.

В коридоре остановилась.

Альбом лежал на кухонном столе — она не убрала его в сервант, забыла, или не захотела, она и сама не знала. Ночник в коридоре горел жёлто и слабо. Из-за стены Серёжиной комнаты — тишина, видно остановил игру, заснул.

Вера стояла в коридоре этого старого дома — с его скрипящими полами и пятном на потолке, с его запахом дерева и лекарств и чего-то ещё, давнего, въевшегося в стены за десятилетия, — и думала о девушке в белом платье, которая смеялась в 1971 году.

О мужчине с фуражкой в руке.

Об осени семьдесят второго.

О том, что между этими двумя фотографиями — год. И что в этом году что-то произошло. Что-то, что не подписывают на обороте. Что-то, что потом становится человеком, который говорит: «Верка, воды принеси» из темноты.

Она вернулась на кухню.

Взяла альбом.

Открыла снова на той странице.

И долго стояла под слабой лампой, глядя на девушку в белом платье — на этот смех без оглядки, на эти живые глаза — и слышала сквозь капающий кран и скрип яблоневого ветки о стекло что-то, что нельзя было назвать голосом, но что звучало именно как голос: молодой, незащищённый, из очень далека.

ПЕРЕХОД В ПРОШЛОЕ

Вода из крана капала.

Вера не закрыла её до конца — или закрыла, но кран был разработан, прокладка стёрта, и он всё равно капал, как капал всегда, как будет капать завтра и послезавтра, пока кто-нибудь наконец не починит. Кап. Пауза. Кап.

Она стояла у стола с альбомом в руках.

За окном ветер качнул яблоню — ветка снова скребнула по стеклу, протяжно, почти жалобно — и Вера подняла глаза. Увидела своё отражение в зеркале: женщина с альбомом, под жёлтой лампой, в пустой кухне. Смотрела на себя секунду — и отвела взгляд.

Снова — фотография.

Девушка в белом платье смеялась.

Вера смотрела на этот смех — открытый, бесстрашный, из другого времени — и думала о том, что смех этот она слышит. Не слышит — это неточное слово. Скорее — чувствует его форму. Как чувствуют форму звука в пустой комнате: самого звука нет, но воздух ещё помнит, как он звучал.

Кап.

Пауза.

Кап.

Она не заметила, в какой момент перестала слышать кран.

Просто в какой-то момент кухня стала тише — и одновременно что-то другое стало громче, не звук, нет, что-то ско-

рее похожее на запах или на свет — что-то, что приходит не снаружи, а изнутри, из того места, где живут вещи, которые не случились с тобой, но каким-то образом всё равно тебя касаются.

Она смотрела на фотографию.

И фотография — медленно, как проявляется снимок в ванночке с раствором, — начала отдавать что-то большее, чем изображение.

Сначала был запах.

Не кухонный — не жир, не чай, не мокрая тряпка на краю раковины. Другой — лёгкий, холодный, с улицы: снег, и под снегом — земля, и ещё что-то, что бывает в воздухе ранней зимой, когда первый снег ещё не лёг по-настоящему, ещё не решил оставаться, — запах обещания, которое может не сдержаться.

Потом — звук.

Не голос — сначала просто звук: автобус где-то вдалеке, его тяжёлый выдох на остановке, двери, которые открываются с железным лязгом. Потом шаги — много шагов, быстрых, по мёрзлому асфальту. Потом чей-то смех — не тот, с фотографии, другой, мужской, короткий.

И потом — голос.

Молодой голос. Женский.

Вера не могла бы сказать, что она слышит его ушами — это было не так. Это было скорее как читать слова и слышать их одновременно, как бывает с очень знакомым текстом, который знаешь наизусть и который поэтому звучит в голове самостоятельно, без усилия.

Голос говорил — не Вере, не для Веры — просто говорил, как говорят сами с собой или с кем-то очень близким, кому не нужно объяснять:

«Сегодня мороз. Настоящий. Наконец-то.»

Простая фраза. Ничего в ней не было — ни смысла особого, ни значения. Но в том, как она была сказана — легко, с удовольствием, как говорят о морозе люди, которые не боятся холода, которые ещё не знают, что холода надо бояться — в этом было что-то, от чего у Веры что-то сжалось в груди.

Не больно.

Просто — сжалось.

Она смотрела на фотографию.

Девушка в белом платье смеялась. Лето. Семьдесят первый.

А голос говорил о морозе. Значит — другое время. Позже. Уже после белого платья и открытого смеха — уже в том промежутке между двумя фотографиями, в осени семьдесят второго, или в зиме после.

«Саша опаздывает. Он всегда опаздывает.»

Пауза.

«Нет. Не всегда. Просто сегодня.»

Голос поправлял себя — тихо, чуть виновато, с той интонацией, с которой поправляют себя люди, которые не хотят думать о ком-то плохо, и поэтому сами же себя одёргивают. Это была очень молодая интонация. Интонация человека, который ещё верит, что несправедливые мысли нужно исправлять.

Вера положила альбом на стол.

Не закрыла — просто положила, осторожно, как кладут что-то, к чему ещё вернуться.

Села на табурет — тот, на котором сидел сегодня Серёжа, у окна. За окном был пасмурный день. Всё стояло на своих местах — двор, дом, март, — но что-то внутри этого всего сдвинулось, самую малость, как сдвигается картинка в глазах, когда долго смотришь на одну точку: вроде то же самое, но уже другое.

Она закрыла глаза.

Автобусная остановка.

Не здесь — где-то в городе, в другом городе, в другом времени. Деревянный навес с облупившейся краской. Скамейка

— железная, промёрзшая насквозь. Снег лежит тонко, первый снег ноября — не зима ещё, но уже не осень, что-то среднее, что-то без названия.

Девушка стоит у края навеса.

Не сидит — стоит. В тёмном пальто с большими пуговицами — то самое пальто, что на фотографии, осень семьдесят второго. Руки в карманах. Смотрит на дорогу — туда, откуда должен прийти автобус, или откуда должен прийти человек, неясно.

Ей двадцать лет.

Или двадцать один.

Она ещё не знает, что через несколько месяцев будет стоять на другой остановке — похожей, с таким же деревянным навесом и такой же промёрзшей скамейкой — и думать совсем другое. Сейчас она просто ждёт. И в этом ожидании есть что-то живое, нетерпеливое — она переступает с ноги на ногу, не от холода, а от нетерпения, — и это нетерпение такое молодое, такое неопытное в своей уверенности, что всё придёт, всё будет, надо только подождать ещё немного.

Автобус не едет.

Она достаёт из кармана варежку — одну, вторая потерялась где-то на прошлой неделе, — надевает на правую руку. Левая остаётся голой. Она смотрит на левую руку — на

пальцы, покрасневшие от холода — и думает о чём-то своём, улыбается чему-то своему.

Улыбка — та самая. Живая. Без контроля.

Где-то вдалеке — лязг трамвая.

Не автобус. Трамвай. Он проходит мимо, не останавливается, и в окнах мелькают лица — не проснувшиеся, возвращающиеся домой лица людей, которым сегодня больше не надо никуда идти. Девушка провожает трамвай взглядом.

«Значит, всё самой» — скажет она потом. Не сейчас. Потом. Через несколько месяцев, на другой остановке, в другом ноябре.

Сейчас она ещё ждёт.

Вера открыла глаза.

Кухня была та же — лампа, стол, альбом. Кран капал. За окном — яблоня, фонарь, мокрый забор.

Но что-то случилось с воздухом.

Он стал другим — не теплее и не холоднее, просто другим, как бывает в комнате, когда в ней только что стоял кто-то, кто уже ушёл, и воздух ещё не успел забыть.

Вера смотрела на альбом.

Потом — на окно.

Потом снова — на альбом.

Она понимала, что сидит в своей кухне, в своём доме, в марте двухтысячных — и что никакой остановки нет, и никакой девушки в тёмном пальто нет, и никогда не было при ней — это чужая жизнь, закрытая, не её, она не имеет на неё права.

И одновременно — понимала другое.

Что эта чужая жизнь — единственная причина, по которой существует её собственная. Что девушка на той остановке — в ноябре, с одной vareжкой, с улыбкой без контроля — эта девушка потом что-то решила. Что-то такое, после чего стала другой. И эта другая потом стала матерью — сначала её матерью, потом Серёжиной — и принесла в этот дом всё то, что они оба знают наизусть: прямую спину, правильную улыбку, голос из темноты — «Верка, воды принеси».

Откуда это всё?

Из чего это сделано?

Из какого именно момента — из какой именно остановки, из какого именно ноября?

Вера взяла фотографию — ту, где мама смеётся.

Смотрела.

И голос — молодой, из очень далека — сказал ещё раз, тихо, почти неслышно, как говорят что-то, что не предназначено для чужих ушей:

«Саша. Где же ты.»

Не вопрос.

Просто — имя и пространство после него.

Яблоня за окном качнулась. Ветка скребнула по стеклу — один раз, протяжно — и затихла.

Вера сидела неподвижно.

Держала фотографию.

И медленно, как человек, который открывает дверь в комнату, куда давно не заходил и не знает, что там найдёт, — начинала понимать, что сейчас войдёт туда.

Не потому что хочет.

А потому что некоторые двери, однажды заметив, уже не можешь сделать вид, что не видел.

МОЛОДОСТЬ АННЫ

Москва в октябре 1971 года пахла мокрым асфальтом и жареными пирожками.

Пирожки продавали у метро — с лотка, под навесом из мятого брезента, тётка в белом фартуке поверх пальто, руки красные от холода, движения, отработанные до автоматизма: взять, завернуть в бумагу, сдача из кармана фартука.

Очередь была небольшая — человек пять, не больше — и Аня стояла в ней и думала не о пирожках, а о том, что вече-

ром танцы на пяточке и надо успеть зайти в общежитие переодеться, потому что в этом платье нельзя, это платье для института, а то — другое, синее, которое она купила в августе на деньги, отложенные с трёх стипендий, и которое мама видела один раз и сказала: «Аня, это легкомысленно» — и именно поэтому оно было правильным платьем для танцев.

— Следующая.

Она взяла два пирожка — с капустой, они были горячие, обжигали через бумагу — и пошла к метро.

Ела на ходу.

Это тоже было из тех вещей, которые мама не одобряла: есть на улице, торопиться, не сидеть за столом. Но мама была в Калуге, а Аня была в Москве, и между этими двумя географическими фактами располагалась вся свобода, которую она успела накопить за два года студенческой жизни — небольшая, честно говоря, свобода, но своя, пахнущая пирожками с капустой и осенним московским воздухом.

Она учила детей.

Точнее — училась учить детей: второй курс педагогического, русский язык и литература. Она выбрала это сама — мама хотела бухгалтерский техникум, что-то надёжное, земное, с понятным местом в конце. Но Аня хотела литературу. Хотела Толстого и Блока, хотела объяснять детям, почему Наташа Ростова важна, хотела стоять у доски — и это желание было в ней таким твёрдым, таким давним, что она не

стала спорить с мамой, просто подала документы и не сказала до последнего.

Мама потом, конечно, сказала многое.

Но Аня была уже в Москве.

Общежитие стояло на тихой улице за институтом — пятиэтажное, кирпичное, с облупившейся штукатуркой у входа и лифтом, который работал через раз. Аня жила на четвёртом этаже, в комнате на троих — она сама, Галка Рябова из Рязани и Люся Торопова из Воронежа. Галка была громкая, весёлая, с густым смехом и привычкой петь в душе народные песни. Люся была тихая, читала ночами под одеялом с фонариком и собиралась после института уйти в библиотечное дело.

Они ладили — не дружили особенно, но ладили, что в комнате на троих было уже много.

Аня поднялась на четвёртый этаж пешком — лифт, разумеется, не работал — и в коридоре сразу почувствовала запах жареной картошки: кто-то готовил на общей кухне, и этот запах стоял в коридоре плотно, по-домашнему. В конце коридора смеялись — несколько голосов, мужской и женский, что-то неразборчивое, весёлое.

— Аня! — окликнула её Галка прямо из комнаты, не выходя. — Ты платье синее наденешь?

— Откуда ты знаешь, что я здесь?

— Слышу, как ты идёшь. Ты всегда торопишься.

Это была правда — Аня ходила быстро, чуть вперёд, как

человек, который знает, куда идёт, и не видит причин идти медленно. Мама говорила: «Не торопись, это некрасиво». Аня торопилась.

Она вошла в комнату.

Галка сидела на кровати и красила ногти — красным, ярким, сосредоточенно, высунув кончик языка. Люся лежала с книгой, не подняла глаз. На столе стояла банка со сгущённой, вскрытая, с двумя дырками — общая, Аня принесла на прошлой неделе из дома, мама дала в дорогу.

— Надену, — сказала Аня и открыла шкаф.

— Правильно, — сказала Галка. — Там сегодня курсанты будут.

— Откуда ты знаешь.

— Нинка с третьего этажа сказала. Она со старостой курса договорилась. Они уже приходили — в прошлый вторник, ты не была.

Аня достала синее платье, встряхнула — оно помялось немного, надо было повесить заранее. Ничего.

— Курсанты так курсанты, — сказала она без особого интереса.

— Аня, — Галка оторвалась от ногтей и посмотрела на неё с тем терпеливым видом, с каким смотрят на человека, который произносит очевидную глупость. — Курсанты. Будущие офицеры. Форма. Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Не понимаешь, — вздохнула Галка и вернулась к ног-
тям.

Люся перевернула страницу.

Клуб был при институте — большой зал с деревянными полами, натёртыми до блеска, с рядами стульев вдоль стен и эстрадой в дальнем конце, где по пятницам играл маленький оркестр: пианино, аккордеон, труба. Свет — не яркий, не тёмный, что-то среднее, достаточно, чтобы видеть лица, но недостаточно, чтобы видеть всё.

Аня пришла с Галкой — Люся не пошла, сослалась на реферат, хотя все знали, что реферат был давно готов.

Зал был уже полон наполовину.

Девушки держались вместе — кучками, по факультетам и этажам, — и в этих кучках шёл непрерывный тихий разговор, который прекращался, когда входили мужчины, и возобновлялся, когда они проходили мимо. Это была своя механика, свой ритм, давно установившийся и всем понятный без объяснений.

Курсанты вошли в начале восьмого.

Их было человек двенадцать — в форме, как и обещала Нинка с третьего этажа, одинаково подтянутые, с той особой

выправкой, которая у одних выглядит органично, а у других — как чужой пиджак. Они вошли отдельной группой и сразу стали осматриваться — не нагло, но уверенно, как осматриваются люди, которые пришли и знают, зачем пришли.

Галка тихонько толкнула Аню локтем.

— Вон тот, — сказала она — почти без движения губ, как говорят что-то, что не предназначено для посторонних ушей.

Аня посмотрела.

Вон тот стоял чуть в стороне от своей группы — высокий, светловолосый, с фуражкой в руке. Красивый — это было первое слово, которое приходило, и Аня сразу почувствовала лёгкое раздражение от того, что оно пришло первым, потому что красота была неинтересна сама по себе, красота была поверхностью, а не сутью, она это знала. Но поверхность была такая, что суть пока не имела возможности высказаться.

Он улыбался — не ей, кому-то из своих — и в этой улыбке была такая лёгкость, такая привычная уверенность в том, что улыбка будет принята хорошо, что Аня невольно подумала: он всегда такой. Это не праздничное — это постоянное.

— Как его зовут? — спросила она у Галки.

— Не знаю, — сказала Галка с удовольствием. — Но выяснить можно.

Оркестр заиграл — пианино взяло первые аккорды чего-то медленного, знакомого, что-то из репертуара, который все знали, и никто не мог бы назвать точно.

Курсант с фуражкой посмотрел в её сторону.

Аня отвела взгляд.

Посмотрела снова — он всё ещё смотрел.

И улыбался — теперь ей, и улыбка была та же самая, лёгкая, уверенная, — но в ней было и что-то ещё, что-то конкретное, адресованное именно ей, что Аня почувствовала — и почувствовав, разозлилась на себя за то, что почувствовала.

— Галь, — сказала она.

— Что?

— Пошли танцевать.

Его звали Саша.

Александр Ветренко, второй курс, артиллерийское. Он сам подошёл — в третьем танце, не в первом, не во втором, — и это тоже было частью его умения: не торопиться, не бросаться, дать человеку привыкнуть к своему существованию рядом прежде, чем войти в это существование.

— Разрешите? — сказал он.

Просто — «разрешите». Без остроумия, без замысловатости. Но так, что это простое слово прозвучало как правильное — единственно правильное в данный момент слово.

Аня разрешила.

Он танцевал хорошо — не виртуозно, но уверенно, держал правильно, вёл без усилия. Пах одеколоном — недорогим, резковатым, но на нём он почему-то сидел иначе, чем сидел бы на другом: как будто был частью его, а не наведён поверх.

— Вы на каком курсе? — спросил он.

— На втором. Педагогический.

— Будете учителем.

— Собираюсь.

— Это хорошо, — сказал он — серьёзно, без иронии. —

Учителя важны.

Она посмотрела на него — проверяя: не смеётся ли. Не смеялся. Говорил именно то, что думал, — или умел так говорить, что казалось: именно то.

— Вы из Москвы? — спросила она.

— Из Краснодара. А вы?

— Из Калуги.

— Провинция встречает провинцию, — сказал он — и улыбнулся. Та же улыбка.

Лёгкая, уверенная — но на этот раз в ней была самоирония, маленькая, почти незаметная, и вот эта самоирония была интереснее всего остального.

Аня засмеялась.

Впервые за вечер — по-настоящему, не вежливо.

Он посмотрел на неё — внимательно, как смотрят, когда хотят запомнить — и что-то в этом взгляде было такое, от чего она перестала смеяться. Не потому, что стало неприятно. Потому что стало серьёзно — неожиданно, без предупреждения.

Музыка закончилась.

Они стояли — секунду, две — и оркестр начал следующую, медленную.

— Ещё? — спросил он.

Она не ответила сразу.

Потом сказала:

— Ещё.

Октябрь перешёл в ноябрь незаметно — как всегда переходит в городе, где нет полей и горизонтов, где смену времён года замечаешь не по небу, а по тому, что стало темнее в пять вечера и продавщица у метро надела поверх фартука стёганую безрукавку.

Они виделись — не часто, не регулярно, как давали увольнительные, расписание которых принадлежало не ему.

Он приходил, когда мог — с увольнительной, иногда без, иногда на два часа, иногда на вечер. Они ходили — в кино, в кафе, где брали по одному кофе и сидели долго, потому что никто не торопил, — иногда просто гуляли по бульвару, и

Аня говорила о Толстом и о Блоке, и он слушал — по-настоящему слушал, не делал вид — и иногда задавал вопросы, неожиданные, точные, и она думала: он умнее, чем кажется с первого взгляда.

Или — он умеет казаться умнее, чем есть.

Этот вопрос она себе задавала. И не отвечала — потому что ответ требовал дистанции, а дистанция не получалась.

Он был обаятелен — не напоказ, а так, как бывает у людей, которым это дано и которые этим пользуются без злого умысла, просто потому что это самый естественный способ существования в мире. Он умел слушать — или умел делать вид, что слушает, и она так и не поняла до конца, что именно.

Он был амбициозен — это проявлялось не в словах, а в том, как он говорил о будущем: точно, без сомнений, как говорят люди, у которых план есть, и они ему следуют.

— Я буду офицером, — говорил он, — потом — карьера,

всё по порядку.

— А семья? — спросила она однажды.

Он посмотрел на неё — быстро, оценивающе — и улыбнулся:

— Всему своё время.

Она запомнила эту улыбку.

Потом — много позже — она поняла, что именно в ней было не так. Но тогда — тогда был ноябрь, и первый снег, и кофе в маленьком кафе на Чистых прудах, и он сидел напротив, и его плечо было прямым, и он смотрел на неё именно так, как она хотела, чтобы на неё смотрели — как на человека, а не как на декорацию — и этого было достаточно.

Этого тогда было достаточно.

Зима пришла в конце ноября — настоящая, с морозом и снегом, который лёг и решил остаться.

Аня стояла у окна общежития и смотрела на двор — заметённый, белый, с цепочками следов от крыльца до ворот. Галка спала. Люся читала. Где-то в коридоре кто-то слушал радио — тихо, неразборчиво, просто фон.

Она думала о Саше.

Не о том, что он говорил — а о том, как он говорил. О том, что он умел делать так, что рядом с ним она чувствовала-

ла себя настоящей — не ролью, не дочерью своей мамы, не студенткой второго курса, которая должна хорошо учиться и вести себя правильно — а просто собой, Аней, которая любит Блока и ест пирожки на ходу и смеётся без оглядки.

Это было редкое умение.

Она тогда ещё не знала, что это умение может быть инструментом.

Она тогда ещё не знала многого.

За окном двор был белый и чистый, и следы на снегу были чёткие, и небо над крышами было тёмно-синим — таким синим, каким бывает только зимой, когда воздух прозрачен насквозь — и Аня смотрела на всё это и чувствовала внутри что-то огромное и безымянное, что-то похожее на счастье, но больше счастья, что-то, для чего в её двадцать лет ещё не было точного слова.

Жизнь только начиналась.

Она это знала.

И это знание было таким полным, таким абсолютным — что даже страшно не было.

Совсем.

САША ВЕТРЕНКО КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Он появлялся всегда неожиданно.

Не потому что скрывался — просто его расписание жило по своим законам, которые он не контролировал и не объяснял подробно, и Аня привыкла к тому, что он есть — и вдруг его нет три дня, пять дней, — а потом он стоит у входа в общежитие, в шинели, с фуражкой под мышкой, и улыбается так, будто не было никаких пяти дней, будто он просто вышел за угол и вернулся.

Она привыкла и к этому.

Потом она поняла — уже позже, уже после всего — что «привыкла» было неправильным словом. Правильное слово было «приучилась». Это разные вещи: привыкают к тому, что приходит само, а приучаются — к тому, что кто-то терпеливо, без видимых усилий, выстраивает как норму. Но тогда, в ту зиму, эта разница была ей недоступна.

Тогда была только радость, когда он появлялся.

Декабрь выдался холодным.

Они сидели в кафе на Сретенке — маленьком, с низким потолком и запотевшими окнами, за которыми улица была белая и быстрая. Саша заказал два кофе и два пирожных — он всегда заказывал сам, не спрашивая, и это тоже было частью его устройства: он знал, что нужно, и делал. Иногда это было хорошо. Иногда — Аня замечала это краем, не давая заметить в полную силу — это было что-то другое.

Он говорил о распределении.

— Если закончу в первой пятёрке — Москва или Ленинград, — говорил он, помешивая кофе. — Если нет — пошлют куда-нибудь. В лучшем случае в Воронеж.

— А ты закончишь в первой пятёрке?

— Должен.

Он говорил это без хвастовства — просто констатировал, как констатируют погоду за окном. Должен — и всё тут. Аня смотрела на него и думала: он никогда не сомневается вслух. Это было интересно. Это было немного пугающе. Это было притягательно — потому что рядом с человеком, который не сомневается, сомнения других как будто теряют вес.

— Ты хочешь остаться в Москве? — спросила она.

— Хочу. — Пауза. — Здесь можно расти.

— Расти.

— Карьера — это рост, — сказал он — спокойно, без извинений за слово. — Это не плохо. Это просто так устроено.

Аня взяла пирожное. Оно было слишком сладкое — крем с привкусом маргарина, она это знала заранее, здесь всегда так делали, — но она ела, потому что он заказал.

— Саш, — сказала она, — а что для тебя важнее всего?

Он посмотрел на неё.

Взгляд был прямой, внимательный — тот, который она любила, потому что в нём было ощущение: он видит её, именно её, а не просто девушку рядом. Но в этот раз что-то в этом взгляде было чуть другим — не холоднее, но точнее, как бывает, когда человек просчитывает ответ.

— Результат, — сказал он наконец.

— Результат?

— Чтобы то, что делаешь — имело смысл. Чтобы не впускую.

Аня кивнула. Это было правильно — разумно, взросло. Она убедила себя, что это правильно.

— А люди? — спросила она.

— Люди — это тоже часть, — сказал он. И добавил, глядя на неё с той же лёгкой, точной улыбкой: — Важная часть.

Она засмеялась — немного.

Он засмеялся тоже.

И разговор перешёл на другое, на что-то лёгкое, незначительное, и Аня почти забыла вопрос — почти, потому что что-то осталось, что-то маленькое и неудобное, что она положила в самый дальний карман и не стала рассматривать.

Он умел делать подарки.

Не дорогие — дорогих у него не было, курсантское довольствие было тем, чем было. Но точные. Однажды принёс книгу — Пастернака, в мягкой обложке, с чуть погну-

тым углом, явно купленную на нелегальном книжном рынке. Аня взяла и почувствовала: он запомнил. Она говорила о Пастернаке мельком, однажды, в середине какого-то разговора о другом — и он запомнил.

— Ты читал? — спросила она.

— Немного. Не моё, честно говоря.

— Почему даришь тогда?

— Потому что твоё.

Это было хорошо сказано. Это было очень хорошо сказано — и она знала, что хорошо, и всё равно почувствовала тепло, потому что некоторые правильные слова работают независимо от того, знаешь ли ты, что они правильные.

Он умел говорить правильные слова.

Это был его главный дар — и его главная ловушка, хотя ловушкой он её не считал. Просто умел. Как умеют играть на слух — без нот, без системы, просто чувствуя, какая нота нужна в этот момент.

С Аней нужны были ноты про внимание и про понимание.

И он их играл — легко, без усилия, искренне почти. Почти — потому что где-то в этой искренности было что-то исполнительское, что-то от человека, который умеет быть таким, каким нужно быть в данный момент, — и это умение было настолько отработанным, что сам он уже, наверное, не

всегда понимал, где заканчивается исполнение и начинается он сам.

Аня этого не видела.

Или видела — и не хотела смотреть.

Январь.

Они шли по бульвару — Чистопрудному, под голыми деревьями, по утоптанному снегу. Было не очень холодно — градусов десять, не больше, московская зима в хороший день. Аня была в том самом тёмном пальто с большими пуговицами. Саша — в шинели, в шапки, которая была в руке, как всегда.

Она что-то рассказывала про семинар — про спор с преподавателем о Достоевском, про то, что преподаватель сказал: «Раскольников — это патология», а она сказала: «Раскольников — это честность, доведённая до конца», — и преподаватель посмотрел на неё поверх очков.

Саша слушал.

— Ты права, — сказал он.

— Ты так думаешь? Или говоришь, что я права?

Он остановился.

Посмотрел на неё — без улыбки, первый раз за долгое время без этой лёгкой, уверенной улыбки.

— Ты умная, — сказал он. — Это иногда мешает.

— Кому мешает?

— Тебе, — сказал он. — Ты слишком много проверяешь.

Она хотела ответить — уже чувствовала ответ на языке, острый и точный — но он сделал шаг и взял её за руку. Просто взял — без предупреждения, спокойно, как берут то, что своё — и она почувствовала его руку через варежку и через его перчатку, и острый ответ никуда не делся, но отступил немного.

— Я не проверяю, — сказала она. — Я думаю.

— Это одно и то же, — сказал он — и снова улыбнулся, и они пошли дальше.

Она не согласилась.

Но не сказала этого вслух.

Февраль.

Галка в комнате красила ногти — уже не красным, теперь розовым — и смотрела на Аню с тем своим терпеливым видом знатока.

— Ты влюблена, — сказала она.

— Я этого не говорила.

— Ты это не говоришь. Именно поэтому я говорю.

Аня сидела на кровати, держала книгу — открытую, но не читала.

— Галь, — сказала она, — он иногда говорит вещи, которые мне не нравятся.

— Какие?

— Не конкретные. Просто... — она поискала слово. — Иногда чувствую, что он говорит то, что нужно сказать. А не

то, что думает.

Галка подняла глаза от ногтей.

— Аня, — сказала она, — все так делают.

— Не все.

— Почти все. Особенно вначале.

— А потом?

Галка пожалала плечами — с той лёгкостью, с которой пожимают плечами люди, давно договорившиеся с миром на его условиях.

— Потом привыкаешь. Или нет.

Аня закрыла книгу.

За окном был февральский вечер — синий, с фонарями, с теми особыми московскими сумерками, которые она успела полюбить за два года: они были не деревенскими, не провинциальными, они были городскими, плотными, полными чьих-то жизней и чьих-то окон.

— Он амбициозный, — сказала она — не Галке, скорее вслух, себе.

— Это плохо?

— Нет. — Пауза. — Просто иногда не понимаю: я в этих планах есть? Или я рядом с планами?

Галка посмотрела на неё долго.

— Спроси, — сказала она наконец.

— Его?

— Себя.

Люся перевернула страницу.

Аня смотрела в окно.

Она тогда не спросила — ни его, ни себя. Потому что был февраль, и он приходил, и когда он приходил, вопросы казались маленькими и ненужными рядом с тем, что было большим и настоящим.

Или казалось настоящим.

Вот в этом-то и было всё дело.

Март принёс оттепель — раннюю, неуверенную, с лужами к полудню и снова морозом к вечеру.

Однажды они сидели у неё в комнате — Галка ушла к подруге, Люся была на семинаре — и за окном капало с крыши, монотонно и мирно, и Саша лежал на её кровати поверх одеяла и смотрел в потолок, и Аня сидела рядом и читала ему вслух — Пастернака, ту самую книгу — и он слушал молча, не перебивал.

Потом она замолчала.

И он сказал — в потолок, не поворачивая головы:

— Ань.

— Что?

— Ты знаешь, что ты особенная?

Она посмотрела на него.

Он лежал неподвижно, смотрел в потолок, и лицо его было — она потом долго думала об этом лице в этот момент — каким-то очень молодым. Не мальчишеским — он не был мальчишкой, он был амбициозным, просчитывающим, уме-

ющим. Но в этот момент — на секунду, не больше — что-то в нём было настоящим. Что-то, что не просчитывалось и не исполнялось.

— Знаю, — сказала она. И засмеялась.

Он повернул голову — посмотрел на неё — и тоже засмеялся. Тихо, коротко.

За окном капало с крыши.

Это был хороший момент.

Один из последних хороших — хотя она этого не знала.

Апрель.

Она поняла в апреле.

Поняла не сразу — сначала просто что-то стало не так с телом, какой-то сдвиг, какая-то новая тяжесть, которую она объясняла усталостью, весенним авитаминозом, нервами перед экзаменами. Потом объяснения кончились.

Она пошла в студенческую поликлинику одна.

Врач была немолодая, усталая, с тем профессионально-нейтральным лицом, которое бывает у людей, которые видели всё и давно перестали удивляться.

— Восемь недель, — сказала она. — Примерно.

Аня сидела на стуле напротив и смотрела на её руки — на авторучку в руке, на бланк на столе — и думала о том, что в коридоре сейчас стоит очередь, и что за окном апрель, и что сегодня среда.

Думала о конкретном.

Потому что думать о конкретном было можно.

— Что решите — сообщите, — сказала врач. — Времени немного.

Аня кивнула.

Встала.

Вышла в коридор — мимо очереди, мимо женщин с номерками, мимо плаката на стене о важности здорового питания — и на улице остановилась.

Апрель был тёплый. Почти летний — не по температуре, но по запаху: земля оттаяла, что-то зеленело у забора, воробьи делали что-то шумное в кустах.

Она стояла и дышала.

Просто дышала.

И думала о Саше.

О том, что надо ему сказать.

О том, что он скажет.

И вот здесь — в этом «что он скажет» — первый раз, очень тихо, почти неслышно, как первая трещина в стекле, которую замечаешь только если поднести к свету — появился страх.

Не за себя.

За то, что она уже знала ответ.

И не хотела его знать.

БЕРЕМЕННОСТЬ. РАЗГОВОР С САШЕЙ.

Она сказала ему в среду.

Не потому, что среда была чем-то особенным — просто он пришёл в среду, с увольнительной до десяти, и они шли по бульвару, и апрельский вечер был тёплым, почти летним, и Аня несла это в себе уже четыре дня и знала: дольше нельзя.

Не потому, что время поджимало — хотя и поджимало.

А потому что она устала знать одна.

Они шли молча — не тягостно, просто молча, как ходят люди, которым не нужно заполнять тишину. Саша курил — он иногда курил на улице, не много, одну-две, — и Аня смотрела на его профиль, на прямой подбородок, на то, как он держит папиросу, — и думала: сейчас. Сейчас скажу.

— Саш.

— М.

— Мне нужно тебе сказать кое-что.

Он повернул голову. Посмотрел на неё — внимательно, сразу, без раскочки. Это было в нём хорошее: он умел переключаться мгновенно, без предисловий.

— Говори.

Она остановилась.

Он остановился тоже.

Они стояли на аллее — фонарь над ними, скамейка рядом, кто-то вдалеке выгуливал собаку. Обычный вечер, обычный бульвар, обычные люди вокруг — и она сейчас скажет что-то, после чего этот вечер станет другим.

— Я беременна, — сказала она.

Просто так. Без предисловия, без смягчения. Она думала, что будет предисловие — думала, что начнёт издали, подготовит, — но слова вышли сами, коротко и прямо, потому что длинного она не вынесла бы.

Саша не сказал ничего.

Секунду — две — три.

Докурил. Бросил папиросу, затоптал носком сапога — аккуратно, методично. Поднял глаза.

— Ты уверена?

— Уверена. Была у врача.

Он кивнул.

Медленно, один раз — как кивают, когда принимают информацию и сортируют её, раскладывают по нужным ящикам, прежде чем отвечать.

— Сколько?

— Восемь недель.

Снова пауза.

Он смотрел не на неё — мимо, чуть в сторону, туда, где фонарь отражался в луже. Лицо было ровным — не жестоким, не холодным, просто закрытым. Как закрывают окно не

потому, что злятся на улицу, а просто потому, что сквозит.

— Саш, — сказала она.

— Подожди, — сказал он. — Дай подумать.

Она ждала.

Считала секунды — не специально, просто считала, как считают во время молчания, которое слишком длинное. Дошла до двадцати трёх.

— Ань, — сказал он наконец.

— Что.

Он повернулся к ней. Смотрел — прямо, серьёзно, с тем взглядом, который она знала и которому доверяла, — и начал говорить. Голос был ровный, негромкий, очень разумный.

— Ты понимаешь, где я учусь.

— Понимаю.

— Нас за такое отчисляют. Без права восстановления. Это не пустые слова — это устав, это приказ, это реально происходит с людьми. Я видел.

Аня молчала.

— У меня нет выбора в этом смысле. Я не могу. Физически не могу сейчас — ты понимаешь? Не потому, что не хочу.

— А потому что? — спросила она — тихо.

— Потому что, если меня отчислят — я останусь никем. Я из Краснодара, у меня нет здесь ничего, кроме этого училища. Это не трусость. Это — математика.

Математика.

Она почувствовала что-то — не злость ещё, не боль, что-то холоднее и тише: как будто кто-то повернул ручку где-то внутри, чуть-чуть, и стало на несколько градусов прохладнее.

— Я понимаю математику, — сказала она.

— Аня. — Он взял её за руку — как тогда, на Чистопрудном, спокойно, как берут своё. — Я не говорю «никогда». Я говорю «не сейчас». Это разные вещи.

— Что ты говоришь тогда?

Он помолчал.

— Я говорю: нужно решить этот вопрос. — Пауза. — Сейчас. Пока есть время.

Вот это слово — решить — она потом долго слышала. Не «что нам делать», не «как быть», не даже «прости» — а «решить». Как решают задачу. Как устраняют препятствие на дороге. Методично, без лишних слов — убрать то, что мешает двигаться вперёд.

— Ребёнок — это препятствие? — спросила она.

— Аня. — Его голос стал мягче — именно в этот момент,

именно тогда, когда она спросила острое. Это тоже было его умение: когда давление возрастало — смягчаться, не твердеть, потому что мягкость в такой момент обезоруживала лучше, чем твёрдость. — Я не так сказал.

— Как ты сказал?

— Я говорю, что сейчас неправильное время. Ты понимаешь, что будет с распределением, если это выяснится? Нас сошлют куда-нибудь — меня, и тебя вместе со мной, если мы поженимся. В лучшем случае Сибирь. Ты хочешь в Сибирь?

— Я хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос.

— Какой вопрос?

— Ребёнок — это препятствие?

Он смотрел на неё.

И в этот момент — в этот конкретный момент, под фонарём на Чистопрудном бульваре, в апреле семьдесят второго года — она увидела в его глазах ответ. Не тот, который он собирался произнести — а настоящий, тот, который живёт глубже слов и который умные глаза не умеют прятать до конца, как бы ни старался их хозяин.

Да.

Просто — да.

Он не сказал этого.

Он сказал другое — много другого, долго и разумно и с той интонацией человека, который объясняет очевидное тому, кто упрямится не понять. Он говорил про контракт и про

устав, про отца-офицера, который «убьёт», про распределение и карьеру, про то, что «потом — всё потом, я обещаю, просто не сейчас» — и слова были разные, и аргументы были разные, но под всеми ними лежало одно и то же простое слово, которое он так и не произнёс вслух.

Аня слушала.

Она стояла и слушала — ровно, не перебивала, смотрела на его лицо — и чувствовала, как что-то в ней очень медленно, очень тихо, без крика и без надрыва — переворачивается.

Не разбивается — нет.

Переворачивается. Как переворачивают страницу — аккуратно, без спешки — и то, что было на предыдущей, остаётся там, за поворотом, и ты уже на другой.

— Аня, — сказал он, когда она слишком долго молчала. — Скажи что-нибудь.

— Ты сказал: ты не знаешь, чей это ребёнок, — произнесла она.

Это было в середине его речи — одна фраза, мимоходом, почти скороговоркой: «Я постоянно на закрытой территории, откуда мне знать» — и он, кажется, сам не заметил, что сказал это, или заметил и решил, что она не обратит внимания.

Она обратила.

Саша открыл рот.

Закрыл.

— Я не это имел в виду, — сказал он.

— Что ты имел в виду?

— Я имел в виду... — Он остановился. — Я имел в виду, что в такой ситуации всегда сложно...

— Саша.

— Что.

— Не надо.

Она сказала это тихо.

Не в смысле «замолчи» — в смысле «не надо этих слов, они не нужны, я уже всё поняла, и ты это знаешь». Он замолчал — и в этом молчании было облегчение, она слышала его, маленькое и постыдное облегчение человека, которому разрешили не продолжать.

Они стояли.

Собака вдалеке тявкнула и замолчала.

Фонарь гудел над ними — едва слышно, монотонно.

— Я не хочу испортить тебе карьеру, — сказала она наконец.

— Аня...

— Нет. — Она подняла руку — негромким жестом, останавливающим. — Я не хочу. Правда. Иди.

Он смотрел на неё.

И в его взгляде было — она видела, она потом долго думала об этом, — не злость, не равнодушие, а что-то настоящее: что-то похожее на стыд, маленький и живой, как огонёк, ко-

торый не может разгореться в человеке, у которого слишком много причин его затушить.

— Я позвоню, — сказал он.

— Хорошо.

— Мы поговорим. Завтра или...

— Хорошо, Саша.

Он ещё стоял секунду.

Потом пошёл.

Она смотрела ему вслед — как он идёт по аллее, ровно, прямо, с той военной выправкой, которую она когда-то нашла красивой, — и смотрела до тех пор, пока он не свернул за угол и не исчез.

Потом перестала смотреть.

Фонарь гудел.

В луже отражалось небо — тёмное, с одной далёкой звездой, которую Аня заметила только сейчас.

Она стояла и думала о том, что он не спросил ни разу — за всё время, пока говорил, — как она. Что она чувствует. Что ей нужно.

Ни разу.

Это было, наверное, самым точным из всего, что произошло сегодня вечером.

Точнее любых слов.

Она постояла ещё немного.

Потом пошла в общежитие.

Медленно — первый раз за долгое время медленно, без своей обычной торопливости, — и апрельский вечер был всё такой же тёплый, и земля всё так же пахла оттаявшей почвой, и воробьи возились в кустах, и всё вокруг было совершенно обычным.

Только она — другая.

Уже другая.

Хотя снаружи этого ещё не было видно.

АБОРТ

Больница была на окраине.

Не та, студенческая поликлиника, куда она ходила на осмотр, — другая, куда дала направление та же усталая врач с нейтральным лицом, написала адрес на бумажке аккуратным почерком человека, который пишет этот адрес часто. Аня ехала на двух автобусах — сначала до кольцевой, потом пересадка, потом ещё остановок восемь, — и смотрела в окно на майскую Москву, которая была зелёной и быстрой, и совершенно безразличной к тому, куда едет женщина в тёмном пальто у запотевшего стекла.

Саша так и не позвонил.

Ни на следующий день, ни через два. На третий она сама

пошла к телефону-автомату и набрала номер — тот, который он дал когда-то, для экстренных случаев, дежурный по корпусу. Долго ждала. Потом мужской голос сказал: «Ветренко в наряде, передать что-нибудь?»

— Нет, — сказала она. — Ничего.

Повесила трубку.

Постояла у автомата.

Потом пошла в поликлинику и попросила направление.

Она пришла в больницу в семь утра — как было написано на бумажке: «явка в 7.00, натошак».

Май был тёплый, но утром ещё холодный — тот ранний утренний холод, который исчезает к десяти и про который к вечеру уже не вспоминаешь. Аня шла от остановки пешком — минут десять по тихой улице с деревянными заборами и палисадниками — и думала о том, что надо было надеть что-то потеплее.

Больница была старая — двухэтажная, кирпичная, с облупившейся краской у входа, с железной табличкой у двери, с кустами сирени по периметру, которая ещё не зацвела. Внутри пахло — сразу, с порога — хлоркой и чем-то ещё, больничным, неустрашимым, тем запахом, который въедает-

ся в стены и остаётся там навсегда, как бы ни мыли.

В регистратуре её ждали.

Женщина за окошком — немолодая, в белом халате поверх свитера — взяла направление, посмотрела, не глядя на Аню, написала что-то в журнале.

— В третий кабинет. По коридору налево, в конце.

Коридор был длинный, с жёлтыми стенами и деревянными скамейками вдоль них. На скамейках сидели женщины — несколько, разного возраста, с теми лицами, которые Аня потом долго вспоминала и не могла точно описать. Не горе — нет. Не страх. Что-то другое, что бывает у людей в ожидании чего-то неизбежного: некоторая отдельность от самих себя, как будто они немного отошли в сторону и ждут, пока это закончится.

Аня села на свободное место.

Слева от неё — женщина лет тридцати пяти, в сером платке, смотрела в пол. Справа — молодая, почти ровесница, читала что-то — книгу, Аня не увидела, что, — или делала вид, что читала.

Никто не разговаривал.

Это была тишина особого рода — не враждебная, не тяжёлая, просто полная. Тишина людей, у которых сейчас нет

слов, и это нормально, и никто этого не требует.

Аня сложила руки на коленях.

Смотрела на стену напротив — на плакат о гигиене, на трещину в штукатурке, которая шла от угла наискосок и где-то на середине останавливалась, не доходя до конца.

Она не думала о Саше.

Это было странно — она ожидала, что будет думать о нём, что он будет присутствовать здесь, в этом коридоре, как причина, как объяснение, — но он не присутствовал. Просто не было его здесь. Было только это — жёлтые стены, хлорка, трещина в штукатурке, женщины на скамейках, утренний холод, который она всё ещё чувствовала в руках.

И что-то ещё — что она не называла даже про себя.

Просто что-то живое.

Ещё живое.

Она положила руку на живот — на секунду, не дольше, — и убрала.

Потом была очередь.

Потом — кабинет.

Потом — железная кровать с клеёнкой, холодная, с запахом дезинфекции. Молодая медсестра с усталыми глазами сказала: «Лягте. Расслабьтесь» — и Аня подумала мельком:

как странно это звучит. Расслабьтесь.

Врач была другая — не та, из поликлиники. Эта была по-старше, очень спокойная, с движениями, отработанными до полной бесшумности. Она не смотрела на Аню — смотрела туда, куда смотрят врачи, когда работают, — и говорила иногда медсестре что-то техническое, короткое.

Аня смотрела в потолок.

Потолок был белый, с одним жёлтым пятном у лампы — старое, давнее, никого не беспокоящее. Лампа гудела — тихо, ровно, как гудят старые лампы, которые давно пора менять, но меняют только когда перегорят.

Боль была — да.

Но это была не главная часть.

Главная часть была — в какой-то момент, посреди всего этого — полная, абсолютная тишина внутри. Не пустота — тишина. Как тишина после того, как долго шумело что-то, к чему привык и не замечал, — и вдруг замолчало, и ты только теперь понимаешь, что оно было.

Она не заплакала.

Ни во время, ни после.

Это было странно — она ожидала слёз, она была готова к слезам, она не стыдилась бы слёз, — но их не было. Было

что-то другое, что не имело внешнего выражения, что происходило где-то глубже, чем слёзы.

Потом была палата.

Несколько железных кроватей — четыре или пять, Аня не считала, — с казёнными одеялами серого цвета, с тумбочками у каждой, пустыми. Окно выходило в больничный двор — там росли кусты сирени, та же нецветущая сирень, что и у входа, и за ней был серый забор.

Аня лежала и смотрела в окно.

На кровати напротив лежала женщина в сером платке — та, что сидела рядом в коридоре. Она тоже смотрела в окно. Они не говорили — просто лежали, каждая в своей тишине, рядом.

Потом женщина сказала — негромко, ни к кому особенно: — Третий раз уже.

Аня посмотрела на неё.

— У меня двое детей, — сказала женщина. — Муж пьёт. Куда третьего.

Она говорила это ровно, без жалобы, без ожидания ответа — просто вслух, как говорят то, что давно знаешь и давно несёшь, и иногда просто нужно сказать в пространство, не для кого-то.

Аня кивнула.

— У вас первый? — спросила женщина.

— Да.

— Молодая ещё. — Пауза. — Правильно сделали.

Аня не ответила.

Смотрела в окно на нецветущую сирень.

Правильно или нет — это был вопрос, который она не задавала. Не потому, что боялась ответа. А потому что поняла: «правильно» и «неправильно» — это слова из другого языка, не из того, на котором говорилось здесь, в этой палате, между этими железными кроватями.

Здесь был другой язык.

Язык, в котором не было правильно и неправильно, а было только — случилось. И что делать с тем, что случилось.

К обеду принесли еду — жидкий суп в металлической миске, хлеб, чай. Аня съела. Не потому что хотела — просто надо было есть, это она понимала отчётливо, как понимают простые практические вещи в моменты, когда сложные недоступны.

Потом пришла медсестра — та, с усталыми глазами.

— Как вы?

— Нормально, — сказала Аня.

— Завтра утром можно идти, — сказала медсестра. — Если без температуры.

— Хорошо.

Медсестра ушла.

Женщина в сером платке уже спала — или лежала с закрытыми глазами, что в данных обстоятельствах было одним и тем же. За окном день медленно переходил в вечер — небо темнело постепенно, нецветущая сирень сначала стала силуэтом, потом исчезла в темноте совсем.

Аня лежала.

Не думала — или думала, но не словами, а тем более медленным и глубоким способом, которым думают тогда, когда обычные слова не вмещают то, что происходит внутри.

Саша не позвонил

Это было — всё ещё удивительно. Не больно уже — просто удивительно. Как удивляет то, что оказывается правдой, хотя ты знал это заранее и не хотел знать.

Она думала о том, что завтра встанет.

Оденется.

Выйдет из этой больницы.

Сядет в автобус, пересадки

Доедет до общежития.

И жизнь продолжится — Галка, Люся, семинары, Толстой и Блок, экзамены в июне. Всё продолжится. Жизнь не останавливается ради того, что происходит в больничных палатах с серыми одеялами.

Это было, как ни странно, не страшно.

Это было просто — факт.

Один из тех фактов, с которыми надо научиться жить, как живут с шрамом: сначала болит, потом заживает, потом просто есть — и ты к нему привыкаешь, и он становится частью тебя, и ты перестаёшь замечать, но он никуда не девается.

Она закрыла глаза.

Снаружи было тихо.

Только где-то далеко — автобус на остановке, его тяжёлый выдох, двери с железным лязгом.

И она заснула.

Без слёз.

Вдруг, среди этой давящей, глухой темноты, перед самым её лицом сооткалось какое-то странное, фосфорическое белое пятно, принявшее вдруг очертания крошечного, беззащитного младенца, и до ушей её явственно донёсся тихий, пронзительный, точно из могилы идущий детский голосок:

«Ты меня убила, слышишь ли, ты и отец, вы вместе меня убили!.. Я вырасту, я всё равно вырасту и приду, непременно приду за вами... Помни это, помни всегда... Я приду!»

Точно током, страшным, неестественным ударом прожгло всё её существо; Аня судорожно, всем телом вздрогнула и в ту же секунду очнулась. Она открыла глаза. Кругом царила мёртвая, гробовая тишина, и только в окно брезжил серый, больной утренний свет — едва-едва рассветало. Онемевшими, точно чужими пальцами, задыхаясь от ужаса, она кое-как, с трудом перекрестилась и в каком-то лихорадочном иступлении принялась уверять себя, что всё это — лишь подлый, воспалённый бред её собственного больного воображения.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ АННЫ

Её выписали утром.

Медсестра — не та, с усталыми глазами, другая, дневная, деловитая — дала бумажку с печатью и сказала: «Две недели без физической нагрузки, явка на осмотр через десять дней». Сказала это в пространство, не глядя на Аню, потому что говорила это каждый день и слова давно отделились от смысла и существовали отдельно, как табличка на двери.

Аня взяла бумажку.

Оделась в маленькой раздевалке — пальто, туфли, сумка. Посмотрела на себя в мутное зеркало над раковиной. Та же.

Внешне — та же. Это тоже было удивительно: что снаружи ничего не изменилось, что зеркало не видит того, что произошло внутри.

Вышла.

Больница стояла на тихой улице с деревянными заборами, и эта улица в восемь утра была почти пустой — только дворник в конце скрёб метлой по асфальту, размеренно и бесконечно, как скребут люди, которые делают одно и то же каждый день и давно перестали думать о результате.

Аня шла к остановке.

Май был тёплый — уже по-настоящему, по-летнему почти, — но она не чувствовала тепла. Не потому, что было холодно. Просто тепло шло снаружи, а она была внутри себя — глубоко, за несколькими слоями, до которых тепло не доходило.

Сирень у длинного, серого больничного забора, точно празднуя что-то, наконец зацвела.

Аня заметила это только теперь, когда освободилась, вышла из тяжёлых, пахнущих лекарствами больничных дверей на свежий воздух; она вдруг остановилась, и странное, почти забытое чувство умиления охватило её душу.

Накануне, когда она в таком горе и страхе приезжала сюда, на кустах виднелись лишь плотные, тугие зелёные гроздья, казавшиеся замершими навсегда. И вот, всего за один этот бесконечный, мучительный день, сирень открылась. Она явилась теперь во всей своей лиловой, пышной и густой красоте, распространяя вокруг тот особенный, свежий запах, который бывает на свете только один раз в году, в мае, и который человеческая душа ни с чем и никогда уже не может спутать.

Аня стояла неподвижно, устремив глаза на эти влажные, живые цветы, и ей вдруг показалось, что всё её давешнее горе, весь этот ужас прошедшей ночи были чем-то ничтожным перед этой великой, совершающейся помимо людей жизнью природы. Она постояла так с минуту, вздохнула всей грудью и, чувствуя, как что-то отлегло от сердца, пошла дальше своим ровным, покорным шагом.

Остановка была в конце улицы — деревянный навес, скамейка, столб с расписанием, которое давно устарело, но никто не заменил. Народу почти не было: старик с авоськой, женщина с ребёнком, который тащил её за руку куда-то в сторону и не преуспевал.

Аня встала под навесом.

Автобус должен был быть через семь минут — по расписанию. По расписанию, которое давно устарело.

Она ждала.

Семь минут прошли.

Автобуса не было.

Потом прошло ещё пять. Ещё десять. Старик с авоськой вздохнул, перехватил авоську в другую руку, снова вздохнул — с тем смирением человека, который ждал автобусы долго и знает: раньше не придёт, сколько ни смотри на дорогу.

Женщина с ребёнком ушла — видимо, решила пешком будет быстрее.

Ребёнок оглянулся на Аню — круглолицый, в синей курточке — и помахал рукой. Аня не сразу поняла, что это ей. Потом подняла руку в ответ. Они уже скрылись за углом.

Она стояла одна под навесом.

Дорога была пустая — ни автобуса, ни машин, только дворник в отдалении всё скрёб и скрёб своей метлой.

И вот здесь — в этой пустоте, под этим деревянным навесом, в майское утро, когда автобус не шёл и идти было некуда и не к кому — здесь что-то произошло.

Не громко.

Не как озарение, не как удар — ничего подобного. Просто что-то внутри, что последние несколько недель стояло в неустойчивом равновесии — как стоит стакан на краю стола, когда ещё не упал, но уже ясно, что упадёт, — вот это что-то наконец сдвинулось. Тихо, окончательно, без возврата.

Она думала о Саше.

Не с болью — боль была, но она лежала где-то в стороне, она никуда не делась, она будет долго, — а с той особой ясностью, которая приходит к людям, когда самообман наконец кончается и остаётся только то, что есть.

Он не придёт.

Не потому, что плохой человек. Просто — не придёт. Потому что он сделан так, что карьера весит больше, и это не злодейство, это просто его устройство, и она это знала, она чувствовала это с самого начала — с того первого разговора в кафе, когда он сказал «результат» и она убрала вопрос в дальний карман.

Знала.

И не знала — одновременно.

Потому что знание и вера — это разные органы, и они не всегда разговаривают друг с другом.

Она думала о маме.

Мама в Калуге не знала ничего — ни об этом, ни о Саше,

ни о педагогическом вместо бухгалтерского техникума. Мама думала: Аня учится, всё хорошо. Позвонить маме? Нет. Нельзя. Мама скажет — много скажет, правильного и неправильного вперемешку, — и это будет невыносимо не потому, что плохо, а потому что сейчас не нужны слова, сейчас нужно что-то другое.

Что?

Она думала.

Под навесом было прохладно — тень, сквозняк с улицы. Она застегнула верхнюю пуговицу пальто. Руки были холодные. Она убрала их в карманы.

В правом кармане — варежка. Одна. Вторая потерялась ещё зимой, и она так и носила одну, переключивала с руки на руку в холода. Нашла сейчас пальцами, сжала.

И вдруг, неожиданно для себя, подумала — не о Саше, не о больнице, не о том, что только что было, — а о другом, совсем конкретном и простом:

Кто поможет?

Не как крик, не как жалоба — просто вопрос. Практический. Кто поможет, если заболеешь. Кто поможет, если деньги кончатся раньше стипендии. Кто поможет, если.

Галка — добрая, но у неё своя жизнь.

Люся — добрая, но она из другого мира.

Мама — далеко, и мама потребует объяснений.

Саша — нет.

Она перебирала — методично, без слёз, как перебирают содержимое кошелька, когда надо точно знать, сколько есть, — и в конце этого перебирания осталось только одно.

Никто.

Она поняла, что каждый сам за себя, и никому до неё нет никакого дела, что она может понадобиться только тогда, когда им что-то нужно будет.

Но восприняла это не в смысле «я одна и это трагедия». Просто — никто. Это было не открытие, это было уточнение. Уточнение того, что она, наверное, знала всегда, просто не проверяла так вот — прямо, в лоб, без смягчений.

Никто не поможет.

Никто не придёт.

Никто не пожалеет так, как нужно, — так, как нужно именно сейчас, именно ей.

Автобус не ехал.

Дворник скрёб метлой.

Сирень за больничным забором стояла и цвела — лиловая, густая, с запахом, который ни с чем не спутать, — и этот запах доходил даже сюда, под навес, и был таким живым, та-

ким настойчивым, что Аня почти разозлилась на него. Зачем так хорошо пахнуть. Зачем сейчас.

Она стояла.

И вот здесь — именно здесь, в этой точке, между запахом сирени и пустой дорогой — что-то в ней перестало ждать.

Не громко. Не с решением, принятым вслух. Просто перестало — как перестаёт идти часовой механизм, когда кончается завод, и наступает другая тишина, другое время.

Она убрала варежку обратно в карман.

Расправила плечи — не намеренно, просто так вышло, само, — и посмотрела на дорогу.

Автобуса не было.

Значит, всё самой.

Не вслух — нет. Это не было сказано вслух. Это было сказано где-то там, где слова живут раньше, чем становятся словами. Тихо, буднично, без пафоса — как говорят очевидное, которое наконец перестало быть страшным и стало просто фактом, с которым можно работать.

Значит, всё самой.

Это было не гордость.

Не героизм.

Это была усталость — глубокая, чистая, та, что бывает после долгой дороги, когда понимаешь: ждать больше нечего, надо идти самому, и ты встаёшь и идёшь. Просто, потому

что стоять больше нет смысла.

Вот и всё.

Этого оказалось достаточно.

Автобус пришёл через двадцать минут.

Она вошла, опустила 5 копеек в кассу, оторвала билетик. Нашла место у окна — у мутного стекла, с царапиной наискосок. Двери закрылись с железным лязгом.

Автобус тронулся.

Аня смотрела в окно — на улицы, на людей, на Москву, которая жила своей обычной майской жизнью, не зная и не спрашивая, — и думала о конкретном. О том, что надо сдать сессию — хорошо сдать, на стипендию. О том, что надо написать маме — обычное письмо, без лишнего. О том, что в следующем году надо попроситься на практику в хорошую школу.

О том, что слабость — это роскошь.

Не слово «слабость» — она не думала словами. Просто это знание — новое, твёрдое, как монета в кулаке, — лежало в ней и было тяжёлым и надёжным одновременно.

Если ты слабый — тебя выбрасывают.

Она видела это сегодня. Ясно, без метафор — видела.

Слабость приглашает людей делать с тобой то, что удобно им. Слабость говорит: я подожду. Слабость стоит под навесом и ждёт автобуса, который не едет.

Больше не будет.

Не потому, что она теперь злая. Не потому, что больно — больно было, и останется. А просто потому, что есть вещи, которые понимаешь один раз и после которых уже нельзя сделать вид, что не понял.

За окном проплывали дома — пятиэтажки, дворы, деревья в майской листве, свежей, ещё не пыльной. Жизнь была — повсюду, обычная, многолюдная, не обращающая на неё внимания.

Аня смотрела.

И впервые за несколько недель не чувствовала страха.

Только эту новую тяжесть в груди — твёрдую, холодноватую, — которая была не страхом и не горем.

Которая была — броней.

Ещё тонкой. Ещё не привычной. Но уже — броней.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ

Кран капнул.

Один раз — громко, как будто специально — и замолчал. Вера вздрогнула, как бы очнулась.

Она стояла на кухне — под жёлтой лампой, с альбомом на столе, с фотографией в руке — и секунду не понимала, где она. Не в смысле потеряться — просто граница между тем, что было только что внутри, и тем, что вокруг, оказалась тоньше, чем должна быть, и переход через неё был резким, как выход из тёмного помещения на свет.

Кухня.

Её кухня. Лампа сорок ватт. Герань на подоконнике. Запах остывших котлет и чуть — валидола, который мама пила после гостей. Старый дом стоял вокруг неё — тихий, тёмный, дышащий деревом и временем.

Март.

Двухтысячные годы.

Она посмотрела на фотографию в руке.

Девушка в белом платье смеялась — запрокинув голову, закрыв глаза, всем телом — и этот смех был такой же, каким был минуту назад, и час назад, и пятьдесят лет назад: открытый, бесстрашный, не знающий ещё, что нужно беречься.

Вера смотрела на неё долго.

Очень долго.

И думала — медленно, как думают вещи, которые не хочется думать до конца, но которые уже начались и не остановятся сами:

Она не знала.

Вот эта девушка с фотографии — она не знала, что произойдёт. Не знала про остановку и про автобус, который не идёт. Не знала про броню, которую наденет и уже не снимет. Не знала про дом, который станет её крепостью и её тюрьмой. Не знала про детей, которые будут чувствовать эту броню каждый день и никогда не поймут, из чего она сделана.

Она просто смеялась.

В 1971 году.

В белом платье.

И это было — настоящим.

Самым настоящим из всего, что Вера видела сегодня на этих фотографиях — настоящее, живое, незащищённое — и именно это было страшнее всего остального.

Не мама-тиран страшна.

Страшна вот эта девушка.

Страшно то, что между ней и тем, что за стеной — за скрипящей кроватью и кашлем и «Верка, воды принеси» — между ними не пропасть и не злой умысел.

А жизнь.

Просто жизнь — с остановками, на которых не едет автобус, с людьми, которые не приходят, с решениями, которые принимаются в тишине, и с бронёй, которую потом носят так долго, что забывают, что под ней что-то было.

Вера стояла и чувствовала что-то, чему не сразу нашла

СЛОВО.

Не жалость.

Не нежность.

Страх.

Тихий, ровный, идущий откуда-то изнутри, а не снаружи — тот страх, который бывает, когда смотришь на что-то и понимаешь: это не чужое. Это — возможное. Это — то, что может случиться не с кем-то, а с тобой, если.

Если — что?

Она не договорила вопроса даже про себя.

Потому что в этот момент из маминой комнаты — резко, из тишины, как всегда из тишины, никогда не предупреждая: — Верка! Ты меня слышишь? Г тебя черти носят?!

Вера вздрогнула.

Сильнее, чем от крана. Резко, всем телом — как вздрагивают от голоса, который знаешь всю жизнь и к которому не привыкнуть, потому что он всегда звучит именно тогда, когда ты на секунду забыл о нём.

Она опустила фотографию.

Посмотрела на неё последний раз — девушка смеялась, белое платье, лето, семьдесят первый — и убрала в альбом. Аккуратно, на место.

Закрыла альбом.

Поставила на край стола — потом уберёт в сервант.

Пошла к маминой комнате.

Остановилась у двери.

И вот здесь — в эту секунду, с рукой на дверной ручке — почувствовала кое-что.

Посмотрела на свою руку.

На то, как она держит ручку — крепко, чуть сильнее, чем нужно просто чтобы открыть дверь. На то, как стоит — прямо, плечи расправлены, голова чуть поднята.

На то, как она приготовилась войти — собрав лицо в то выражение, которое означает: я здесь, всё в порядке, что нужно.

Она смотрела на свою руку.

И понимала — медленно, с тем ужасом, который не кричит, а приходит тихо и садится рядом, и никуда не уходит, — что этот жест, эта рука, эта прямая спина, это собранное лицо перед чужой дверью —

Она это уже видела.

Сегодня.

На фотографии.

Женщина, которая приготовилась. Которая собрала себя. Которая несёт внутри что-то тяжёлое и твёрдое и не показывает.

— Верка! — снова, раздражённо.

— Иду, мама, — сказала Вера.

Голос вышел ровный.

Спокойный.

Правильный.

Она открыла дверь и вошла.

Анна Кирилловна лежала на спине — прямо, как лежат люди, которые контролируют себя даже во сне. Ночник горел оранжево. Лекарства в ряд на тумбочке.

— Где ходишь? — сказала мама. — Уже скоро обед.

— Посуду мыла.

— Пол дня посуду?

— ещё с утра сбегала в офисе убрала.

Мама посмотрела на неё — внимательно, с той проникающей, которая у неё была всегда и которая раздражала именно потому, что была настоящей.

— Альбом смотрела? — сказала она.

Вера не ответила сразу.

— Я видела, когда ночью выходила, что ты его со стола не убрала, — сказала мать. — Значит, смотрела.

— Смотрела.

Тишина.

Мать отвела взгляд в сторону — к окну, к тёмному стеклу, в котором был виден двор. Долго смотрела туда.

— Там есть фотография, — сказала она наконец. — Где я молодая. В белом платье.

— Я видела.

— Хорошая фотография.

Пауза.

— Я тогда смешливая была, — сказала мама — тихо, не Вере, скорее тому стеклу, через который был виден двор. — Ты не знаешь. Ты меня такой не видела.

— Нет, — сказала Вера.

— Это давно было.

— Да.

Ещё тишина.

Длинная — такая, что Вера почти решила уходить.

— Верочка, — сказала мама.

— Что.

— Принеси воды.

Вера принесла воды.

Мама выпила — медленно, двумя руками — вернула стакан.

— Иди отдохни, — сказала она. — скоро обед.

— Иду.

— Свет выключи.

Вера выключила свет.

Постояла — секунду, — и пошла к двери.

— Вер, — сказала мама из темноты.

— Что.

— Я в молодости боялась одного только.

Вера остановилась.

Не обернулась — просто остановилась.

— Чего? — спросила она.

Долгая пауза.

— Быть слабой, — сказала мама.

И больше ничего не сказала.

Вера стояла у двери.

Спиной к маме, лицом к тёмному коридору, к ночнику, который горел жёлто и слабо, к старому дому, который стоял вокруг неё — с его деревом и его временем и его запахом, которому не было названия.

Стояла.

И чувствовала, как что-то — медленно, неостановимо, как вода находит трещину — начинает укладываться по-другому. Не становится понятнее — нет. Не становится легче.

Просто — по-другому.

Она открыла дверь.

Вышла в коридор.

Закрыла за собой тихо.

И пошла к себе — по тёмному коридору, мимо Серёжиной двери, за которой было тихо, мимо серванта с хрустальной вазой, мимо фотографии в рамке на стене — молодая мама у доски, строгая, уверенная.

Остановилась.

Посмотрела на эту фотографию — секунду, не больше.

На прямую спину.

На поднятую голову.

На руку, которая держит мел над доской — крепко, чуть сильнее, чем нужно просто чтобы писать.

Потом пошла дальше.

Легла. Но ненадолго. Скоро идти готовить обед.

Закрыла глаза.

И долго лежала так — не засыпая, просто лёжа — и слушала, как дом дышит вокруг неё: скрип дерева, далёкий звук улицы, капающий кран, который она не закрыла до конца.

И вдруг чей-то голос, не то мамин, не то детский, ни то взрослый, чужой: «Меня убила, слышишь ли, ты и отец, вы вместе меня убили!.. Уже расту, я всё равно вырасту и приду, непременно приду за вами... Помни это, помни всегда... Я приду!».

— Задремала, — подумала Вера, — Хрень какая-то привиделась Или мама во сне говорит.

Но вставать было лень.

Кап.

Пауза.

Кап.

ГЛАВА 3. ГРУДНОЙ СЕЙФ

УТРО ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Вера очнулась только в половине десятого. Катастрофически поздно. В будни, когда нужно было убирать офисы, она в это время уже возвращалась и заканчивала готовить завтрак. А если везло освободиться пораньше, то была дома в половине восьмого — ровно к началу. Потому что в семь утра в доме запускался один и тот же неизменный ад: мама просыпалась, заходила кашлем, звала, требовала чаю, требовала лекарств, требовала присутствия... Но сегодня было воскресенье. За стеной почему-то стояла глухая тишина, и измученное тело Веры само, без её воли, решило забрать то, чего ему так долго не давали.

Она лежала и смотрела в потолок.

Пятно над кроватью — старое, ещё с тех времён, когда текла крыша, — было ей знакомо до деталей: по форме напоминало что-то, что она в детстве называла «слоном», потом перестала, потом снова заметила однажды и поняла, что слон никуда не делся, просто она перестала смотреть вверх. Сейчас смотрела. Слон стоял на месте — бурый, неподвижный, никуда не торопящийся.

Из кухни пахло вчерашним ужином. Не тухлым — просто вчерашним: остывшими котлетами, заветренным салатом, чем-то жирным и тяжёлым, что всегда оседает на стенах после хорошего застолья, когда тарелки уже убраны, но воздух ещё помнит.

Вера знала этот запах наизусть. Он неизменно приходил на следующее утро после того, как мама решала устроить себе «праздник». Настоящий пир — не по календарю, а по капризу, по внезапному желанию. И каждое утро после такой вспышки всегда бесцеремонно заявляла: праздник кончился, Вера. Начинается настоящее.

Она встала.

Надела халат — старый, байковый, в клетку, который помнил, наверное, ещё конец восьмидесятых. Мама однажды сказала: «Выброси эту тряпку, стыдно смотреть». Вера не выбросила. Не из упрямства — просто не дошли руки купить другой.

Пошла на кухню.

Посуда стояла в раковине — та, что она не успела домыть ночью. Несколько тарелок. Кастрюля из-под супа. Чашки. Она сделала это почти всё, но чашки оставила — рука уже не держала, глаза слипались, она решила: утром. Утром сейчас.

На столе — допитая рюмка.

Серёжина, скорее всего. Он иногда оставлял вот так — допив последнее, как будто хотел показать: смотри, я бережливый. Вера взяла рюмку, понюхала. Вчерашняя наливка.

На подоконнике — муха.

Первая в этом году — откуда она взялась в марте, непонятно, может, зимовала где-то в щели, может, занесло с улицы, — сидела на краю горшка с геранью и не двигалась. Просто сидела. Вера посмотрела на неё секунду и отвернулась.

Поставила чайник.

Пока он грелся — убрала остатки со стола в холодильник: оливье в миске под крышкой, котлеты в тарелке затянула плёнкой.

Взялась за посуду.

Вода была тёплая, почти горячая — она всегда мыла горячей, до красноты рук, мама говорила: «Зачем так жечься» — но горячей лучше сходит жир, это Вера знала и делала по-своему в том единственном, в чём делала по-своему.

Из маминой комнаты — кашель.

Короткий, сухой — не тот, ночной, глубокий, который был в феврале, — просто утренний кашель, привычный, как часть расписания. Вера продолжала мыть посуду. Подождала. Если позовёт — позовёт.

Не позвала.

Тишина восстановилась — с капающим краном, с гудящим чайником, с мухой на подоконнике, которая наконец сдвинулась и полетела куда-то в угол.

Вера домыла чашки.

Вытерла руки.

Налила чай — себе, в простую кружку, без праздничного

сервиза, — и села у стола.

За окном был март — серый, мокрый, без намерений становиться лучше. Двор был пуст: яблоня, забор, старая поленница у сарая. Лужа посередине двора отражала небо — тёмное, тяжёлое, то самое небо, которое обещает что-то, но тянет с обещанием.

Вера пила чай.

Думала ни о чём.

Это было хорошее умение — думать ни о чём — она выработала его за годы, потому что думать о чём-то конкретном в этом доме было опасно: конкретные мысли имели свойство приходить к конкретным же выводам, а выводы требовали действий, а действий она позволить себе не могла — не сейчас, не здесь, не пока.

Она, как и все эти миллионы несчастных, мечущихся в слепоте своей людей, совершала, казалось, самую главную, самую роковую и непростительную человеческую ошибку: всё ждала и ждала каких-то призрачных «лучших времён», когда иго это, всё это постыдное бремя жизни наконец-то спадёт и станет легче. Но ведь по какому-то страшному, неизбежному закону жизнь и не может, решительно не может стать легче, пока ты малодушно бежишь от неё в это выдуманное, обманчивое будущее! И оттого-то каждый новый день, вместо обещанного покоя, лишь приносил с собой новую, ещё более липкую, ещё более невыносимую и удушающую тяжесть.

Чай. Окно. Яблоня. Лужа с небом.

Из маминой комнаты снова кашель — длиннее, настойчивее.

Потом:

— Верка, ты где.

Вера встала.

АННА КИРИЛЛОВНА ИЩЕТ ДЕНЬГИ

Мама стояла посреди комнаты.

Не лежала — стояла, в ночной рубашке, босиком на деревянном полу, и смотрела на кровать. Вернее — не на кровать, а на то, что было рядом с кроватью, под кроватью, возле тумбочки — смотрела быстро, дёргано, с той особой растерянностью, которая бывает у людей, когда пропадает что-то важное и голова уже работает не на мысли, а на поиск.

— Мама, — сказала Вера. — Ты чего встала. Холодно.

— Подожди.

— Надень тапочки хотя бы.

— Подожди, говорю.

Мама ощупала себя — привычным жестом, который Вера уже видела, но не каждый день — прошлась ладонями по груди, по бокам, по рубашке. Потом заглянула под подушку — подняла, опустила. Потом наклонилась к тумбочке —

медленно, с усилием, придерживаясь за край кровати — открыла нижний ящик.

— Где они, — сказала она. Не Вере — себе. — Где они, господи.

— Что ты ищешь?

— Не твоё дело.

— Мама.

— Не твоё дело, я сказала.

Она закрыла ящик тумбочки. Открыла снова. Закрыла. Выпрямилась — тяжело, с тем усилием, которое Вера в последнее время замечала всё чаще и каждый раз отмечала краем сознания и убирала, потому что думать об этом было нельзя.

Подошла к шкафу.

Открыла дверцу — одежда, стопки белья, коробка с нитками на верхней полке. Зашарила рукой по нижней полке, по стопке простыней. Потом по средней. Потом снова по нижней.

— Нет, — сказала она.

— Мама, скажи мне, что ты ищешь.

— Я сама.

Но голос был другой — Вера услышала это сразу. Не раздражённый, не командный — другой. Тонкий какой-то, как бывает у людей, когда под обычным голосом появляется что-то, что они не хотят показывать, но не могут спрятать до конца.

Страх.

— Мама, — сказала Вера — спокойно, тихо, так говорят с людьми, которых не надо торопить. — Скажи мне. Я помогу найти.

Мама остановилась.

Стояла у шкафа спиной к Вере — маленькая, в ночной рубашке, плечи острые под тканью — и молчала секунду. Потом повернулась.

Лицо было — Вера потом долго помнила это лицо — не злое, не жёсткое. Просто старое и испуганное. Испуганное так, как пугаются люди, которые привыкли не пугаться и которым поэтому страх даётся особенно тяжело.

— Верка — сказала она. — Верка, где деньги?..

Не громко. Почти тихо. Но в этом «где деньги» была такая растерянность, такая беспомощность — та самая, которую мама всю жизнь себе не позволяла, — что Вера почувствовала что-то знакомое и острое в груди.

— Какие деньги, мама?

— Мои. Мои деньги. Они были здесь, они всегда здесь, я их положила, я точно помню, что положила.

— Когда положила?

— Вчера. Или — Мама остановилась. Потёрла лоб. — Вчера вечером. Ты мне помогала переодеться. Они были здесь. Вера посмотрела на мать. Потом — на кровать, на тумбочку, на шкаф.

— Может, они упали? — сказала она. — Давай посмотрим

вместе.

— Я смотрела.

— Давай ещё раз.

Мама смотрела на неё.

И в этом взгляде была такая смесь — страх, недоверие, желание чтобы помогли, нежелание принимать помощь — такая смесь, что Вера на секунду почувствовала, что стоит перед очень маленьким ребёнком, который потерял что-то важное и не знает, плакать или злиться.

— Хорошо, — сказала мама наконец. — Посмотри.

Они смотрели долго.

Вера методично — под матрасом, за тумбочкой, в кармане халата, который висел на спинке стула, между страницами молитвослова в нижнем ящике. Мама стояла рядом и следила — не помогала, просто следила, с тем напряжённым вниманием человека, который передал поиск другому, но контролирует каждое движение.

— Там не смотри, — говорила она. — Там ничего нет.

— Я проверю.

— Я говорю — не смотри.

— Мама.

— Верка, там моё, не нужно.

Вера убирала руку, смотрела в другом месте. Снова смотрела, куда сказали не смотреть, когда мама отворачивалась.

Денег не было нигде.

— Может, ты их переложила? — спросила Вера. — Может, в другое место, не помнишь просто?

— Я помню, — сказала мама резко. — Я не склеротичная.

— Я не говорю «склеротичная». Я говорю — бывает, положишь и забудешь.

— Бывает у кого. Не у меня.

Вера промолчала.

Мама снова прошла по комнате — уже другим шагом, не таким быстрым, с усталостью в движениях, с той тяжестью, которая бывает после страха, когда страх немного отпускает и оказывается, что он забрал много сил.

Остановилась посреди комнаты.

— Верка, — сказала она — и голос был теперь совсем другой, тихий, почти старческий, тот, который Вера боялась больше громкого, потому что громкий был привычный, а этот — редкий, настоящий. — Верка ты не видела?..

Пауза.

— Случайно, — добавила мама. — Может, случайно взяла куда.

ПЕРВОЕ ОБВИНЕНИЕ

Вера смотрела на мать.

Понять это — сразу, в полную силу — было невозможно. Не потому, что обидно, хотя и обидно. А потому что в этом вопросе было что-то такое — что-то настолько обнажённое и настолько страшное одновременно — что ум отказывался принимать это с первого раза.

Случайно взяла.

Не «ты украла» — нет, до этого ещё далеко, мама была умная, мама умела выбирать слова с точностью, которая всегда оставляла ей пространство для манёвра. Просто — «случайно взяла куда». Вопрос без вопроса. Обвинение без обвинения.

— Нет, мама, — сказала Вера ровно. — Я не брала.

— Я не говорю «брала», — сказала мама быстро — чуть слишком быстро. — Я говорю — может, случайно. Со стола, например. Ты убирала.

— Я убирала посуду. Не деньги.

— Ну мало ли. Ты не подумай. Я просто спрашиваю.

Ты не подумай.

Вот это было самое точное. Самое выверенное — хотя Вера не была уверена, что мама выверяла это сознательно. Мо-

жет, просто так вышло. Может, за семьдесят пять лет человек учится говорить вещи правильно, не думая уже о правильности — оно само, как дыхание.

Ты не подумай — означало: я уже подумала.

— Мама, — сказала Вера, — я не брала твоих денег.

— Хорошо.

— Ты мне веришь?

Мама посмотрела на неё.

Долго.

С тем взглядом, который Вера знала плохо — не потому, что видела редко, а потому что под ним всегда хотелось отступить, найти другую комнату, другое занятие, любой предлог уйти из этого взгляда. В нём было — проверка. Не злая, не намеренно унижительная. Просто проверка — как проверяют счётчик, как проверяют замок: не потому, что не доверяют именно этому счётчику, а потому что вообще не доверяют.

— Верю, — сказала мама.

Но сказала это чуть позже, чем нужно было, если бы верила без сомнений.

И добавила:

— Надо переодеться. Помогите.

ПЕРЕОДЕВАНИЕ

Это была обычная процедура.

Вера помогала маме переодеться — не каждый день, но часто, когда у той болела спина или плохо слушались руки, — и обе давно привыкли к этому, обе давно не разговаривали, потому что говорить было не о чем, потому что это была работа, а работу делают молча.

Сегодня молчание было другим.

Наполненным.

Вера подошла — встала сзади, начала расстёгивать пуговицы на ночной рубашке. Пуговицы были мелкие, старые, несколько заменены на другие — не такие, как оригинальные, чуть крупнее, разных оттенков белого. Вера расстёгивала аккуратно, не торопясь.

Мама стояла прямо.

Даже сейчас — прямо, с поднятой головой, с той осанкой, которая у неё оставалась вопреки всему, вопреки возрасту и болям и утренней растерянности, — стояла как стоят люди, которые помнят, что такое достоинство, даже когда не остаётся почти ничего, за чем это достоинство можно сохранить.

Вера сняла рубашку.

И увидела.

Нет — почувствовала сначала. Ещё до того, как увидела: под пальцами — что-то, когда она убирала рубашку с плеч — что-то тёплое, плотное, не то. Опустила взгляд.

Лифчик был старый — растянутый, с потемневшей от времени тканью, давно потерявший форму и цвет. Под левой чашечкой — что-то. Вера видела контур — несколько сложенных бумажек, прижатых к телу, тёплых от тепла этого тела.

Деньги.

Она не сказала ничего.

Просто увидела — и поняла, и промолчала, и взялась за застёжку лифчика сзади. Застёжка была тугая, старая, крючки погнулись — она расстёгивала осторожно, чтобы не потянуть.

— Подожди, — сказала мама.

Вера остановилась.

Мама медленно — очень медленно, как делают что-то, что не хотят делать при свидетелях, но иначе нельзя — достала деньги из-под чашечки. Несколько купюр, сложенных вчетверо. Перехвачены аптечной резинкой.

Положила на тумбочку.

— Вот, слава Богу — сказала она — ровно, без объяснений.

Вера в каком-то оцепенении глядела на эти несчастные купюры. Они все как-то безобразно потемнели, ссохлись и хранили на себе следы той особенной, плотской смятости,

которая бывает лишь у вещей, которые долго носили при себе, под одеждой, в постоянном соприкосновении с живым, потеющим телом. Бумага точно задохнулась в этой близости; краска по краям скверно поблёлкла и начала понемногу, едва приметно подгнивать, разлагаясь от многолетнего старческого тепла. Это была уже не просто грязь — это сам тлен въелся в них, подтачивая волокна. Один угол у верхней банкноты как-то зловеще завернулся вверх — засохший, заскорузлый, точно окаменевший в своём уродстве.

Вера взялась снова за застёжку.

Расстегнула.

Сняла лифчик — осторожно, потому что у мамы были больные плечи, надо было сначала одну лямку, потом другую — и почувствовала под руками: тепло. Не просто тепло тела — что-то более плотное, более долгое, то, что накапливается, когда вещь носят не снимая.

Под грудью была красная полоса — след от резинки лифчика, глубокий, воспалённый, с раздражённой кожей по краю. Мама не сказала ничего. Вера не сказала ничего.

Принесла из шкафа чистую нижнюю рубашку.

Помогла надеть — сначала правую руку, потом левую, потом через голову, осторожно — и потянула вниз, расправила.

— Мазь нанести? — спросила она.

— Потом, — сказала мама.

— Там раздражение.

— Потом, говорю. Позже.

Вера отошла на шаг.

Смотрела на тумбочку. На деньги, лежавшие на краю — мятые, тёмные по краям, тёплые ещё от тела.

Она думала — не словами, тем способом, который глубже слов — о том, что эти купюры пропитаны матерью. Буквально — тепло, запах, влага. Они больше не были деньгами в том смысле, в котором деньги бывают деньгами — вещью отдельной, обменной, холодной. Они были — частью. Как кожа. Как волосы. Что-то настолько слившееся с человеком, что граница между вещью и телом стёрлась.

Вот её жизнь, думала Вера.

Вот что осталось от семидесяти пяти лет — от школы, от доски, от прямой спины и медали «Ветеран труда» в коробочке, которую она получила работая на заводе начальником ОТК. Осталось вот это: мятые купюры под грудью, раздражённая кожа, старый лифчик с погнутой застёжкой.

Страх.

Превратившийся в предмет.

Который носят при себе, как носят ладанку.

ИСПОВЕДЬ АННЫ

Мама сидела на краю кровати.

Она не торопилась встать — просто сидела, руки на ко-

лениях, смотрела куда-то перед собой. Вера принесла дневное платье — тёмно-серое, с пуговицами, то, которое мама надела дома в нормальные дни, — положила рядом.

— Подожди, — сказала мама.

Вера подождала.

За окном было серо. Яблоня стояла мокрая, с каплями на ветках — ночью был дождь, Вера слышала его сквозь сон.

— Банкам верить нельзя, — сказала мама.

Не к Вере — просто вслух. Как говорят вещи, которые давно знаешь и которые иногда нужно произнести просто чтобы они оставались правдой.

— Я знаю, мама.

— Нет, ты не знаешь. Ты молодая ещё. — Пауза. — Я в сберкассу всю жизнь несла. Всю жизнь откладывала. Ты помнишь, как в девяносто первом?

— Помню.

— Всё. Одним днём. Ничего не осталось. Пришла — а там бумажка. — Мама помолчала. — Просто бумажка на двери.

Вера смотрела на неё.

— После этого я решила, — продолжала мама ровно, без жалобы, как рассказывают о решении, которое давно принято и пересмотру не подлежит. — Никому не отдавать. Ни банку, ни государству, никому. Только при себе. Только так надёжно.

— Это неудобно, мама.

— Зато моё.

Пауза.

— Государство заберёт, — сказала мама. — Ты откладываешь копейка к копейке, на всём экономишь, а оно всегда забирает. Сначала говорит — ваше, ваше, не беспокойтесь, — а потом приходит и забирает. Я это видела. Не один раз.

— Сейчас другое время.

— Время всегда другое, — сказала мама — спокойно, с той уверенностью, которая бывает у людей, переживших достаточно, чтобы не верить в «другое время». — А люди те же. И государство то же. Буква другая, суть одна.

Вера не стала спорить.

— Без денег человек никто, — сказала мама. Помолчала. — Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Нет. — Мама посмотрела на неё — прямо, с тем своим взглядом, который видел больше, чем Вера хотела показывать. — Ты не понимаешь. Ты никогда ни в чём не нуждалась. Я не давала нуждаться, я всегда из кожи лезла, чтобы вы с Серёжей ни в чём не нуждались. Поэтому не понимаешь.

Вера хотела ответить — что-то точное, что давно лежало

в ней и просилось наружу. Что-то про то, что не нуждалась — потому что работала, потому что сама, потому что всю жизнь здесь, рядом, не разлеталась, не строила своего.

Не сказала.

— Одевайся, мама, — проговорила она глухо, как-то совсем отрешённо, вместо всего того, что должно было теперь вырваться наружу.

— Погоди... отвернись, не подглядывай ты! — судорожно, точно испугавшись чего-то, замахала на неё руками старуха.

Вера покорно отошла к окну и принялась смотреть на запущенный, одичавший сад, который так мучительно, так очевидно требовал теперь живых человеческих рук.

А мать всё глядела и глядела на ту грязную пачку купюр, что лежала перед ней на тумбочке. Потом протянула к ним свои костлявые пальцы — медленно так, робко, обеими руками схватила их и принялась судорожно разворачивать эту въевшуюся в бумагу резинку. И начала пересчитывать. О, как неспешно, с какою мучительною, упрямою тщательностью перебирала она каждую банкноту отдельно, без малейшей суеты, но с тем особенным, притаившимся иступлением, с каким всегда пересчитывают то, в чём решительно не уверены, в чём боятся обсчитаться хотя бы на грош.

Вера неподвижно стояла спиной к ней, уставившись мёртвым взглядом в оконное стекло.

В этом затянувшемся, шуршащем пересчёте было что-то такое душное, зловещее, от чего Вере вдруг стало невыносимо, до боли трудно дышать — и ведь не от брезгливости какой-нибудь, вовсе не от отвращения, нет! От одного только страшного, внезапного понимания. Она вдруг ясно увидела, что это вовсе был не жест грязного скупца и не бред подзирительного параноика.

То был судорожный жест существа, цепляющегося за самое последнее — за то единственное, что ещё хоть сколько-нибудь поддавалось его угасающему контролю. Ведь пока в этих мёртвых пальцах зажата бумага — есть ещё хоть какая-то призрачная власть. А пока есть эта власть — есть и сама жизнь. И пока длится эта жизнь — существует и она сама, в этом безумном мире.

— Все на месте, — сказала мама наконец.

— Хорошо.

— Столько и было.

— Хорошо, мама.

Мама сложила купюры. Перетянула резинкой. Положила на тумбочку — не убрала под подушку, не спрятала, просто положила, и это тоже было что-то новое, что-то, что измени-

лось сегодня утром.

— Одевайся, — сказала Вера снова.

На этот раз мама не сказала «подожди».

ЛАСКА

Вера помогала с пуговицами.

Дневное платье застёгивалось спереди — это было удобнее, чем ночная рубашка, — и всё равно мамины пальцы не справлялись с верхними двумя. Артрит. Давний, привычный, который мама не жаловала разговорами, просто — не справлялась, и это было фактом, как кран, который капает.

Вера застёгивала.

Мама стояла близко — она всегда стояла близко, когда помогали, ближе, чем было нужно, — и от неё пахло лекарством и чем-то ещё, тем глубоким, неустранимым запахом, который Вера знала с детства и который был запахом мамы раньше, а теперь стал запахом старости.

Она застегнула последнюю пуговицу.

Хотела отойти — сделала шаг назад.

Но мама подняла руку.

Медленно, с усилием — правая рука слушалась лучше,

левая хуже, она всегда использовала правую для того, что требовало точности — и положила ладонь на голову Вере.

Просто положила.

Вера замерла.

Ладонь была лёгкая — почти невесомая, сухая, тёплая. Она лежала на голове у Веры — неподвижно, без движения, просто лежала — и в этом лежании было что-то такое, что Вера не могла назвать и что поэтому было в несколько раз сильнее того, что можно назвать.

Мама погладила.

Один раз — медленно, от макушки к затылку. Как гладят спящего, которого не хотят разбудить. Или как гладят что-то, с чем боятся расстаться и не говорят об этом, и не скажут.

— Только ты у меня и осталась, — сказала мама.

Тихо. Не жалуясь. Просто — констатация. Как констатируют погоду, как констатируют возраст — вещи, которые есть и которые не изменить.

Вера не двигалась.

Она стояла и чувствовала эту руку на голове — лёгкую, старую, с суставами, которые видны под кожей, — и внутри неё что-то делало то, что происходит с вещами под очень долгим давлением: медленно, без звука, деформировалось.

Не ломалось — нет. Деформировалось.

Потому что в этой руке было — всё. Вся история. Все пуговицы, которые она застёгивала, и все обеды, которые готовила, и все ночи, когда лежала и слушала кашель за стеной и не спала. И при этом — эта рука. Это «только ты». Это тёплое, живое, настоящее, что не отменяется ничем из того, что было до него.

Это была не манипуляция.

Или была — но не сознательная. Мама не рассчитывала. Мама просто — чувствовала, и рука двигалась за чувством, и слова шли за рукой, и всё это было правдой в тот момент — такой же правдой, как раздражённая кожа под лифчиком и двести сорок рублей, пересчитанные на краю кровати.

Всё это было — она.

Вся, целиком — с жёсткостью и с лаской, со страхом и с контролем, с любовью, которая не умеет быть лёгкой, потому что давно разучилась, потому что в пятьдесят лет назад, на автобусной остановке, решила стать бронёй — и стала, и теперь даже нежность выходила через броню, тяжёлой, требовательной, удушающей нежностью.

— Мама, — сказала Вера.

— Что.

— Ничего.

Мама убрала руку.

Вернулась к краю кровати, села — медленно, с усилием.
— Принеси чаю, — сказала она. Уже обычным голосом.

Уже тем.

— Принесу.

Вера вышла из комнаты.

ВЕРА ОДНА НА КУХНЕ

Она поставила чайник и не стала ждать, пока закипит.

Просто стояла у плиты — с руками вдоль тела, спиной к окну — и смотрела в стену. В стене была трещина — тонкая, от угла наискосок, старая, они с Серёжей давно собирались замазать, не замазали. Трещина шла уверенно, знала куда, не сворачивала.

На столе лежала мокрая тряпка.

Она убирала ею утром — вытирала стол, потом забыла убрать. Теперь лежала, немного скомканная, с тёмным влажным пятном под собой.

Рядом — чашка с остывшим чаем. Её чашка, та, что она пила утром и не допила.

И чуть в стороне — купюры.

Она не понимала, как они оказались на столе. Наверное,

взяла с тумбочки машинально, когда несла платье. Или мама положила. Она не помнила. Просто они лежали здесь — три мятые купюры, без резинки, развёрнутые, — и Вера смотрела на них.

Они были тёплые ещё.

Она знала это, не трогая.

Она сидела за столом — когда она села, она тоже не заметила, просто оказалась сидящей — и смотрела на эти купюры, и на мокрую тряпку, и на остывший чай.

Не плакала.

Плакать было бы легче — слёзы требуют чувства, острого и конкретного, а то, что было сегодня, с ней, было не острым и не конкретным. Это было тупым. Ровным. Тем особым опустошением, которое приходит не от одного события, а от долгого накопления многих маленьких — так накапливается усталость металла, который гнут долго и понемногу, и он держится, держится, держится — и в какой-то момент уже не ломается, а просто — другой.

За стеной было тихо.

Серёжа ещё спал — или не спал, просто лежал, как он лежал иногда по утрам после выпитого, не двигаясь, глядя в потолок. Мама, наверное, тоже будет лежать — с чаем, который Вера сейчас принесёт, с купюрами под подушкой, с

раздражённой кожей под грудью.

Чайник начинал шуметь — ещё не кипел, просто начинал, тот первый нарастающий гул, который предшествует кипению.

Вера смотрела на стол.

И думала — медленно, почти против воли, как думают о вещи, о которой не хочется думать, но которая уже пришла и села, и никуда не уйдут пока не будут подумана до конца.

Её жизнь.

Где она?

Не в смысле претензии — не «где моя жизнь, отдайте». Просто — где. Как спрашивают о конкретной вещи, которую помнят, что клали куда-то, и не могут найти. Была же — была жизнь. Что-то своё. Что-то, что не является чьей-то тарелкой или чьей-то застёжкой или чьей-то мокрой тряпкой на краю чужого стола.

Было — и куда делось.

Когда?

Она не могла назвать момент. Это не случилось в один день — это происходило долго, постепенно, как происходит всё, что по-настоящему необратимо: незаметно, понемногу, пока в один день не оглядываешься и не видишь то место,

где раньше была ты, теперь занято чем-то другим. Чужим расписанием, чужими лекарствами, чужим страхом, пропитавшим купюры до темноты по краям.

Чайник закипал.

Вера не вставала.

Посмотрела на купюры.

И впервые — тихо, почти шёпотом внутри, так тихо, что она сама едва слышала — мелькнуло:

А если всё это закончится? Что тогда?

Не — что тогда. Не — как. Просто — а если.

Просто это слово. Этот вопрос без ответа, без конкретики, без формы — просто тонкая, как та трещина в стене, линия: а если закончится.

Она не додумала.

Не потому, что испугалась — или испугалась, но по-другому, не того испугалась, чего обычно пугаются от таких мыслей. А потому что чайник засвистел, и надо было встать, и мама ждала чаю, и жизнь — та, которая здесь, рядом, конкретная и неотменяемая — требовала продолжения.

Вера поднялась с места.

Машинально, единственно с тем, чтобы прибраться на кухне, она протянула руку к столу, намереваясь взять эти нежиз-

данно явившиеся купюры, — и вдруг вся так и отпрянула, точно её змея ужалила. Бумага была тёплой. Ещё тёплой, живой от чужого плотского тепла!

Она остановилась. На столе лежали деньги.

Ведь она сама, своими собственными руками, всего каких-нибудь полчаса назад дочиста, до блеска вытирала этот самый кухонный стол! Она помнила это с кристальной, неотразимой отчётливостью: стол был абсолютно пуст, решительно ничего на нём не лежало!

Откуда же, из каких таких невидимых бездн за эти тридцать минут здесь могли взяться несколько маминых банкнот? Значит, кто-то кто-то невидимый положил их сюда только что, в ту самую минуту, пока она была у матери? Может Серёжа стащил их у матери на выпивку, но по их состоянию их в магазине не приняли, и он решил отдать, что, впрочем, это на него не похоже.

Сердце её заколотилось с удушающей силой. Пытаясь заглушить накатывающий бред, подчиняясь лишь старой, выученной до автоматизма привычке, она судорожно схватила чайник. Налила чай в мамину любимую чашку — ту самую, с истёртой золотой каёмкой, которую мать так ценила. Вода была не слишком горячей, как мама всегда и требовала, — Вера помнила это наизусть. Бросила ровно одну ложечку са-

хара, ни капель больше. С трудом удерживая дрожащий поднос, на котором сиротливо лежали чашка и эти пугающие, необъяснимые деньги, она медленно, точно на казнь, пошла к маминой комнате.

Вера дрожащими руками поставила поднос рядом с матерью, когда та увидела - воскликнула

— Это мои — прохрипела она вдруг, и голос её сорвался на зловеший, свистящий шёпот. — Верка! Да ведь это же они те самые! Ну, помнишь ли ты, помнишь?! Похороненные мои деньги, что тогда, перед самым моим семидесяти пятилетием, как сквозь землю провалились! Я ведь тогда всё на Серёжку думала, всю душу из несчастного вытрясла, проклинала его, почём зря, вором клеймила, а они вот они Живые!

Старуха яростно, со слезами вцепилась в эти несколько помятых купюр обеими руками, прижимая их к своей иссохшей груди, но вдруг лицо её снова изменилось, исказилось какой-то новой, пугающей догадкой. Она злобно, с подозрением зыркнула на притихшую дочь.

— Нет, не Серёжка это — выплюнула она яростно, точно осенённая внезапным воспоминанием. — Сашка это взял! Сашка, подлец, утащил тогда, чтобы попугать меня, старую, помучить меня перед юбилеем решил, извести! Не Серёжка

то был, а он!

У Веры внутри всё похолодело. Какое-то новое, ещё более жуткое предчувствие сдавило ей горло.

— Мама — проговорила она едва слышно, чужим, сорвавшимся голосом. — Какой Сашка? Кто такой Саша?..

Но этот кристальный просвет в сознании Анны Кирилловны закрылся так же внезапно, как и явился. Густой, удушливый туман деменции снова хлынул в её глаза, гася вспышку памяти. Лицо старухи мгновенно отяжелело, приняв прежнее, тупое и злобное выражение. Она брезгливо отпихнула от себя поднос с чаем, укрывая пачку денег под одеялом.

— Уйди! — прикрикнула она на Веру, отворачиваясь к стене. — Ступай отсюда, слышишь? Устала я, видеть никого не хочу. Ступай, ступай Когда надо будет — сама тебя позову.

Вера стояла неподвижно посреди полумрака комнаты, чувствуя, как в ушах звенит от невыносимой, душной тишины этого дома. Вопросов было слишком много, бездна разверзалась прямо у её ног, но она не стала переспрашивать. Смолчала. Повернулась и тихо, как тень, вышла вон.

ГЛАВА 4. ГРИГОРИЙ

СЛОМАННЫЙ КРАН

Кран сломался в четверг.

Не сломался — точнее, окончательно перестал закрываться: он и раньше капал, и раньше его крутили сильнее, чем нужно, и раньше говорили: надо починить, — но в четверг что-то в нём решило, что достаточно, и он начал течь по-настоящему, тонкой непрерывной струйкой, которая к вечеру превратилась в то, что уже нельзя было называть капанием.

Серёжа сказал: «Сделаю в выходные».

Выходные прошли.

Потом он сказал: «Завтра куплю прокладку».

Завтра тоже прошло.

Вера поставила под кран миску — алюминиевую, старую, с вмятиной на боку — и меняла её три раза в день, и выливали в унитаз, и ставила снова, и думала: завтра куплю сама, — но завтра было занято другим, и послезавтра тоже, и кран тёк, и миска наполнялась, и Серёжа каждый раз, проходя мимо, смотрел на неё с тем виноватым видом челове-

ка, который помнит о долге и именно поэтому старается не смотреть в его сторону.

Мама говорила каждое утро.

— Верка. Кран.

— Я знаю, мама.

— Знаешь — а что?

— Серёжа починит.

— Серёжа. — И это слово в её исполнении содержало всю необходимую оценку.

В пятницу пришёл Григорий.

Он позвонил в калитку — один раз, как всегда — и Вера открыла, и он вошёл во двор с небольшой сумкой в руке. Не инструментальный ящик — просто матерчатая сумка, из которой торчал гаечный ключ. Он ничего не объяснял заранее — просто в прошлый раз, уходя, спросил мимоходом: «Что там с краном?» — и она сказала: «Течёт», — и он кивнул, и вот он пришёл.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте.

Снял куртку — сам, не ожидая, — повесил на крюк.

Он уже знал, куда вешать.

Прошёл на кухню.

Вера шла за ним и думала: надо было убрать миску. Не успела. Он увидел миску под краном, увидел лужицу вокруг неё — кран тёк, немного, но постоянно — и ничего не сказал. Просто поставил сумку на табурет, достал отвёртку.

— Перекрой воду, — сказал он. — Вентиль под мойкой.

— Знаю, где.

Она нагнулась, повернула вентиль. Вода в трубах булькнула и замолчала.

Григорий подошёл к крану — встал прямо, без суеты — и взялся за него обеими руками. Не торопясь, осмотрел сначала. Потом достал разводной ключ, снял декоративную гайку — ту, которая скрывает сердечник. Гайка легла на край раковины.

Несколько усилий, и механизм крана поддался. Потом потянул вверх — весь механизм вышел из корпуса крана целиком, как вытаскивают пробку: шток, шайба, всё вместе.

— Вот она, — сказал он.

Вера посмотрела.

На конце сердечника — маленькая резиновая прокладка. Плоская, чёрная, с трещиной поперёк — старая и поистертая резина, уже не держащая ничего. Именно от неё — капли. Именно она — причина.

— У меня есть, — сказал он.

Достал из сумки маленький пакет — несколько прокладок разного размера, нашёл нужную. Снял старую — она держалась на маленьком болтике, он открутил его тем же движением, быстрым и точным, — поставил новую, закрутил болтик обратно.

Всё это заняло меньше пяти минут.

Потом вставил сердечник обратно в корпус. Закрутил болт. Надел колпачок.

— Открой воду.

Вера открыла вентиль под мойкой. Вода зашумела в трубах. Григорий повернул кран — закрылся плотно, с сопротивлением, как закрывается исправная вещь. Никакой капли.

— Готово, — сказал он.

Посмотрел на кран — просто проверил, без демонстрации — и взял тряпку с края мойки, вытер руки. Убрал инструменты. Поставил миску в раковину — просто поставил, не спрашивая, как та стояла.

— Прокладка изнасилась, — повторил он. — Это не ломается сразу. Годами идёт.

— Я знаю.

— Знаешь, — согласился он. — Но не меняла.

Она не ответила.

Из комнаты донёсся мамин голос:

— Кто там пришёл?

— Григорий Иванович, мама, — отозвалась Вера.

Пауза.

— Ну пусть заходит, — сказала мама другим голосом.

Чуть — живее.

АННА ПРИНИМАЕТ ГРИШУ

Мама сидела в кресле — прямая, в дневном платье, с убранными волосами. Она всегда успевала принять вид, когда приходили люди. Это было одно из её умений — слышать заранее, собираться заранее, и к тому моменту, как дверь открывалась, уже быть готовой.

Григорий перешёл в зал.

Поздоровался — коротко, без лишнего — и сел на стул у окна, не на диван. Вера заметила это: он часто выбирал стул, никогда диван. Диван был мягкий, глубокий, засасывающий — стул держал прямо.

— Кран починили? — спросила мама.

— Починил.

— Серёжа обещал три недели.

— Прокладка простая, — сказал Григорий. — Дело пяти минут.

— Всё дело пяти минут, пока не сделаешь, — сказала мама.

Он кивнул — согласился, без спора, без поддакивания. Просто принял как факт.

Мама смотрела на него.

Вера знала этот взгляд — проверяющий, взвешивающий, тот, которым мама смотрела на всех, кто входил в её пространство. Но сейчас в нём было что-то другое — и мягкое, но спокойное. Как будто результат взвешивания был известен заранее и смотреть можно было уже без напряжения.

— Ноги у меня, — сказала мама вдруг.

Вера чуть не остановилась с чайником в руке — мама никогда не говорила про ноги чужим людям. Это было её правило: на здоровье не жаловаться, слабость не показывать.

— Что с ногами? — спросил Григорий.

— Ночью жжёт. Как огнём. Я просыпаюсь — и не знаю, куда деться. Хожу по комнате. — Пауза. — Верка не слышит, она крепко спит.

Вера поставила чайник на плиту, чтобы не смотреть на маму.

— Это сосуды, скорее всего, — сказал Григорий. — У вас кардиолог что говорит?

— Говорит — возраст. — Мама произнесла это с тем особым раздражением, с которым произносят слова, которые считают отговоркой. — Всё у них возраст. Кашель — возраст, давление — возраст, ноги — возраст. Я говорю: вы лечить собираетесь или только констатировать?

— Резонно, — сказал Григорий.

— Вот именно.

— Там есть препараты для периферического кровообращения, — сказал он. — Можно попросить назначить. Я могу написать название, если хотите.

Мама посмотрела на него.

— Вы разбираетесь?

— Немного. Был военным медиком одно время. Потом другим занимался — но кое-что помню.

— Военным медиком, — повторила мама — с тем тоном, с которым принимают информацию, которая меняет вес человека в системе.

— Записать?

— Напишите, — сказала мама.

Григорий достал из кармана небольшой блокнот — потрёпанный, с твёрдой обложкой — написал что-то и вырвал листок. Протянул.

Мама взяла — аккуратно, как берут важный документ — посмотрела.

— Это не дорогое?

— Среднее. Есть аналоги дешевле, я могу написать.

— Напишите аналог тоже.

Он написал ещё один листок. Протянул.

Мама взяла оба, сложила аккуратно, положила на край серванта рядом.

Вера принесла чай — три чашки, с блюдами, не праздничный сервиз, обычные — поставила на стол. Мама взяла свою, отпила. Посмотрела на Гришу.

— Вы один живёте? — спросила она.

— Один.

— Дети далеко?

— В Екатеринбурге. Сын. Редко звонит.

— Да, — сказала мама — с тем особым пониманием человека, которому знакома именно эта разновидность одиночества. — Они все так. Живут своим, о родителях, в лучшем случае вспоминают иногда, и в основном, когда им надо.

— А я считаю, — сказал Григорий. — Дети должны жить своим, я поэтому и живу подальше от них.

Мама посмотрела на него — немного удивлённо.

— Вы так думаете?

— Думаю. Дети должны уходить. Это порядок вещей.

— Порядок, — повторила мама. И в её голосе было что-то — не согласие и не возражение, что-то более сложное, что-то, что живёт на границе между тем, что понимаешь умом, и тем, что чувствуешь телом, и они не совпадают.

— Вы поймите, Анна Кирилловна, — негромко, со свойственной ему мирной убеждённойостью говорил он, глядя на

свои переплетённые пальцы. — Ведь в том и высшая любовь родительская, чтобы отпустить. Человек рождается для своей собственной, данной ему доли. Как птица свивает гнездо и летит дальше, так и дитя.

Я понимаю понимают, что власть родителей — временная, пока крылья не окрепли. Оставить ребёнка при себе, привязать его к своей старости — не значит ли это лишить его собственной судьбы? Ребёнку обязательно нужно уехать, нужно дышать своим воздухом, ошибаться, жить

Анна Кирилловна слушала его внимательно, не перебивая. В её взгляде, устремлённом на Григория, не было злости или раздражения — напротив, в нём светилась та глубокая, тёплая симпатия к этому человеку, которую она так тщательно скрывала от чужих глаз. Ей дорог был этот человек, дорога была его чистая, хоть и наивная, как ей казалось, душа. Она грустно улыбнулась и покачала головой.

— Григорий Иванович, голубчик вы мой — выдохнула она, и в голосе её послышалась мягкая, но несокрушимая сила. — Как складно вы говорите, как по-книжному. Вы о свободе детей печётесь, а я — о душах их. Ведь, например, Вера мне нужна не ради услуг моих старческих не для того, чтобы стакан воды подать.

Она на мгновение замолчала, подбирая слова, и придвинула свой стул чуть ближе к нему.

— Поймите, Григорий Степаныч, — продолжила она тише, и глаза её заблестели. — Семья — это ведь не просто союз для удобства, как нынче принято говорить.

Это единый живой организм. Если Вера сейчас уедет, если отрежет себя от корня ради этой вашей «своей жизни», она ведь самую важную часть себя потеряет. Почитание матери, долг этот — он же не для меня, он для неё самой спасителен. Наши предки не глупее нас были, когда говорили, что сыновняя почтительность — это корень всей человечности. Из этого благочестия, из готовности послужить родному человеку в немощи его, и рождается настоящая, зрелая душа.

Григорий хотел что-то возразить, но она мягко коснулась ладонью его рукава. Этот мимолётный жест был полон такой нежности, что он затих.

— Не лишайте детей этого долга, Григорий Иванович, — почти умоляюще произнесла Анна Кирилловна. — Ухаживать за старой матерью — это её крест, её очищение и её истинно великое право. Одинокая свобода, о которой вы мечтаете, делает детей пустоцветом. Только разделяя чужую немощь, мы остаёмся людьми, и не превращаемся в монстров. Надо позволять детям остаться. Не ради стариков — ради самих детей.

Григорий опустил глаза, изображая на лице глубокую, сочувственную думу. Но внутри него, за этим кротким и благообразным фасадом, не было ни капли той жалости, которую он так искусно разыгрывал. Внутри шевельнулось нечто холодное, расчётливое и мерзкое.

«Какая глупая, упрямая старуха, — с ледяным презрением подумал он, и в этой мысли мелькнула тень настоящего монстра. — Жертвенность, крест, очищение Какими красивыми словами она прикрывает свой трусливый, вампирский эгоизм. Она хочет сожрать жизнь Веры, выпить её до капли, чтобы продлить своё жалкое существование. Но мы ещё посмотрим. Не потому, что мне жаль девчонку. О нет. Вера нужна мне самому. Она — мой пластилин, чистый, ещё не помятый жизнью лист. Если это будет продолжаться долго, эта старуха превратит дочь в такую же сухую, покорную... Вера должна понять, что не может без меня, стать моей, полностью подчиниться моей воле, моему уму. Надо решать эту проблему, разрушу их нелепый живой организм, и тогда дом буден принадлежать мне.

А ты, старая, отработанный материал».

Он поднял на Анну Кирилловну взгляд, и в его глазах снова светилась лишь тихая, безмятежная грусть. Лицо его оставалось лицом праведника, и ни один мускул не выдал того чудовища, что только что праздновало победу в его мыслях.

Он лишь слегка, понимающе кивнул, словно соглашаясь с её материнской мудростью, а сам мысленно уже выносил старухе смертный приговор.

Помолчали.

За окном было серо — мартовский вечер, рано темнеющий.

— Оставайтесь на ужин, — сказала мама.

Не спросила — сказала.

Григорий посмотрел на Веру.

— Я сделаю что-нибудь быстро, — сказала она.

— Тогда остаюсь, — сказал Григорий.

ВЕРА И ГРИГОРИЙ НА КУХНЕ

Мама уснула в половине десятого.

Это было рано для неё — обычно она засыпала позже, держалась, будто сон был капитуляцией, которую она откладывала до последнего. Но сегодня что-то её отпустило, и в половине десятого Вера услышала из комнаты тишину другого рода — ту, в которой нет готовности позвать, — и поняла: спит.

Серёжа к этому времени ушёл к себе: денег не было.

Они поужинали вчетвером — картошка, котлеты, хлеб — и Серёжа был тихим весь вечер, больше молчал, чем говорил, что было для него необычно, — и в какой-то момент просто встал, сказал «спокойной ночи» и ушёл играть в очередную скаченную игру.

На кухне остались Вера и Григорий.

Она мыла посуду. Он сидел за столом с чашкой чая — не предложил помочь, не мешал, просто сидел — и это молчание было и ни неловким, и не давящим. Просто тихим. Как тишина бывает тихой, когда в комнате человек, с которым молчать можно.

Вера домыла тарелки.

Вытерла руки. Налила себе чаю. Села напротив.

Они молчали ещё минуту.

— Как она сегодня? — спросил Григорий.

— Нормально. Для неё нормально.

— Пила таблетки?

— Утром.

— Хорошо.

Пауза.

Вера держала чашку двумя руками — грела ладони, хотя на кухне было тепло. Просто — держала, потому что нужно

было что-то держать.

— Вы часто заходите — сказала она.

— Стараюсь раз в неделю заехать. Если нужно — чаще, как сегодня.

— Зачем вам это?

Он посмотрел на неё.

Не удивлённо — просто посмотрел, как смотрят, когда вопрос требует настоящего ответа, а не первого попавшегося.

— Мне не сложно, — сказал он.

— Это не ответ.

— Нет, — согласился он. — Не ответ. — Помолчал. — Я один, Вера, — тихо, но отчётливо заговорил он, и каждое слово падало, как тяжёлая капля. — У меня есть время. Огромное, пустое, страшное время, понимаете ли вы это? Человеку ведь абсолютно необходимо куда-то это время деть. Человек — существо социальное, как любят повторять господа учёные, ему нежно, до судорог нежно общение! Но какое общение? Не этот пустой светский трёп, нет! Человеку нужен другой человек, как пища, как материал для его собственной души. Чтобы заполнить свою пустоту, нужно отразиться в ком-то, нужно пересоздать кого-то по своему образу. Ваша мать и вы мне очень нравитесь.

— А почему мы? — спросила Вера.

— Сюда — не хуже, чем куда-то ещё.

Она смотрела на него.

В этом была честность — грубоватая, без украшений, та, которую она почти разучилась ожидать от людей в разговорах о простых вещах. Не «я хочу помочь», не «ваша мама прекрасный человек» — просто: мне не сложно, у меня есть время, нужно общение, сюда не хуже

— Она вам нравится? — спросила Вера. — Мама.

— Она интересный человек, — сказал он.

— Интересный.

— Не все такие в её возрасте. Большинство уже — — он сделал неопределённый жест рукой, — погасли. А она ещё держится. Это что-то значит.

Вера ничего не сказала.

Смотрела в чашку.

Держится. Да. Держится — и держит. Держит крепко, обеими руками, как держат то, что уже уходит и которое пытаются удержать ценой всего, что есть рядом.

— Вы давно здесь? — спросил Григорий.

— Где — здесь?

— В этом доме. С ней.

— Всегда, — сказала Вера.

— Никогда не уезжали?

— Уезжала. Потом вернулась.

— Почему?

Она подняла взгляд.

Вопрос был прямой — не бестактный, не любопытный, просто прямой, как бывают прямыми вопросы у людей, которые привыкли говорить о том, что есть, а не о том, что принято говорить.

— Мама болела, — сказала она. — Я приехала на месяц. Осталась.

— Сколько лет назад?

— Восемь.

Он кивнул.

Молчал.

И в этом молчании не было ни осуждения, ни жалости — просто принятие факта. Восемь лет. Факт. Дальше.

— Я иногда боюсь домой заходить, — сказала Вера.

Она не планировала этого говорить. Слова вышли сами — тихо, без предисловия, как выходит то, что долго держишь и что в какой-то момент выходит само, потому что держать больше нет сил, а не потому, что решил сказать.

Григорий смотрел на неё. Не перебивал.

— Стою у двери иногда, — продолжала она — всё тем же ровным тихим голосом, который сам себя удивлял своей

ровностью. — Ключ в руке. И просто стою. Думаю: сейчас зайду — и снова начнётся. Снова кран, снова лекарства, снова недовольства, постоянные недовольства, она зовёт каждый час ночью.

Пауза.

— Я уже не помню, когда нормально спала.

— Давно?

— Не помню. Вот именно — не помню. Это ведь странно, правда? Что я не помню?

— Нет, — сказал он. — Не странно.

— Мне кажется, — сказала Вера — и вот здесь голос чуть изменился, стал тише, как будто то, что она собиралась сказать, требовало меньшего объёма, — мне кажется, я здесь сгнию.

Слово повисло.

Она сама его испугалась — не того, что сказала чужому человеку, а того, что это было правдой. Что слово «сгнию» было точным, и она это знала, и то, что она это знала — было страшнее самого слова.

Григорий не сказал «что вы, что вы».

Не сказал «всё наладится».

Он посмотрел на неё — долго, спокойно, с тем взглядом,

который смотрит не поверх человека, а на него — и сказал:

— Так долго человек жить не должен.

Вера не сразу поняла.

— Что? — сказала она.

— В таких условиях. Так долго — не должен.

Она смотрела на него.

И думала — быстро, под поверхностью, пока лицо оставалось ровным — про что он. Про неё? Про то, что она не должна так долго жить в этом доме, в этом напряжении, без сна, без своего? Или про что-то другое — про кого-то другого, про другую длительность, про другой предел?

Она не спросила.

Не потому, что побоялась ответа.

А потому что, не зная точно, про кого именно, она могла считать, что он имел в виду её. И это было легче.

— Наверное, — сказала она.

Григорий допил чай. Поставил чашку.

— Поздно, — сказал он. — Пойду.

— Да.

Он встал. Вера тоже встала — проводить, как полагается. Они прошли в прихожую, он надел куртку — молча, без помощи — взял сумку.

— Спасибо за кран, — сказала она. — Сколько я вам должна?

— Ничего.

Открыл дверь. Остановился на пороге.

— Вера, — сказал он.

— Что.

— Вы сильная.

Она не нашла ответа.

Он ушёл. Дверь закрылась.

Вера стояла в прихожей и смотрела на закрытую дверь — и думала о том, что он сказал «сильная», и о том, что это прозвучало не как комплимент. А как диагноз.

ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ

Он рассказал не сразу.

Это вышло через несколько визитов — постепенно, обрывками, без системы, как рассказывают люди, которые не рассказывают, а отвечают на конкретные вопросы, и только из этих ответов, сложенных вместе, получается что-то похожее на историю.

Вера не расспрашивала.

Просто в какой-то момент он сидел на кухне, держал чаш-

ку, смотрел в окно — на двор, на яблоню, на серое небо — и она спросила, не думая:

— Вы долго служили?

— Двадцать два года.

— Где?

— По-разному. — Пауза. — Германия сначала. Потом — горячие точки. Ангола, потом Афган краем. Потом уже в девяностые — другое.

— Страшно было?

Он подумал.

Не над ответом — над тем, как ответить точно.

— Первое время — да, — сказал он. — Потом привыкаешь.

— Ко всему?

— К тому, что есть. — Он посмотрел на чашку. — Там быстро понимаешь: человек утром есть, вечером нет. И ты или с этим — или не работаешь. Другого не дано.

Вера смотрела на него.

— Это не делает вас холодным? — спросила она.

Он чуть повернул голову — посмотрел на неё с тем вниманием, которое у него появлялось, когда вопрос был точным.

— Нет, — сказал он. — Просто — другим. Вы привыкли думать, что смерть — это что-то исключительное. Что она выходит из ряда. А там она в ряду. Стоит рядом с едой, со

сном, со сменой позиции.

— И как потом — возвращаться?

— Нормально. — Пауза. — Просто некоторые вещи начинают выглядеть иначе.

— Какие?

Он помолчал.

— Стрдание, — сказал он наконец. — Когда видишь много страдания — начинаешь видеть его объём. Сколько оно занимает. Сколько стоит людям вокруг.

Вера не сразу поняла, что он имеет в виду.

Или поняла — но краем, не в полную силу, как понимают что-то на периферии зрения: видишь, но, если повернуть голову — исчезнет.

— У вас было ранение? — спросила она.

Он протянул левую руку — положил на стол, ладонью вниз. Шрам шёл от запястья наискосок, терялся под манжетой.

— Осколок, — сказал он. — Ангола, восемьдесят шестой. Комиссовали потом не из-за этого — другое. — Он убрал руку. — Это зажило давно.

— А то, другое?

Он посмотрел на неё.

— Тоже зажило, — сказал он ровно.

И в этой ровности было — Вера это почувствовала, не умом, чем-то более точным — не закрытость и не ложь. Просто правда, которую он уже перестал нести как тяжесть, которая давно стала частью рельефа, частью того, как он устроен.

Человек, которого жизнь согнула — и который не сломался, а выпрямился по-новому.

Она тогда думала именно это.

Потом — уже позже, уже после — она будет думать, что выпрямиться по-новому и согнуться в другую сторону — это иногда одно и то же.

Но тогда — тогда был март, и кухня, и горящая конфорка под чайником, и человек с тяжёлыми руками и старым шрамом, который рассказывал про смерть так, как рассказывают про погоду.

И это почему-то успокаивало.

СЕРЁЖА И ГРИГОРИЙ

Серёжа пришёл поздно.

Часов в одиннадцать — Вера услышала калитку, потом шаги по крыльцу, потом возню в прихожей, которая бывает, когда человек снимает куртку дольше, чем нужно.

Она вышла из кухни.

Серёжа стоял в прихожей — куртка уже снята, повешена криво, как всегда — и смотрел в сторону кухни, откуда шёл свет.

— Кто там? — спросил он.

— Григорий Иванович.

Серёжа помолчал секунду.

— А, — сказал он.

Прошёл на кухню. Григорий сидел за столом — как сидел, с чашкой, спокойно — и посмотрел на Серёжу без оценки, без особого выражения, просто посмотрел.

— Здорово, — сказал Серёжа.

— Здравствуй.

Серёжа прошёл к холодильнику. Открыл, посмотрел, закрыл. Постоял. Открыл снова, взял кефир. Закрыл.

— Мама спит?

— Спит, — сказала Вера.

— Хорошо.

Он сел за стол — не рядом с Гришей, через угол, поставил кефир, но не открывал. Просто держал руками. Вера видела: он не пьян — не сегодня, нет — просто взвинчен чем-то, чем-то своим, внутренним, что осталось с улицы и ещё не улеглось.

Григорий налил из чайника в пустую чашку. Поставил перед Серёжей.

Серёжа посмотрел на чашку.

Потом на Гришу.

— Спасибо, — сказал он — немного удивлённо, как говорят «спасибо» за что-то, чего не ожидали.

Они помолчали втроём.

— Работаешь? — спросил Григорий.

— Да. Ну, — Серёжа чуть качнул головой, — по-разному. Сейчас одно место есть, склад.

— Давно?

— Три месяца.

— Нормально.

— Да как сказать. — Серёжа взял чашку, обхватил ладонями. — Нормально для меня сейчас — это не уволили ещё.

Он засмеялся — негромко, немного криво.

Григорий не засмеялся. Не осудил — просто не засмеялся, и в этом ни смехе не было ничего обидного, просто была другая реакция на слова, которые Серёжа привык говорить как шутку и за которыми привык прятаться.

— Ты давно здесь? — спросил Серёжа.

— В каком смысле?

— В доме. С мамой. — Пауза. — Ты часто приходишь.

— Когда нужно.

— А что нужно?

Григорий посмотрел на него — прямо, ровно.

— Кран нужно было починить, — сказал он.

Серёжа опустил взгляд.

Не смутился — или смутился, но по-своему, внутри, там, где не видно. Просто опустил взгляд и взял чашку, и молчал секунду.

— Я собирался, — сказал он.

— Знаю, — сказал Григорий. Без осуждения. Просто — знаю.

И это «знаю» было хуже любого упрёка — потому что упрёк можно отклонить, можно возразить, можно рассердиться в ответ. А на спокойное «знаю» — нечего.

Оно просто есть. Стоит рядом как факт, который никуда не денется, сколько ни смотри в другую сторону.

Серёжа пил чай.

Григорий пил чай.

Вера стояла у плиты и смотрела на них двоих — на брата, который стал меньше, не в смысле роста, а в смысле того пространства, которое занимает человек в комнате, — и на Григория, который не стал больше, просто остался собой, и уже одним этим занимал столько места, сколько нужно.

— Он нормальный мужик, — сказал потом Серёжа Вере — уже после того, как Григорий ушёл, уже в прихожей, тихо, как говорят что-то, что не хочется говорить вслух, но что хочется сказать. — Только — не понимаю.

— Чего?

— Зачем ему это.

Вера не ответила.

Потому что не знала.

Или знала — но то, что она знала, было не тем, что нужно было говорить вслух.

ПЕРВОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЛО

В ту ночь мама звала четыре раза.

Первый — в половине первого. Вода. Вера встала, принесла воду, вернулась. Второй — в два. Плед — «холодно, ноги мёрзнут». Вера встала, принесла плед, укрыла, вернулась. Третий — в начале четвёртого. Просто «Верка» — без объяснений, просто чтобы знать, что кто-то есть.

Вера встала, вышла в коридор, сказала: «Я здесь, мама». Вернулась.

Четвёртый — в половине пятого.

Она лежала и слышала — «Верка» — и лежала ещё секунду, ещё одну, ещё — и потом встала, потому что иначе нельзя, потому что так устроено, потому что.

Вышла. Мама хотела переложить подушку. Вера переложила. Вернулась.

Легла.

Лежала с открытыми глазами.

В пять утра поняла: не заснёт. Встала, пошла на кухню — поставила чайник просто чтобы что-то поставить, потому что руки должны были что-то делать.

Григорий сидел за столом.

Она не удивилась — он иногда оставался, когда было

поздно и незачем ехать, ему постелили в маленькой комнате, где раньше была кладовая, — просто вошла на кухню и увидела его: сидит, держит чашку, смотрит в окно. За окном было темно — предрассветная темнота, плотная, без намерений.

Он посмотрел на неё.

Увидел лицо.

Ничего не спросил.

Она села на табурет. Не напротив — рядом, с краю, как садятся, когда нет сил выстраивать дистанцию.

— Четыре раза, — сказала она.

Не ему — просто вслух. Просто число, произнесённое в темноту.

— Каждую ночь?

— Не каждую. Через ночь. Две ночи через одну.

Григорий молчал.

Чайник начинал шуметь.

— Я больше не могу, — сказала Вера. — А надо собираться идти убирать офис, чтобы к её пробуждению уже убрать и вернуться.

Тихо. Без слёз — слёз не было, она давно уже замечала, что плачет всё реже, как будто что-то, из чего делают слёзы, расходуется и не восполняется. Просто — тихо, ровно, с той последней ровностью, которая бывает у людей на самом пре-

деле: не до срыва, не до крика, а просто — всё.

— Я больше не могу. Вот и всё.

Григорий поставил чашку.

Посмотрел на неё.

— Человек ко всему привыкает, — сказал он.

Тихо. Устало — не показной усталостью, а той настоящей, которая у людей, видевших достаточно и уже не удивляющихся ни тому, ни другому.

— Даже к аду, — добавил он.

Вера смотрела на него.

— Это должно утешить?

— Нет, — сказал он. — Это просто правда, с которой надо считаться.

Она думала — что ответить, есть ли что ответить — и не находила. Потому что это была правда. Обидная, холодная, без утешения — но правда. Человек привыкает. К четырём вызовам за ночь. К мокрой тряпке. К купюрам, тёплым от чужого тела. К тому, что жизнь — вот это, и другого пока нет.

Привыкает.

Это было страшно именно потому, что было правдой.

— Она не всегда так, — сказала Вера. — Раньше было лучше.

— Дальше будет хуже, — сказал Григорий.

Она посмотрела на него.

— Это прогрессирует, — сказал он — спокойно, как говорят о вещах, которые понимают по опыту, без злого умысла. — Я видел такое. Сначала ночные звонки. Потом — не будет узнавать. Потом — не будет вставать.

— Я знаю.

— Тогда ты понимаешь.

— Что я понимаю?

Он помолчал.

— Что у этого есть конец, — сказал он. — У всего есть конец.

Чайник закипел. Вера встала, выключила. Налила два стакана. Поставила один перед Гришей, один взяла себе.

Стояла и держала горячий стакан — обеими руками, как держат что-то, за что надо держаться.

— Когда это кончится, — сказала она — медленно, нащупывая слова, как нащупывают дорогу в темноте, — что тогда?

Григорий смотрел на неё.

Долго.

— Тогда начнётся другое, — сказал он.

Просто.

Буднично.

Как говорят о вещи, которая уже решена и ждёт только времени.

И Вера стояла с горячим стаканом в руках и думала о том, что он сказал «другое» — не «лучшее», не «хорошее» — просто другое. И почему-то это слово в его исполнении звучало как обещание.

Вера посмотрела на часы, поставила стакан и пошла собираться идти мыть офис. Григорий остался сидеть в полумраке., ему на работу идти позже.

ОСМОТР ДОМА

Все спали.

Мама — Вера слышала ровное дыхание за стеной, то самое, которое она научилась отличать от не-сна. Серёжа — за его дверью тишина плотная, без движения. Вера легла в половине шестого и заснула, наконец, тем тяжёлым сном, который приходит после того, как долго не спишь и тело берёт своё силой.

Григорий не спал.

Он лежал в маленькой комнате — бывшей кладовой, с низким, давившим на грудь потолком и одним узким окном, выходившим в глухой, серый двор. Он лежал уже долго, неподвижно уставившись в слепую темноту потолка, а потом вдруг резко, всем телом повернулся и встал.

Не потому, что сон бежал от него — нет, физически он был утомлён, но он просто не хотел ещё засыпать, испытывая какую-то болезненную потребность продлить это ночное одиночество.

Вечером он как обычно принёс два пакета продуктов, поужинал, слишком долго, до ломоты в пальцах, возился с искрящей розеткой и дряхлым выключателем в комнате Анны

Кирилловны; работа затянулась, а так как утром ему нужно было беспрекословно, спозаранку явиться на работу, Вера сама, торопливо и почти не глядя на него, постелила ему здесь, в этой тесной кладовой.

Запах слежавшихся вещей, сухой извёстки и старого беля, который он вдыхал сейчас, странно кружил ему голову. Эта убогая, временная постель, устроенная её руками, казалась ему не то милостью, не то ловушкой, и мысль о том, что он находится внутри её дома, на правах работника, но с правами тайного господина, заставляла его сердце биться чаще.

Вышел в коридор.

Коридор был длинный, с ночником у плинтуса — оранжевый, маленький, он всегда горел, мама не любила полную темноту. В этом свете дом выглядел иначе, чем днём: мягче и старше одновременно, как старые вещи выглядят при свечах — и лучше, и честнее.

Он шёл медленно.

Не крался — просто шёл, как ходят люди, которые привыкли двигаться бесшумно, не потому что скрываются, а потому что научились не тревожить пространство без нужды.

Остановился у серванта.

Хрустальная ваза. Фотографии в рамках. Медаль в коро-

бочке. Он смотрел не жадно — просто смотрел, как смотрят на вещи, которые рассказывают о доме больше, чем слова.

Хрусталь был хороший. Советский, тяжёлый — такой сейчас не делают. Фотографии — школа, праздники, дети маленькие. Медаль — «Ветеран труда», бордовая коробочка, крышка откинута.

Он провёл пальцем по краю серванта.

Дерево было тёплое — старое дерево всегда тёплое, оно хранит тепло долго, дольше, чем нужно.

Прошёл дальше.

Встал у двери в комнату Анны — не открывал, просто стоял, слушал ровное дыхание за ней. Потом посмотрел на дверь — на саму дверь, на косяк, на то, как она вписана в стену — с тем вниманием, с которым смотрят не на дверь, а сквозь неё, на то, что за ней.

Потом — по коридору дальше.

Большая комната.

Он вошёл. Встал посреди. Посмотрел — на стены, на потолок, на паркет под ногами. Паркет был старый, рассохшийся, с зазорами между планками — но крепкий. Такой паркет кладут один раз, и он лежит дольше, чем те, кто его клал.

Окно выходило во двор.

Он подошёл. Смотрел в окно — на двор, на яблоню, на забор, на тёмную улицу за забором. Двор был большой — для городского дома большой. Яблоня старая.

Сарай у забора покосился немного, но стоит.

Дом был — хороший.

Он думал это просто, без украшений, как думают об оценке, которую дают профессионально — не восхищаясь, а констатируя. Дом был хороший. Стены крепкие, фундамент держит, планировка — советская, добротная, без лишних углов. Такой дом при уходе простоит ещё столько же, и больше.

При уходе.

Он постоял у окна ещё минуту.

Потом вернулся в коридор.

И у двери комнаты Анны снова остановился — ненадолго, на несколько секунд — и смотрел на дверь с тем выражением, которого в темноте никто не видел, и которое было, пожалуй, самым честным выражением на его лице за весь вечер.

Не злым.

Не жадным.

Просто — оценивающим.

Как смотрит человек, который умеет смотреть на задачу

— люблю задачу — и понимать: что здесь есть, что мешает, и что нужно сделать, чтобы это стало другим.

Он вернулся в кладовую.

Лёг.

И заснул быстро — как засыпают люди, которые умеют отключаться, у которых совесть не мешает сну, потому что совесть давно научилась молчать, когда это нужно.

За окном кладовой была яблоня.

Она стояла неподвижно.

Утром — за завтраком, когда Вера уже вернулась с уборки офиса, бледная от холода и усталости, Григорий сам, упрямая её движения, хлопотал у стола. Он встал пораньше, бесшумно сварил кофе, нарезал хлеб, сыр, колбасу с той аккуратной, даже излишней тщательностью, которая свойственна одиноким мужчинам, и теперь эта его неожиданная, домашняя забота казалась непривычной и оттого ещё более значительной.

Вера, почти не поднимая глаз, разливала чай. Григорий поставил свою чашку, нарочито медленно, словно давая весу этого утра осесть в комнате, и посмотрел на дверь комнаты Анны.

— Она всегда такой была? — спросил он.

Вера подняла взгляд.

— Как — такой?

— Вот такой, — сказал он. — Такой, как сейчас.

Она хотела сказать «нет».

Слово было готово — простое, короткое, правда: нет, не всегда, была другой, была молодой, была девушкой в белом платье, которая смеялась без оглядки.

Но что-то остановило.

Может — усталость. Может — то, что ночью она пять раз вставала и четырежды слышала «Верка» из темноты, и каждый раз поднималась, и всё это было «всегда», потому что сколько она себя помнила — вот так, вот это, вот эта дверь и этот голос.

— Я уже не помню, — сказала она.

Григорий кивнул.

Взял чашку.

И ничего не сказал больше.

Но что-то в том, как он кивнул — спокойно, почти удовлетворённо, как кивают, когда получают ответ, которого ожидали, — что-то в этом кивке было таким, что

Вера почувствовала: что-то только что произошло.

Что — она не могла назвать.

Просто — что-то.

Тихое.

Холодное.

Как первый настоящий холод, который чувствуешь не на коже, а глубже.

Григорий залпом допил кофе, поднялся, накинул куртку и молча вышел, пошёл на работу, оставив за собой тяжёлый стук захлопнувшейся двери.

Вера осталась одна на кухне.

Она потянулась к столу, чтобы забрать его пустую чашку, и вдруг замерла. Внутри фарфорового доньшка, на тёмном осадке от осадка, отчётливо проступили не случайные разводы, а ровные, глубокие царапины, словно кто-то изнутри фарфора вывел острым ногтем одно единственное слово: *«Освобожу»*.

В ту же секунду из закрытой комнаты Анны Кирилловны раздался странный, сухой треск — та самая розетка, которую Григорий вчера так тщательно чинил, с тихим шипением выбросила синюю искру, и ровное старческое дыхание за стеной мгновенно, оборванно стихло.

ГЛАВА 5. ТИШИНА ВЕРЫ

УТРЕННИЙ ВЫЗОВ

Скорою Вера вызвала в начале девятого.

Не сразу — сначала подождала. Это тоже была система, выработанная за восемь лет: не звонить сразу, потому что мама иногда говорила «плохо» и через полчаса уже сидела прямо и требовала чаю. Надо было научиться различать — настоящее от того, что казалось настоящим, но проходило само. Так часто бывало, когда Вера задерживалась на работе, и не кормила мать вовремя.

Сегодня было настоящее.

Мама лежала и не пыталась встать — это был первый признак. Второй — не командовала. Просто лежала, смотрела в потолок, дышала чуть быстрее, чем нужно, и когда Вера спросила «как ты», сказала только: «Сердце».

Одно слово. Без объяснений.

Вера пошла звонить.

Скорая приехала через сорок минут.

Дождь начался где-то между звонком и их приездом — тихий, мартовский, без намерений, просто дождь, который идёт, потому что март и потому что так устроено. Вера открыла калитку, встала у крыльца под навесом и смотрела, как из машины выходят двое — фельдшер и помощник, оба в куртках с надписью, оба с лицами людей, которые сделали сегодня уже несколько таких выездов и сделают ещё очень много.

Фельдшер был немолодой — серое лицо, тёмные круги под глазами, движения точные и экономные, без лишнего. Такая точность бывает у людей, которые давно работают на износ и научились тратить ровно столько, сколько нужно, ни граммом больше.

— Сюда, — сказала Вера.

Они прошли в дом.

В прихожей — запах их куртки принесли с собой: мокрое сукно, резина, что-то медицинское под всем этим. Фельдшер снял рюкзак, поставил на пол, не оглядываясь. Привычно.

— Где пациент?

— В комнате. Сюда.

Серёжа стоял в дверях своей комнаты — в майке и в трусах, со взлохмаченными волосами, ещё не проснулся — и

смотрел на медиков с тем выражением, с которым смотрят на что-то, что происходит, но которое ты не знаешь, как оставить.

— Что с мамой? — спросил он Веру.

— Сердце говорит.

— Серьёзно?

— Не знаю ещё.

Она прошла в комнату за фельдшером.

Мама лежала так же — прямо, с открытыми глазами, руки поверх одеяла. Она посмотрела на фельдшера — оценивающе, с той привычной проверкой, которую не могла отменить даже сейчас.

— Анна Кирилловна? — сказал фельдшер. — Что беспокоит?

— Сердце, — сказала мама. — Давление, наверное. И слабость.

— Давно?

— С утра. Проснулась — и сразу.

Фельдшер раскрыл чемоданчик — мятый, с облупившейся застёжкой. Достал тонометр. Всё это без лишних движе-

ний, без суеты — просто работа, которую делают много раз, и каждый раз одинаково.

— Руку дайте.

Мама протянула руку.

Вера стояла у стены. Смотрела на маму — на её руку, на манжету тонометра, на лицо, которое сейчас было другим: не то, чтобы испуганным — мама не позволяла себе бояться при чужих, — но уязвимым. Именно это слово. Уязвимым.

— Сто шестьдесят на сто, — сказал фельдшер. — Повышенное. Не критично.

— Я знаю, что повышенное, — сказала мама. — Мне плохо, а вы говорите «не критично».

— Анна Кирилловна, при вашем возрасте сто шестьдесят — это рабочее давление для многих вашего возраста. Я сделаю укол, станет легче.

— Какой укол?

— Магnezия. Снизит давление, снимет нагрузку на сердце.

— Мне от магnezии плохо.

— Вам сейчас и так плохо.

— Давайте.

Мама замолчала — что само по себе было признаком состояния.

Фельдшер готовил укол. Помощник — молодой, почти мальчик, с тем растерянным видом, который бывает у людей на первом году такой работы — стоял рядом и смотрел в блокнот.

— Что ели сегодня? — спросил фельдшер, не оглядываясь.

— Ничего ещё, — сказала Вера. — Только проснулась.

— Вчера вечером?

— Суп. Хлеб. Чай.

— Лекарства принимает?

— Да. Вот, — Вера взяла с тумбочки упаковки и пузырьки, протянула.

Фельдшер посмотрел — быстро, профессионально — кивнул. Продолжил готовить укол.

И вот тут мама сказала.

АННА БОИТСЯ ОТРАВЛЕНИЯ

Она сказала это тихо.

Почти себе — или фельдшеру, неясно, голос был направлен куда-то в середину комнаты, ни к кому конкретно.

— Я не знаю, что она мне дала вчера может, перепутала что-то

Фельдшер поднял взгляд.

— Кто дал?

— Верочка. Дочь. — Пауза. Мама смотрела в потолок. —

Она всё готовит. Я сама уже не Сейчас столько всего в продуктах, мало ли

В комнате стало тихо.

Тишина была секундной — фельдшер снова опустил взгляд к шприцу, помощник что-то записывал, — но Вера эту секунду почувствовала всей кожей.

Она стояла у стены.

Не двинулась.

Посмотрела на маму — на её профиль, на руку поверх одеяла, на закрытые теперь глаза — и сделала то, что она умела делать лучше всего в таких случаях: ничего.

Подошла к кровати.

Поправила край одеяла — тот угол, который чуть сбился, — разгладила рукой. Медленно, аккуратно.

— Мама, — сказала она тихо. — Ну что ты такое говоришь.

Не вопрос. Не возмущение. Просто — слова, сказанные очень мягко, с той интонацией, с которой говорят с человеком, который болен и поэтому может говорить что угодно, и это нужно принять.

Фельдшер посмотрел на Веру.

Быстро — профессиональным взглядом, которым смотрят на родственников, оценивая обстановку.

Вера стояла у кровати с опущенными глазами и разглаживала одеяло.

— Анна Кирилловна, — сказал фельдшер, — вы принимаете какие-то препараты помимо тех, что показала дочь?

— Нет, — сказала мама. — Только эти.

— Тогда давление — от стресса, скорее всего, или от погоды. Магнезию сейчас введём, через полчаса будет лучше.

— Хорошо, — сказала мама.

Больше ничего не сказала.

Вера стояла и продолжала разглаживать одеяло — хотя оно было уже давно ровным, разглаживать было нечего, — и думала о том, что мама сейчас сказала. И о том, что фельдшер посмотрел на неё. И о том, что она опустила глаза.

Почему она опустила глаза?

Она не знала.

Просто — опустила. Рефлекс, привычка, что-то давнее и отработанное. Опустить глаза — значит не вступать в это пространство, не делать его больше, не тянуть одеяло в свою сторону.

Но со стороны — как это выглядело со стороны?

Она не стала думать об этом дальше.

Укол фельдшер сделал быстро и почти безболезненно — мама только чуть сжала губы. Потом он смерил давление ещё раз, записал что-то, велел лежать час, не вставать, и если хуже — звонить снова.

— Госпитализировать? — спросила Вера в коридоре, тихо.

— Смысла нет пока, — сказал фельдшер, застёгивая рюкзак. — Не критично. Наблюдайте. Если будет боль в груди, онемение руки — сразу звоните.

— Хорошо.

— Таблетки давайте регулярно, не пропускайте.

— Я даю.

Он посмотрел на неё — секунду, тем же профессиональным взглядом — и сказал:

— Вы давно так?

— Как?

— Одна с ней.

— Восемь лет.

Он кивнул.

— Трудно, — сказал он — просто, без сочувствия в голосе, просто констатация.

— Нормально, — сказала Вера.

Он застегнул последнюю пряжку рюкзака. Помощник уже был в дверях.

— Наблюдайте, — повторил фельдшер и пошёл к выходу.

ПОСЛЕ СКОРОЙ

Они уехали в половине одиннадцатого.

Вера стояла у калитки и смотрела, как машина разворачивается на улице — неловко, в два приёма, улица была узкая, — и уезжает. Дождь к этому времени стал сильнее. Он шёл ровно, без порывов, тот дождь, который не собирается заканчиваться в ближайшее время.

Она постояла ещё минуту.

Потом вернулась в дом.

В прихожей Серёжа — уже одетый, в джинсах и свитере — стоял и смотрел на неё.

— Ну? — спросил он.

— Давление. Сделали укол.

— Серьёзно?

— Нет. Говорят — наблюдать.

— Ладно. — Он помолчал. — Я на работу должен, позволили.

— Иди.

— Вер, ну — ты справишься?

Она посмотрела на него.

Справишься — вопрос, который он задавал каждый раз, когда уходил, и который каждый раз означал одно: я ухожу, ты остаёшься, это нормально. Вопрос был формой разрешения — не для неё, для него. Спросил, получил «да» — и совесть выполнила свою функцию.

— Справлюсь, — сказала она.

Он надел куртку.

— Я вечером позвоню, — сказал он.

— Хорошо.

Дверь закрылась.

Вера осталась одна в прихожей — с запахом чужих курток, с мокрым следом от ботинок на полу у входа, с тишиной дома, которая восстановилась сразу, как только захлопнулась дверь.

Из маминой комнаты — тишина. Лежит.

Вера прошла на кухню. Поставила чайник. Стала у окна. За окном шёл дождь.

ВЕРА У ОКНА

Сосед через забор — Николай Петрович, она знала его двадцать лет, сначала это был просто сосед, потом просто человек за забором, потом просто силуэт — шёл от калитки к дому с двумя тяжёлыми пакетами.

Шёл медленно — пакеты были явно тяжёлые — и на полпути остановился, переложил оба в одну руку, другой поправил шапку. Потом снова — по одному. Дошёл до крыльца. Поставил пакеты, достал ключ.

С крыльца — детский крик. Радостный, высокий.

Из дома выбежала девочка — лет пяти, в красной куртке — и повисла на Николае Петровиче, обхватив руками. Он засмеялся — Вера не слышала, но видела: засмеялся, поднял её, покружил. Пакеты стояли на крыльце в дожде.

Потом из двери вышла женщина — молодая, в свитере, без куртки, зябко обхватила себя руками — что-то сказала Николаю Петровичу. Он кивнул, поставил девочку на землю, поднял пакеты. Они вошли в дом. Дверь закрылась.

Вера стояла у окна.

Смотрела на закрытую дверь.

Там, за этой дверью — тепло, пакеты с едой, красная куртка, смех. Там обычная жизнь, которая случается у людей, которые просто живут — без особых причин, просто живут, и в этой жизни есть пакеты из магазина, и девочка в красной куртке, и кто-то выходит без куртки и мёрзнет, и всё это — просто жизнь.

Она смотрела на эту дверь долго. Завидовала.

Чайник закипел. Она не обернулась.

Думала о том — медленно, с той особой медленностью, которая бывает, когда мысль идёт против течения, против всего, что привык думать о себе, — думала о том, что её нет.

Не в смысле — она умерла.

В смысле — её как будто нет. Нет в том пространстве, где бывают люди, которые идут за пакетами и кружат детей в дождь. Нет на той стороне забора, где живут, — а не ухаживают, не обслуживают, не стоят у окна и смотрят.

Меня как будто вообще не было.

Мысль пришла не как открытие — как что-то, что давно лежало на дне и вот поднялось, медленно, без усилия. Просто — поднялось.

Не было.

Есть Вера, которая готовит суп, и Вера, которая разглаживает одеяло, и Вера, которая говорит «справлюсь» и «я

знаю» и «сейчас, мама» — но где-то в промежутке между всем этим потерялась та, которая просто была. Не делала — просто была.

Когда?

Когда это случилось?

Чайник всё ещё кипел.

Она наконец обернулась, выключила. Налила кружку. Взяла.

Вернулась к окну.

Дверь у Николая Петровича была закрыта. Двор у него был пустой — только пакеты стояли на крыльце, забытые в спешке, под дождём.

Она смотрела на эти пакеты.

И думала: он вернётся за ними. Через минуту вспомнит, выйдет, заберёт. Это такие люди — которые вспоминают, которые возвращаются.

Из маминой комнаты — голос:

— Верка. Воды.

Она поставила кружку.

Пошла.

РАЗГОВОР С ГРИШЕЙ

Григорий пришёл в половине восьмого. Вера уже вернулась со второй работы.

Не предупреждал — он никогда не предупреждал, просто приходил, и это стало частью расписания дня так же незаметно, как стало частью расписания давление в восемь утра и таблетки в обед. Просто — приходил. И это почему-то было нужно.

Вера открыла дверь и увидела его — в куртке, с мокрыми плечами, с тем ровным лицом, которое не менялось ни от дождя, ни от чего другого — и почувствовала что-то, что не сразу назвала. Потом назвала: облегчение. Просто — облегчение от того, что кто-то пришёл.

Это было странно.

Она знала его три недели.

— Как она? — спросил он с порога.

— Лучше. Спала после укола, потом встала, поела. Сейчас телевизор смотрит.

— Давление упало?

— До ста тридцати.

— Хорошо.

Он снял куртку. Вера взяла, повесила. Они прошли на кухню — привычно уже, как ходят по маршруту, который знаешь.

Он сел. Она поставила чайник.

Молчали.

— Она что-то сказала фельдшеру, — произнесла Вера.

Не сразу — через несколько минут, уже с чаем, уже в тишине, которая была достаточно плотной, чтобы в неё можно было что-то сказать.

— Что?

— Что не знает, что я ей дала. Что может, я что-то перепутала. — Пауза. — Фельдшер на меня посмотрел.

Григорий держал кружку. Смотрел на неё.

— Она испугалась просто, — сказал он.

— Я знаю.

— Когда человек боится — ищет причину. Любую. Ближайшую.

— Я знаю, — повторила Вера. — Я понимаю, почему. Я не обиделась.

Пауза.

— Иногда мне кажется, что я уже не человек здесь, — сказала она.

Тихо. Без надрыва — просто тихо, с той усталостью, которая за восемь лет стала фоном, как фоном становится гул холодильника: его не слышишь, пока не замолчит.

— Сиделка, — сказала она. — Санитарка. Кто-то, кто готовит и моет. Но не — человек.

Григорий молчал.

Она смотрела в кружку.

— Она сегодня сказала, что я, может, её отравить хочу, — сказала Вера. — И я стояла рядом и поправляла одеяло. — Пауза. — Зачем я поправляла одеяло?

— Потому что больше нечего было делать.

— Или потому, что я привыкла. — Она подняла взгляд. — Что бы она ни сказала — я поправляю одеяло. Я разглаживаю. Я говорю «мама, ну что ты». И всё. — Помолчала. — Это нормально?

— Нет, — сказал Григорий.

— Нет?

— Это не нормально. — Он поставил кружку. — Человек не должен так жить.

Она смотрела на него.

Второй раз — эта фраза. Второй раз — тем же голосом, с той же интонацией спокойного утверждения. И во второй раз она звучала иначе, чем в первый. В первый раз это было — наблюдение. Сейчас — что-то другое. Что-то, у чего был

вес.

— Как жить? — спросила она.

— Так, как вы живёте.

Она хотела спросить: а как надо. Но не спросила. Потому что в его голосе уже было что-то, что отвечало на этот вопрос без слов, — и она не была уверена, что хочет слышать этот ответ.

Вместо этого она сделала то, что умела.

— Чаю ещё? — спросила она.

— Да, — сказал он.

Она встала. Налила. Поставила перед ним.

Их руки оказались рядом — на секунду, случайно, когда она ставила кружку — и она не отдёрнула. Просто убрала — потом, через секунду. Спокойно.

Ничего не произошло.

Но что-то — произошло.

СЕРЁЖА

Серёжа пришёл в восемь — трезвый.

Это было редкостью — не в смысле, что он пил каждый день, но трезвый к вечеру в пятницу, это замечалось. Вера заметила сразу, по тому, как он вошёл: не громко, без той

искусственной энергии, которая появлялась после выпитого, — просто вошёл, снял куртку, повесил — криво, как всегда, — и прошёл на кухню.

Григорий к тому времени сидел там же.

Серёжа кивнул ему. Григорий кивнул в ответ.

— Как мама? — спросил Серёжа.

— Лучше, — сказала Вера. — Я уже рассказывала — ты не перезвонил.

— Работа была, не мог.

— Я знаю.

Она посмотрела на него — на осунувшееся лицо, на свитер, который он носил третий день, — и прежде, чем подумала, уже сказала:

— Ты поел сегодня?

Серёжа посмотрел на неё.

— Что?

— Поел, спрашиваю.

— Да поел, Вер, я взрослый человек.

— Я просто спрашиваю.

— Ну вот я отвечаю.

Он сел за стол. Взял со стола хлеб — машинально, просто взял и стал есть, стоячий хлеб, без всего, — и Вера смотрела на это и думала: он с утра, наверное, не ел нормально. Она

знала это без спроса. Она всегда знала, когда он не ел — по тому, как брал хлеб.

— Там суп остался, — сказала она.

— Не надо.

— Серёж.

— Вер, я сказал — не надо. — Он посмотрел на неё — прямо, чуть устало. — Ты как мама иногда.

Она замолчала.

Слова упали в тишину — и Серёжа, кажется, понял, что сказал что-то лишнее, потому что опустил взгляд и снова взял хлеб. Григорий смотрел в свою кружку.

— Деньги есть? — спросила Вера — тише.

— Есть.

— Правда?

— Вера. — В его голосе была уже не усталость, что-то острее. — Правда. У меня всё хорошо. Я не пропил, не потерял, не занял. Просто есть.

— Хорошо, — сказала она.

Помолчали.

Серёжа доел хлеб. Встал, налил себе воды, не чаю, выпил стоя у раковины. Поставил стакан.

— Суп оставь на завтра, — сказал он, не оборачиваясь.
— Утром поем.

— Хорошо.

Он ушёл к себе.

Вера стояла у плиты и смотрела на дверь, за которой скрылся брат. Потом — на Григория Ивановича.

Григорий смотрел на неё.

— Что? — спросила она.

— Ничего, — сказал он.

Но в этом «ничего» было что-то — она не знала что, но что-то было — что-то, что он увидел и запомнил и не стал говорить вслух.

НАСТОЯЩАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ ВЕРЫ

Мама уснула рано.

Серёжа тоже — за его дверью тишина установилась в половине одиннадцатого, плотная, без движения.

Вера и Григорий сидели на кухне.

Она уже не помнила, с чего начался разговор — или разговора не было, просто тишина, которая иногда перебивалась словами. Она мыла что-то, он сидел. Она садилась, он говорил что-то короткое. Она отвечала. Так шло.

Потом она перестала мыть.

Просто — остановилась у раковины, опустила руки вдоль тела, постояла.

— Устала? — спросил он.

— Да.

Она прошла к столу. Села. Не напротив — рядом, через угол, как она садилась всё чаще, незаметно для себя сокращая расстояние, которое в начале было больше.

Сидела.

Молчала.

И в этом молчании было что-то — она не думала об этом так, она не выстраивала это намеренно, просто — что-то в том, как она сидела, как опустила плечи, как положила руки на стол ладонями вверх — что-то в этом было таким, что рядом с этим хотелось что-то сделать. Что-то исправить. Помочь.

Григорий смотрел на её руки.

— Иногда мне кажется, — сказала она — медленно, не глядя на него, — что, если я просто исчезну — никто даже не заметит.

Тишина.

— Мама позовёт через час, — добавила она. — Серёжа — через день, может. — Пауза. — А так — нет. Не заметят. Потому что я уже давно — не я. Я — функция.

Она говорила это ровно.

Без слёз — слёз не было, она не плакала, она просто го-

ворила, тихо и устало, и в этой усталости не было ни крика о помощи, ни требования — просто слова, сказанные в темноту кухни.

Но что-то в этих словах было такое.

Григорий сидел неподвижно.

Потом поднял взгляд — посмотрел на неё — и в его взгляде было что-то, чего она раньше не видела. Не жалость — нет, он не был жалостливым человеком. Что-то другое. Что-то похожее на то, как смотрят, когда видят задачу — и понимают её.

— Ты не исчезнешь, — сказал он.

— Я знаю, — сказала она. — Некуда.

Пауза.

— Некуда — пока, — сказал Григорий.

Она посмотрела на него.

Что означало это «пока» — она не спросила. Не спросила, потому что — и это она почувствовала отчётливо, и тут же перестала чувствовать, убрала куда-то — не спросила, потому что слышала в нём ответ, который не хотела получить вслух. Который был удобнее без слов.

— Чаю? — спросила она.

— Нет, — сказал он. — Поздно уже.

Он встал.

Вера тоже встала — проводить, как всегда. Они прошли в прихожую. Он надел куртку. Взял сумку.

Остановился у двери.

Посмотрел на неё.

— Ты сильная, — сказал он.

Первый раз — это звучало как диагноз.

Второй раз — как что-то другое. Как разрешение.

Дверь закрылась.

Вера стояла в прихожей.

И думала — быстро, под поверхностью, там, куда она сама не любила заглядывать — думала о том, что она сказала «если я исчезну — никто не заметит».

И о том, что это было правдой.

И о том, что это было сказано именно ему.

И о том, зачем.

Она не додумала.

Вера услышала, как закрылась дверь кладовой — не хлопнула, именно закрылась, с той плотной, окончательной тихостью, которая бывает у человека, привыкшего не оставлять лишнего шума. Она постояла в коридоре. Потом вспомнила: чашка. Она видела её там — на комодe, когда он брал ин-

струменты. Пустая, ненужная, но надо забрать.

Зашла.

Сразу — запах.

Не тот, к которому привыкла в этом доме: лекарства, хлорка, застарелый страх. Другой — острый, чистый, с той хирургической ноткой, которая бывает у людей, не признающих беспорядка ни в вещах, ни в мыслях, ни в том пространстве, которое они занимают. Запах вытеснял всё остальное. Как вытесняет сильный свет темноту — не борется, просто занимает место.

Она взяла чашку.

Посмотрела на дно. На белом, тускло блеснувшем фарфоре было нацарапано — неглубоко, едва-едва, чем-то на удивление острым; так незаметно, что надобно было нарочно ловить свет ночника и держать чашку под самым светом, чтобы разобрать это едва проступившее: *Освобожу*. Одно только слово, в точности как тогда, в прошлый раз! Но ведь та, прежняя запись — Вера помнила это до судорог отчётливо — исчезла без следа, стоило ей только обмыть чашку водою...

Она смотрела на новую запись.

Долго.

Потом — не сразу, а через ту паузу, которая бывает, когда

что-то тянет посмотреть, хотя уже знаешь, что не надо, — подняла взгляд на зеркало над комодом.

И — вскрикнула.

Тихо. Почти беззвучно. Горло выдало что-то короткое, придушенное, то, что вырывается прежде мысли, прежде понимания — просто тело среагировало раньше.

В зеркале была — не она.

То есть она — да, её платье, её плечи, её шея. Но лицо — другое. Сухое, с теми острыми ключицами, с тем административным взглядом, который она видела тысячи раз и который всегда означал одно: я здесь хозяин.

Мамино лицо. Мамины глаза — не пустые, не безумные, как в последние месяцы, а те, не старые, из семьдесят первого года, из фотографии в белом платье — живые, умные, с той ровностью, которая страшнее крика.

Она смотрела на это лицо.

И вдруг — увидела за плечом.

Григорий стоял сзади.

Она знала — в комнате никого нет, она сама зашла, сама видела — пусто. Но в зеркале он был. Стоял близко — его руки лежали на её плечах, и она чувствовала их — физически, кожей чувствовала, хотя разумом понимала: это невоз-

можно, его нет здесь, он ушёл, калитка закрылась.

Чувствовала.

Тяжёлые руки. Спокойные. Те, которые чинили кран — точно и без лишних движений. Те, у которых шрам на левом запястье, белёсый, старый, наискосок.

Он не обнимал.

Он тянул.

Между пальцами — розовая лента. Та самая, из серванта, которой были перевязаны старые открытки — «мама, с праздником», написанные детским почерком с наклоном влево. Он тянул её — медленно, без усилия, как тянут нить, которая и так уже натянута, просто делают то, что должно случиться.

К её горлу.

Она смотрела в зеркало — не могла не смотреть, хотя надо было уйти, надо было выйти, надо было сделать что угодно, только не смотреть — и видела его улыбку. Ту. Которую видела в разные моменты. Не злую улыбку. Хуже — математическую. Улыбку человека, который решил задачу правильно и знает это.

«Вот твой материал», — говорила эта улыбка. Вот из чего я строил. Вот что ты есть.

Чашка выпала из рук.

Она не слышала, как упала — просто руки разжались сами, и она уже была в коридоре, уже шла — быстро, не совсем бегом, но почти — и говорила себе, говорила вслух, одними губами, без звука:

Привиделось. Переутомилась. Надо спать. Это — переутомление. Ничего нет. Просто спать.

На кухне — свет она включила сразу, резко, весь.

Стояла посреди кухни.

Ноги были ватными — это она заметила только сейчас, что ноги не держат как надо, что приходится чуть опираться о край стола, чтобы стоять прямо.

Переутомление

Она начала проверять — методично, как автомат, как проверяют каждый вечер, потому что это привычка, восемь лет привычка: плита. Она подошла. Все четыре конфорки — выключены. Ручки повернула каждую, проверила пальцами.

Выключены.

Форточка. Закрыта.

Окно. Закрыто.

Она подошла к раковине.

Кран стоял — молча. Тот самый, который он чинил на днях. Прокладка новая, болт закручен, сердечник на месте. Он починил — точно, без лишних слов, без демонстрации.

Сделал и ушёл.

Ни капли.

Тишина была идеальной.

Почти стерильной — то слово, которое само пришло, и она не отогнала его, просто отметила: да, стерильная. Как операционная. Как место, откуда убрали всё лишнее.

Просто кран. Просто тишина.

Она выключила свет.

Пошла к кровати — на ощупь, по коридору, который знала в темноте лучше, чем при свете, каждую доску, каждый скрип. Легла. Потянула одеяло до подбородка.

Лежала.

Убеждала себя — ровно, методично, как убеждают то, что сопротивляется: завтра будет яснее. Завтра — новый день. Это было переутомление. Зеркало — это зеркало. Старое стекло, плохое качество, усталые глаза видят то, что хотят видеть. Никакого Григория не было в той комнате. Никакой ленты.

Чашка упала. Завтра подберу.

Глаза закрывались.

Мысли — тянулись, рвались, теряли нить — как всегда на границе сна, когда тело уже там, а что-то ещё здесь, цепля-

ется.

И вот тогда — в этой пограничной зоне, где мысль и бред уже неотличимы, — она услышала.

Из кухни.

Один звук.

Тяжёлый. Отдельный. Весомый.

Кап.

Кран, который он починил.

Который молчал — идеально, стерильно молчал.

Капнул один раз.

Только один.

Как будто поставил точку.

В конце приговора, который она ещё не дочитала.

ГЛАВА 6. ЧУЖАЯ ЕДА

Очищение зала

Вера пришла в половине шестого утра — как всегда, пока мама спит, пока дом ещё тихий, пока можно выйти не отчитываясь.

Охранник Консьерж Толя, пожилой, с газетой, кивнул ей привычно, она кивнула в ответ, взяла ключ от подсобки. Всё, как всегда.

Но зал был другой.

После банкета выглядел так, будто люди уходили быстро и не оглядывались, как по сигналу эвакуации.

Они праздновали вчера — что-то корпоративное, она не знала, что именно, это было не её дело. Её дело было то, что осталось: сдвинутые столы, пластиковые стаканчики, тарелки с объедками, салфетки на полу, пятно от красного вина на ковровой дорожке у окна — большое, засохшее, въевшееся.

Она начала с пятна.

Встала на колени, тряпка, холодная вода, потом горячая, потом снова — методично, без спешки, потому что спешка здесь не помогала, пятно от вина знало свою природу и сда-

валось только терпению.

Пока она тёрла — думала ни о чём. Это умение она любила больше других своих умений: отключиться, пока руки работают. Не медитация — просто пустота, тихая, без содержания. Руки трут, голова молчит. Хорошо.

Пятно сошло наполовину. Она встала. Взяла швабру.

К семи закончила только зал.

Ещё туалеты, коридор, кухонный закуток с горой грязных чашек — кто-то за ночь ещё и сюда добрался, допивал, не донёс до мойки. Она мыла чашки и смотрела в окно кухонного закутка: двор офисный, асфальт, дерево без листьев, чья-то машина стоит криво.

В пол девятого — всё.

Она сдала ключ Толе. Толя что-то сказал про погоду. Она согласилась — не слушая, просто согласилась, потому что это была правильная реакция, — и вышла на улицу.

Путь домой

Дождь уже кончился. Остался запах — мокрый асфальт, прошлогодние листья у бордюра, что-то далёкое и горьковатое.

Она шла домой и думала: борщ надо разогреть. Хлеб. Мама, наверное, уже встала.

Наверное, уже ждёт.

Театр привычных обвинений

Голоса она услышала от калитки.

Не слова — просто голоса: мамин — ровный, настойчивый, тот, который она слышала столько раз, что перестала слышать, как звук и слышала сразу как смысл. Серёжин — с той интонацией согласия, которое не является согласием, просто переживает.

Она открыла калитку. Прошла через двор, поднялась на крыльцо, вошла в длинный коридор.

Голоса стали разборчивее.

— Ты меня в гроб загнать хочешь своим пьянством? — говорила мама. — Я всю жизнь на тебя положила. Всю жизнь. А ты мне вот так благодаришь.

— Мам, ну не начинай с утра похороны.

— Не с утра уже. И не похороны — правда. У меня из-за тебя сердце разрывается.

Скорую вчера вызывали — ты знаешь? Знаешь или нет?

— Знаю. Вера сказала.

— Вера сказала. А ты где был?

— Работал.

— Работал. — Это слово мама произносила с особым умением — без насмешки, без крика, просто так, что в нём уме-

щалась вся история. — Работал, наверное со своими алкашами Посмотри на соседа слева, Пашу. Не пьёт человек, люди уважают. Что люди говорят, когда увидят тебя?

— Паша в гараже пьёт, мам. Просто не на виду.

— Не говори гадостей про людей.

— Я не говорю гадостей. Я говорю — все разные.

— Обо мне ты подумал? Как мне с этим жить? Я ночами не сплю, жду тебя, слышу, когда приходишь. Буянишь. Тебе плевать на мои слёзы?

— Мам. Не жди — спи, спала бы лучше.

— Ты совсем мать не любишь. Раз продолжаешь себя гробить — значит, не любишь. Это просто.

Вера разулась в прихожей. Повесила пальто.

Руки от воды за утро немного покраснели — это всегда так после долгой уборки. Она посмотрела на них секунду, потом пошла в кухню.

На кухне было так, как она знала заранее.

Мама — у стола, прямая, с чаем. Серёжа — напротив, локти на стол, перед ним тарелка с вчерашним борщом, нетронутая. Дешёвая колбаса на блюде — нарезана неровно, Серёжина нарезка, он всегда резал неровно. Хлеб. Пустая чашка у его локтя — не сейчас, раньше, мама её видела, Вера поняла сразу по тому, как мама не смотрела на чашку.

Они ждали.

Не говорили этого — просто ждали, как ждут естественного хода вещей: Вера придёт, разогреет, подаст. Это был порядок, такой же устойчивый, как синяя кружка на крючке.

— Борщ разогреть? — Спросила Вера.

— Давно ждём, уж сколько можно ждать— сказала мама.

Вера помыла руки — быстро, у мойки, хозяйственным мылом, смыла запах офисных чистящих средств. Вытерла.

Поставила кастрюлю на конфорку. Зажгла огонь.

Пока грелось — нарезала хлеб. Ровно, тонко, как мама любила. Положила на блюдце. Поставила на стол. Мама говорила что-то Серёже — про Пашу, снова про Пашу, Паша был неиссякаемым примером правильной жизни, Вера слышала Пашу много лет и никогда не видела этого человека иначе, как силуэтом за забором.

Серёжа слушал.

Вера видела его лицо — боком, краем, пока переставляла хлеб. Видела под усталой улыбкой, под этими привычными репликами — что-то другое, что он прятал без особого старания. Он думал. Она знала о чём: в каком она настроении, даст ли денег, что пообещать — завязать или работу найти. Завязать убедительнее звучит. Или работу — конкретнее. Нет, завязать, потому что завязать не проверишь.

Это была его форма выживания.

Борщ закипел.

Она взяла половник. Налила маме — глубокая тарелка, не слишком полная. Поставила перед ней. Потом Серёже — тот же борщ, та же рука. Хлеб подвинула ближе.

Встала у плиты.

Испытание «Ядом»

Мама взяла ложку.

Попробовала.

Остановилась.

Поставила ложку обратно — медленно, аккуратно, как ставят, когда рука вдруг перестаёт торопиться. Посмотрела в тарелку. Потом на Веру.

— В кастрюле нормальный был, — сказала она.

Вера обернулась.

— Что?

— В кастрюле нормальный. Я видела. — Мама смотрела на тарелку, потом снова на Веру. — А мне ты что-то подсыпала.

Серёжа поднял взгляд.

— Мам, — сказал он.

— Помолчи.

Вера стояла у плиты.

— Мама, я налила из той же кастрюли, — сказала она ровно.

— Я видела, как ты наливала.

— Ну и?

— Ты что-то добавила.

— Я ничего не добавляла.

— Если там ничего нет — съешь мою ложку. — Голос мамы был тихий, почти спокойный, и это спокойствие было страшнее крика. — Я не дура. Я вижу, как ты на меня смотришь.

— Как я смотрю?

— Вот так. — Мама сделала рукой неопределённый жест.

— Пробуй первая. Раз там ничего нет — что тебе стоит?

Серёжа открыл рот.

— Мам, хватит, — сказал он.

— Я сказала помолчи. — Она не повысила голос — просто сказала, и в этих трёх словах было всё то, что отработывалось десятилетиями. Потом снова — на Веру: — Мать тебя вырастила. Всё тебе отдала. А ты мне яд подсовываешь. Дом мой хочешь быстрее заграбастать. Докажи, что любишь — съешь отсюда.

Слово «яд» упало в тишину.

Серёжа смотрел в стол.

Она стояла у плиты и смотрела на мать. На это лицо — строгое, испуганное, убеждённое. На руки, которые сжима-

ли край стола. На глаза, в которых был настоящий, неподдельный ужас — не театральный, не манипулятивный, а тот, который живёт глубже слов, который поднимается из самого тёмного места и который называется просто: страх умереть и не знать от чего.

Она это видела.

И что-то в этом видении было таким, что спорить казалось — не бессмысленным, нет. Просто лишним. Как лишне спорить с погодой.

Вера взяла ложку.

Подошла к маминой тарелке.

Набрала борщ.

Съела.

Положила ложку обратно на стол.

Встала.

Всё.

Серёжа смотрел на неё — с выражением, которое она не стала рассматривать. Мама смотрела — с тем же выражением, но в нём что-то изменилось: страх немного отступил, на его место пришло что-то другое. Не благодарность. Что-то более сложное, что бывает у людей, когда они получили то, чего требовали, и теперь не знают, что с этим делать.

Серёжа смотрел на руку Веры — на то, как она держала ложку, как положила её обратно, как отошла к плите. Смот-

рел внимательно, тихо, с той сосредоточенностью, с которой смотрят не на событие, а на человека внутри события.

Мама взяла свою ложку. Начала есть.

— Хлеб подай, — сказала она.

Вера подала хлеб.

Наблюдение за «отделившейся» душой

Потом была тишина — та особая кухонная тишина, которая бывает, когда все всё сказали и теперь просто едят. Серёжа ел быстро, не поднимая головы. Мама — медленно, аккуратно, с достоинством.

Вера стояла у плиты.

Себе она не налила.

Серёжа это заметил. Поднял взгляд:

— Ты чего не ешь?

— Потом.

— Вер.

— Потом, Серёж.

Смотрел на Веру — долго, с той внимательностью, которая была не сочувствием и не жалостью. Что-то другое. Что-то, что фиксирует и откладывает. Как фиксируют и отклады-

вают важные детали — на потом, для работы, которая ещё не началась, но уже понятна в общих чертах.

Он видел: она держала ложку спокойно.

Он видел: она не смотрела матери в глаза — ни до, ни во время, ни после.

Он видел: она поправила солонку на столе — машинально, просто поправила, хотя та стояла нормально — и отошла.

Он видел: не было ничего. Ни вспышки, ни слёз, ни того острого, живого, что бывает у людей, которых только что унизили и которые ещё сопротивляются.

Было — ровно.

Плоско.

Как бывает у людей, которые давно отделились от происходящего, — не защитились, не убежали, а именно отделились: тело стоит, руки делают, слова говорят, а внутри — уже где-то в другом месте, далеко, там, куда не достают.

Он думал об этом спокойно.

Как думают о задаче, которая стала понятнее.

После того как Вера попробовала борщ из материнской тарелки, напряжение начало сходить на нет, и в доме стало особенно тихо.

Не той мирной тишиной, которая приходит в дом вечером.

А тяжёлой. Настороженной.

Серёжа ел, и смотрел на неё исподлобья.

Ему было одновременно и стыдно, и раздражительно смешно. Он давно привык к материнским страхам. Но каждый раз, когда они переходили какую-то новую границу, внутри всё равно что-то неприятно дёргалось.

Диалектика вины и зависимости

— Ну что? — устало сказал он. — Жива пока?

— Ты не шути так, — резко ответила мать.

И тут же оглянулась на Веру.

Будто проверяя: не улыбается ли та.

Вера сидела у окна. Неподвижно.

Тусклый мартовский свет падал ей на лицо, и Anne Кирилловне вдруг показалось, что дочь как будто постарела за последний год.

Или нет.

Не постарела.

А стала чужой.

Эта мысль появилась внезапно и сразу испугала её.

Потому что Анна Кирилловна всю жизнь считала: дети могут быть плохими, неблагодарными, ленивыми, жестокими, но всё равно остаются продолжением матери.

А тут вдруг впервые почувствовала: между ней и Верой появилась какаято пустота.

Нехорошая. Холодная.

И от этого ей сразу захотелось оправдаться.

— Я не просто так сказала, — пробормотала она. — Сейчас такое время Люди родных травят из-за квартир.

Серёжа тяжело вздохнул.

— Господи, мам Кто тебя травить будет.

— Ты ничего не понимаешь.

— Да всё я понимаю.

— Нет, не понимаешь! Сейчас дети родителей в дома престарелых сдают.

Она говорила всё быстрее.

Не потому, что действительно спорила с сыном.

А потому что пыталась убедить саму себя: её страх не безумие.

— У Валентины Петровны племянник бабку обокрал. По телевизору показывали. А эта как её артистка вообще мужа отравила.

Серёжа поморщился.

С похмелья материнский голос будто сверлил голову.

Ему хотелось только одного: чтобы все замолчали. Чтобы выпить. Чтобы лечь. Чтобы жизнь хоть ненадолго перестала давить со всех сторон.

Но вместе с раздражением вдруг появилась и другая мысль.

Неприятная.

А ведь мать действительно боится.

Понастоящему.

Не играет.

И Серёжа неожиданно вспомнил, как в детстве болел воспалением лёгких.

Мать тогда трое суток почти не спала. Сидела возле кровати. Меняла полотенце на лбу. Плакала ночью на кухне, думая, что он не слышит.

И от этого воспоминания ему стало особенно гадко сидеть сейчас перед ней с опухшим после пьянки лицом и выпрашивать деньги на очередную бутылку.

Но стыд быстро начал превращаться в раздражение.

Потому что долго чувствовать вину человек не может.

Особенно если виноват много лет подряд.

Тогда вина начинает казаться не моральным чувством, а просто тяжёлой сыростью, в которой живёшь ежедневно.

— Ладно, — буркнул Серёжа. — Давай уже не начинай по новой.

Анна Кирилловна вытерла губы салфеткой.

— Конечно. Матери рот закрой — и живи спокойно.

— Да никто тебе рот не закрывает.

— А что тогда?

— Да ничего.

И вот тут снова произошло то, что особенно мучило Веру последние годы.

Мать и сын ругались. Упрекали друг друга. Делали друг другу больно.

Но при этом были странно связаны.

Словно вся их жизнь держалась именно на этих бесконечных взаимных мучениях.

И Вера вдруг поймала себя на страшной мысли: если Серёжа действительно бросит пить, если съедет, если исчезнет, мать начнёт разрушать её одну.

Эта мысль пришла так быстро и так отчётливо, что Вера даже испугалась самой себя.

Потому что в первый раз в жизни ощутила она — остро, до судороги в сердце, — что брат её не есть только лишь докучливый проситель денег, вечно кричавший: в последний раз!, но что он нужен ей здесь, в этой комнате, необходим как живая душа, и вовсе не по одному только кровному родству.

А как часть общего несчастья.

Как человек, на которого можно разделить материнскую тяжесть.

И от этого ей стало стыдно.

Но стыд был коротким.

Потому что усталость давно уже была сильнее стыда.

Трапеза в одиночестве

Серёжа ушёл первым — встал, отнёс тарелку в мойку, сказал «спасибо» — и пошёл в свою комнату. Мама доела, посидела ещё минуту с чаем, потом тоже встала — медленно, придерживаясь за стол.

— Прилягу, — сказала она.

— Хорошо, — сказала Вера.

Мама прошла мимо неё — не близко, не далеко — и в дверях остановилась на секунду. Не обернулась. Просто остановилась, как останавливаются, когда хотят что-то сказать и потом решают не говорить.

Вышла.

Вера долго стояла, глядя в окно. Немного успокоившись, она налила себе уже остывший борщ: знала, что надо есть, что в этом доме силы больше всего нужны именно ей.

Борщ был хороший — на второй день он всегда лучше.

Вера вдруг вспомнила их соседку по старой квартире, когда дом ещё строился, тётю Марину. Та сколько Вера себя помнила, «сгорала» у постели вечно больного мужа: таскала его на себе, не спала ночами, превратилась в прозрачную тень и в итоге — успела только вызвать себе скорую: почки отказали. Подключили к аппарату, но Похоронили её через неделю. А муж? Тот самый, «безнадёжный», через три меся-

да уже гулял с новой женой, младожавой вдовой. Вере было очень жалко тётю Марину.

Эта мысль обожгла Веру: а что, если её великая жертва — это не спасение матери, а **топливо для её деспотизма**? Что, если мама жива лишь потому, что ежедневно пьёт Верину жизнь, как парное молоко? И стоит Вере «свалиться», как мама — эта «немошная» старуха — встряхнётся, перешагнёт через её тело и пойдёт искать себе новую пищу?

Она ела и думала: «Вечером ещё второй офис. Небольшой, там быстро — час-полтора, не больше. Успею, как всегда, не задержаться и вовремя вернуться к ужину. Надо купить хлеб по дороге. Старый совсем засох, иначе мама будет ругаться. Лук кончился, мама кушает жаренную картошку только с луком».

Вдруг у Веры точно искра какая в сознании промелькнула, или почудился ей чей-то чужой, замогильный голос, внятно прошептавший: «**Я накажу и тебя за вину матери**». И эхом, настойчиво, повторил то же снова. Вера вздрогнула всем телом, лихорадочно отмахнулась, прогоняя наваждение, и укорила себя за то, что пускает в душу подобную болезненную чушь.

«Вера доела последнюю ложку остывшего борща. В тишине кухни кран капнул один раз — тяжело, весомо, точно поставил точку в конце приговора.

Она спросила себя: «**А не является ли моя преданность лишь способом не жить свою жизнь?**»

Вера посмотрела на свои покрасневшие руки. Она поняла, что с каждой такой ложкой она не просто обслуживает распад — она **впитывает его в себя**, пока в жилах вместо крови не останется одна холодная «административная» воля её матери. Она выключила свет. Пошла прилечь, отдохнуть. Скоро надо будет идти во второй офис — туда, где её ждала другая, чистая пустота».

ГЛАВА 7. ПОСЛЕ ТАРЕЛКИ

ВЕРА МОЕТ ПОСУДУ

Когда Серёжа вышел в прихожую надевать куртку, а Анна Кирилловна снова принялась пересчитывать оставшиеся деньги, Вера поднялась и отошла от окна.

Тарелка Сергея лежала в раковине.

Она почти чистая. Серёжина.

Он всегда доедал всё до последней капли. Даже во время похмелья.

Мать потом называла его неблагодарным, паразитом, алкоголиком, но каждый раз подкладывала ему лучший кусок мяса. И сама же потом страдала от этого.

Вторая тарелка была с недоеденным борщом, мать всегда недоедала.

Борщ остыл.

На поверхности застывали маленькие островки жира.

Вера взяла материну и свою пустую тарелки и подошла к раковине.

Старый смеситель опять подтекал.

Капля собиралась на носике крана долго-долго, словно раздумывала, падать ей или нет, потом срывалась вниз.

Кап.

Кап.

Кап.

Этот звук Вера слышала уже много лет.

Иногда ей казалось, что именно так и проходит жизнь.

Не годами.

Не месяцами.

А каплями.

Каждая отдельно почти ничего не значит.

Но потом оглядываешься — и уже прошло двадцать лет.

Она пустила воду.

Горячая пошла не сразу.

Трубы долго кашляли, сипели, плевались ржавчиной.

Дом старел.

Всё вокруг старело.

Доски пола. Крыша. Забор.

Даже яблоня во дворе уже не цвела так, как раньше.

И мать старела.

И Серёжа.

И она сама.

Только почему-то все в доме старели по-разному.

Мать старела шумно.

Каждый день сообщая миру о своей старости.

О своих болезнях.

О давлении.

О сердце.

О том, что у неё нет сил.

О неблагодарных детях.

Серёжа старел лениво.

Будто сползал по жизни куда-то вниз, не сопротивляясь.

А Вера...

Вера вдруг поймала себя на мысли, что не знает, как стареет она.

Потому что для этого нужно сначала жить.

А она последние годы будто только обслуживала чужую жизнь.

Она намылила губку хозяйственным мылом. Мать в свои особо истеричные дни, специально выходила из своей комнаты, чтобы проследить чем Вера моет посуду, и заставляла мыть посуду только им

Вера прикрыла воду. Грязная жирная плёнка на тарелке матери закружилась в воронке, и на мгновение в этом сером маслянистом круге она увидела не своё лицо. Сквозь мутную воду на неё смотрели **глаза светловолосого подростка**, пронзительно-ясные, но уже с небольшими морщинами. Это длилось секунду — ровно столько, сколько нужно было капле, чтобы сорваться с крана. Когда капля ударила о дно раковины, отражение рассыпалось. Вера вздрогнула, но в раковине была лишь пена хозяйственного мыла, пахнувшая пустотой. Ей показалось, что кран не просто капает, а **отсчитывает удары сердца**, которое так и не начало биться пятьдесят лет назад.

Белая пена медленно поползла по тарелке.

В детстве ей нравилось мыть посуду.

Тогда это казалось взрослым занятием.

Мать хвалила её.

Иногда даже гладила по голове.

«Вот умница растёт».

Почему-то именно это воспоминание сейчас кольнуло особенно больно.

Не потому, что его было жалко.

А потому, что оно было редким.

Очень редким.

Большинство воспоминаний о матери выглядело иначе.

Не объятия.

Не ласка.

Не праздники.

А бесконечные тревоги.

Бесконечные предупреждения.

«Не доверяй людям».

«Смотри, обманут».

«Все только о себе думают».

«Каждый за своё горло держится».

Когда-то Вера считала эти слова мудростью.

Потом жизненным опытом.

Теперь начала подозревать, что это уже была болезнь.

Та самая болезнь, которой мать болела всю жизнь.

Недоверие.

Она поставила чистую тарелку сушиться.
В комнате за стеной скрипнула дверь.
Анна Кирилловна снова пошла проверять деньги.
Третий раз.
И вдруг Вера подумала:
"А ведь она проверяет не деньги."
Мысль появилась неожиданно.
Как появляется иногда солнечный луч среди туч.
Она даже перестала мыть тарелку.
Нет.
Мать проверяла не деньги.
И не шкаф.
И не замок.
И не документы.
Она всё время проверяла мир.
Словно хотела убедиться:
не предали ли её снова.
Не обманули ли.
Не бросили ли.
Не отняли ли что-нибудь.
И эта мысль вдруг потянула за собой другую.
Более страшную.
А если мать прожила всю жизнь не с людьми...
А со своим страхом?
Вера замерла.
Вода продолжала течь.

Пена медленно оседала.

А мысль росла.

Если это так...

Тогда кого она всю жизнь любила?

Детей?

Или свой страх за детей?

Мужа?

Или страх остаться одной?

Дом?

Или страх потерять дом?

Вера испугалась собственных рассуждений.

Потому что они были похожи на предательство.

Каждый ребёнок в глубине души хочет верить, что мать любит его просто так.

Не за что-то.

Не из страха.

Не из чувства собственности.

Просто любит.

Но сейчас эта вера вдруг дала трещину.

И Вера почувствовала то странное ощущение, которое бывает у человека, случайно увидевшего изнанку знакомой картины.

Картина остаётся прежней.

Но смотреть на неё уже невозможно так, как раньше.

За дверью снова скрипнули половицы.

Мать ходила по дому.

Проверяла.

Слушала.

Подозревала.

Боялась.

И впервые в жизни Вере стало страшно не за мать.

А быть рядом с матерью.

Вера замерла, слушая, как мать за стеной ищет свой «сейф». Ей вспомнилось странное чувство, которое, должно быть, знакомо каждому: *«Вы часто чувствуете, что внутри вас скрыт огромный океан возможностей, но ваша жизнь превратилась в узкий коридор, где вы вынуждены изо дня в день подкрашивать эти чужие стены, боясь признаться себе, что краска уже давно закончилась».*

СЕРЁЖА И БУТЫЛКА ПИВА

Серёжа не просто вышел — он почти выбежал из дома сразу же, как только поел. Уходил торопливо, со страхом в спине. Пока опять не привязалась. Пока не позвала обратно. Пока не завела очередную унылую лекцию о совести, загубленном здоровье и материнских слезах.

Вере казалось, что мать сорвалась на неё не вдруг. Сначала этот параноидальный припадок запустил Сергей, который, возможно, более часа выклянчивал из неё деньги на пиво, обещая, что это последний раз, и что на днях он ей отдаст весь долг. Она дала, чтобы отвязался. Верина задержка на

работе усугубила её нервозность, погрузив в пучину дикого, неконтролируемого страха.

Через пять минут он уже стоял у небольшого павильона возле автобусной остановки. Этот магазинчик знал добрую половину его жизни. Когда-то сюда бегали за хлебом и молоком. Потом внутри мигали проклятые игровые автоматы, в которых Серёжа просаживал карманные деньги. Потом их шумно убрали, а взамен водрузили стойку с разливным пивом. С тех пор Серёжа и стал здесь своим завсегдатаем.

Продавщица лишних вопросов не задавала. Едва завидев его в дверях, она молча выставила на прилавок двухлитровую пластиковую бутылку пива. Он всегда брал именно её по утрам.

— Как здоровье? — спросила она больше из вежливости.

— Живой пока.

— Ну и хорошо.

Она сказала это равнодушно.

Как говорят о погоде.

О дожде.

О пробке на дороге.

И Серёже вдруг стало неприятно.

Не из-за слов.

А потому что он понял:

для неё он давно уже часть пейзажа.

Как этот магазин.

Как остановка.

Как местный пьяница возле мусорных контейнеров.

Он расплатился и вышел.

Дождь почти закончился.

Серое небо висело над городом низко-низко.

Словно тоже устало.

Бутылку он открыл сразу за магазином.

Сделал несколько больших глотков.

Пиво было холодным.

Горьким.

Живот сразу отозвался знакомым теплом.

Голова начала отпускать.

Мир вокруг стал чуть менее враждебным.

Именно поэтому он и пил.

Не ради веселья.

Не ради компании.

Не ради праздника.

А ради этих нескольких минут.

Когда внутри становится тише.

Когда перестаёт скрипеть совесть.

Когда замолкает страх.

Когда можно не думать.

Он медленно пошёл домой.

Бутылка оттягивала карман куртки.

Возле соседнего дома какая-то женщина ругалась на сына-школьника.

Мальчишка стоял, опустив голову.

Женщина кричала.

Он молчал.

И Серёжа вдруг невольно вспомнил себя.

Лет тридцать с лишним назад.

Точно так же стоящего перед матерью.

Точно так же слушающего упрёки.

Только тогда всё ещё казалось временным.

Тогда впереди была жизнь.

Теперь впереди был вечер.

Потом ещё один вечер.

Потом ещё.

И почему-то именно эта мысль показалась особенно страшной.

Дома Анна Кирилловна уже сидела возле телевизора.

По телевизору обсуждали какие-то политические скандалы.

Кто-то кого-то обвинял.

Кто-то оправдывался.

Кто-то обещал разобраться.

Всё было удивительно похоже на жизнь их семьи.

Серёжа в своей комнате сел на своё любимое место возле окна.

Открыл бутылку.

Сделал глоток.

Потом ещё один.

Анна Кирилловна посмотрела на него исподлобья, когда

он проходил в свою комнату.

Но ничего не сказала, сама дала деньги.

У неё был свой странный ритуал.

Сначала она давала деньги.

Потом ненавидела себя за это.

Потом ненавидела сына.

Потом жалела сына.

Потом снова давала деньги.

Этот круг повторялся столько лет, что уже стал частью домашнего уклада.

Вера слышала, как шипит открываемая бутылка.

Слышала, как брат пьёт.

Слышала, как мать делает вид, что не замечает.

И вдруг ей показалось, что весь их дом живёт не людьми.

А привычками.

Старый дом держался не на фундаменте.

А на повторении.

На бесконечном повторении одних и тех же слов.

Одних и тех же обид.

Одних и тех же ошибок.

Серёжа тем временем уже выпил полбутылки.

Лицо его немного ожило.

Щёки порозовели.

Даже взгляд стал увереннее.

И вот это всегда поражало Веру больше всего.

Несколько глотков пива делали из несчастного человека

почти нормального.

Почти.

Но именно это "почти" и было главным обманом.

Потому что через пару часов всё возвращалось обратно.

Он посидел ещё немного.

Потом взял сигареты.

Натянул куртку.

И вышел во двор курить.

Теперь ему казалось, что жить стало легче.

Но где-то глубоко внутри уже шевелилось неприятное чувство.

То самое чувство, которое приходит к человеку, когда он понимает:

он снова сделал именно то, что обещал себе больше никогда не делать.

СЕРЁЖА ВО ДВОРЕ

Во дворе было сыро.

Дождь уже закончился, но вода ещё капала с крыши сарая.

Кап.

Кап.

Кап.

Серёжа вышел под навес и закурил.

После половины бутылки жизнь всегда становилась немного терпимее.

Не лучше.

Не счастливее.

Именно терпимее.

Будто кто-то убавлял громкость у всех неприятных мыслей сразу.

Он затанулся и посмотрел на старый дом.

Дом выглядел усталым.

Как старый человек, который давно перестал бороться со временем.

Когда-то дед строил его своими руками.

Тогда это считалось почти подвигом.

Серёжа ещё помнил рассказы отца.

Как таскали кирпич.

Как доставали доски.

Как экономили на всём.

Как мечтали.

Тогда слово "дом" означало будущее.

Теперь оно означало прошлое.

И это почему-то было особенно неприятно.

Он выпустил дым.

Ветер сразу разорвал его на клочья.

Серёжа вдруг подумал, что вся его жизнь стала похожа на этот дым.

Столько разговоров.

Столько обещаний.

Столько планов.

И всё исчезло.

Он ведь не всегда был таким.

По крайней мере ему хотелось в это верить.

Когда-то он тоже собирался жить нормально.

Работать.

Жениться.

Даже детей хотел.

У всех были дети.

У друзей.

У одноклассников.

Даже у того дурака Кольки, который в школе еле читал по слогам.

А у него ничего не получилось.

Сначала казалось: ещё успеется.

Потом: не сейчас.

Потом: уже поздно.

Так незаметно для себя он начал пить.

Доказывать начальству, что выпивший он лучше работает...

И жизнь как-то незаметно стала происходить без него.

Он смотрел, как другие покупают квартиры.

Меняют машины.

Женятся.

Разводятся.

Растят детей.

А сам будто стоял на обочине дороги, и смотрел на жизнь

со стороны.

Словно опоздал на поезд много лет назад и так и остался на пустом перроне.

И вдруг внутри поднялась привычная волна раздражения.

На кого?

Он и сам не знал.

На мать.

На отца.

На страну.

На начальников.

На бывших друзей.

На себя.

Особенно на себя.

Но на себя было тяжелее всего.

Потому что если виноват ты сам — тогда уже не на кого жаловаться.

А Серёжа любил жаловаться.

Не вслух.

Внутри.

Как умеют многие неудачники.

Он мог часами объяснять себе, почему жизнь сложилась неправильно.

Почему другие получили больше.

Почему ему не повезло.

Почему всё получилось именно так.

Но иногда приходили минуты вроде этой.

Короткие.

Неприятные.

Почти трезвые.

И тогда становилось невозможно врать самому себе.

Потому что правда была слишком простой.

Его никто не заставлял пить.

Никто не заставлял выпивать на работе.

Никто не заставлял занимать деньги.

Никто не заставлял в сорок лет жить на шее у матери и сестры.

Эту мысль он ненавидел больше всего.

Потому что она была справедливой.

А справедливые мысли часто причиняют больше боли, чем несправедливые.

Он затушил сигарету.

Сразу достал вторую.

Закурил.

Мать сейчас опять сидит у телевизора.

Вера моет посуду, потом полы, вытирает пыль.

И каждая считает себя жертвой.

Тут он усмехнулся.

Странной кривой усмешкой.

Потому что внезапно подумал:

"А ведь я тоже считаю себя жертвой."

И от этой мысли стало не по себе.

На несколько секунд ему даже захотелось вернуться до-

мой.

Подойти к Вере.

Сказать:

"Прости."

За всё.

За годы.

За деньги.

За ложь.

За то, что она работает на двух работах уборщицей, потому что не может надолго оставлять мать одну, пока он ищет причины своей несчастной жизни.

Но уже через минуту эта мысль начала растворяться.

Сначала появилась другая:

"А что изменится?"

Потом ещё одна:

"Все они тоже хороши."

Потом третья:

"Мать сама меня таким сделала."

И Серёжа почти с облегчением почувствовал, как возвращаются привычные оправдания.

Они были как старое одеяло.

Грязное.

Рваное.

Но знакомое.

Без них было слишком холодно.

Он посмотрел на тёмное окно кухни.

За этим окном сейчас находились два человека, которых он любил.

И которых иногда ненавидел.

Причём часто одновременно.

И вдруг ему пришло в голову, что, может быть, вся их семья давно перестала жить любовью.

Они жили виной.

Мать чувствовала вину перед детьми.

Он чувствовал вину перед матерью.

Вера чувствовала вину перед всеми.

И каждый старательно расплачивался этой виной каждый день.

Как платят бесконечный долг, который невозможно погасить.

Серёжа вздрогнул.

Потому что мысль показалась слишком умной для него.

Слишком опасной.

Он быстро отбросил её.

Открыл бутылку.

Сделал большой глоток.

Потом ещё один.

И почти физически почувствовал, как внутри становится тише.

Не лучше.

Нет.

Просто тише.

А это для него давно уже было почти счастьем.

АННА ОДНА

Когда Серёжа вышел во двор, а Вера всё ещё возилась на кухне, Анна Кирилловна осталась одна в своей комнате.

Она закрыла дверь не до конца.

Полностью закрывать двери она давно перестала.

Ей всё время казалось, что в доме должно быть слышно всё.

Каждый шаг.

Каждый разговор.

Каждый шорох.

Когда-то она объясняла это заботой о близких.

Теперь уже сама не могла бы честно сказать, забота это или страх.

Комната была небольшой.

Узкая кровать.

Шкаф.

Старое трюмо.

Фотографии на стене.

Ничего особенного.

Таких комнат тысячи.

Но человеку свойственно наполнять вещи собственной жизнью, и поэтому каждая старая комната со временем начинает напоминать своего хозяина.

Комната Анны Кирилловны была похожа на неё саму.

В ней всё хранилось.

Старые открытки.

Квитанции десятилетней давности.

Рецепты лекарств.

Письма.

Записные книжки.

Пожелтевшие фотографии.

Она иногда сама не помнила, зачем хранит половину этих вещей.

Но выбросить не могла.

Словно каждая бумажка удерживала какой-то кусочек прошлого.

Она села на край кровати.

За окном медленно качались голые ветви яблони.

Старое дерево посадил ещё свёкор.

Тогда дом только строился.

Анна вдруг вспомнила тот день так ясно, словно это произошло вчера.

Свёкор стоял по колена в глине, молодой ещё мужчина с сильными руками, и объяснял соседу, где будет сад.

Её будущий муж носил кирпичи.

Смеялся.

Курил.

Спорил о чём-то.

Всё тогда казалось впереди.

Дом ещё не был домом.

Он был надеждой.

И как странно получилось, подумала она вдруг, что люди строят дом для будущего, а живут потом главным образом воспоминаниями.

Мысль показалась ей неприятной.

Она отвернулась от окна.

На трюмо стояла фотография мужа.

Та самая.

Любимая.

Сделанная ещё до свадьбы.

Он смотрел куда-то в сторону и слегка улыбался.

Эта фотография всегда раздражала Анну.

Даже теперь.

Потому что на ней он улыбался не ей.

Кому-то другому.

Молодости.

Жизни.

Самому себе.

Она вдруг поймала себя на том, что уже несколько минут смотрит на фотографию с обидой.

И сразу рассердилась.

На себя.

На память.

На старость.

На весь этот день.

«Совсем с ума схожу», — подумала она.

Но мысль не ушла.

Наоборот.

Зацепилась за другую.

А потом за третью.

Как это часто бывало в последние годы.

Сначала человек думает об одном.

Потом мысль незаметно начинает тянуть за собой другие.

И вдруг оказывается, что сидишь уже не в своей комнате,

а где-то внутри собственного прошлого.

Анна вспомнила мужа.

Потом сына.

Потом маленькую Веру.

Вера в детстве почти не плакала.

Тихий ребёнок.

Послушный.

Удобный.

Она всегда считала это достоинством.

И только сейчас вдруг подумала:

а может быть, ребёнок просто боялся её расстраивать?

Эта мысль появилась неожиданно и сразу не понравилась ей.

Потому что за ней открывалась целая цепочка других мыслей.

Неприятных.

Опасных.

Таких, которые лучше не трогать.

Она быстро встала.

Подошла к шкафу.

Начала переключать какие-то вещи.

Но от себя невозможно уйти даже на другом конце комнаты.

Мысль всё равно возвращалась.

Вера никогда не спорила.

Вера никогда ничего не требовала.

Вера всегда уступала.

И вдруг Анна почувствовала лёгкое беспокойство.

А что, если это было не уважение?

Что, если это была усталость?

Она остановилась посреди комнаты.

Старая кофта осталась в руках.

За дверью слышался шум воды.

Вера продолжала мыть посуду.

И впервые за долгое время Анна Кирилловна почувствовала что-то странное.

Не страх.

Не раздражение.

Не обиду.

Что-то другое.

Очень похожее на смутное предчувствие.

Будто между ней и дочерью медленно выросла невидимая стена.

И самое страшное заключалось не в том, что стена появилась.

А в том, что она не могла вспомнить, когда именно началось её строительство.

Может быть, год назад.

Может быть, десять лет назад.

А может быть, в тот самый день, когда она впервые решила, что знает лучше всех, как должны жить её дети.

Анна тяжело опустилась обратно на кровать.

За окном качались ветви яблони.

Дом тихо поскрипывал старым деревом.

И вдруг ей стало очень одиноко.

Не потому, что рядом не было людей.

Люди как раз были.

Сын.

Дочь.

Соседи.

Знакомые.

Телевизор.

Поликлиника.

Магазин.

Весь привычный мир оставался на месте.

Но впервые за долгое время ей показалось, что этот мир понемногу отдаляется от неё.

Словно поезд уже тронулся, а она всё ещё стоит на платформе и пытается убедить себя, что успеет запрыгнуть в по-

следний вагон.

ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ СТЕНУ

После обеда Анна Кирилловна несколько раз выходила во двор, потом возвращалась, смотрела телевизор, жаловалась на давление, искала очки, которые лежали у неё на голове, снова проверяла деньги, заглядывала в сервант и наконец устала сама от себя.

Серёжа после выпитого пива стал непривычно разговорчивым.

Рассказывал какие-то старые истории.

Вспоминал соседей.

Даже пару раз пошутил.

И Анна Кирилловна, как всегда, бывало, после его выпивки, начала понемногу успокаиваться.

Странное дело: она ненавидела его пьянство и одновременно боялась его трезвости.

Пьяный Серёжа был слабым, жалким и понятным.

Трезвый же иногда начинал думать.

А думающий человек всегда опаснее зависимого.

Особенно для тех, кто привык руководить его жизнью.

К десяти часам вечера Вера ушла в свою комнату.

Завтра нужно было вставать ещё затемно.

Первый офис она убирала до начала рабочего дня, пока сотрудники не пришли на работу.

Потом нужно было успеть домой, справиться по хозяйству, а вечером идти во второй офис.

Иногда ей казалось, что вся её жизнь состоит из чужой грязи.

Утром она убирала следы чужих праздников.

Днём — следы жизни собственной семьи.

Вечером снова возвращалась к чужим столам, чужим чашкам, чужим мусорным корзинам.

Она легла поверх одеяла.

В комнате было прохладно.

За окном ветер осторожно трогал ветви старой яблони.

Дом поскрипывал.

Где-то в стене тихо щёлкнула доска.

Потом ещё одна.

Дом словно разговаривал сам с собой.

Сон не приходил.

Вера закрыла глаза.

И почти сразу услышала голос матери.

Тихий.

Совсем не такой, каким он был днём.

Дневная Анна Кирилловна и вечерняя Анна Кирилловна были словно двумя разными женщинами.

Днём она обвиняла.

Ночью жалела.

Днём требовала.

Ночью просила.

— Серёженька... ты спишь?

Из соседней комнаты донеслось:

— Нет ещё.

После этого наступила пауза.

Длинная.

Неловкая.

Такая пауза бывает между людьми, которые давно знают, о чём будут говорить, но всё равно каждый раз начинают одинаково.

— Ты бы бросал это дело...

Серёжа негромко вздохнул.

Вера даже представила этот вздох.

Представила, как брат лежит на продавленном диване, смотрит в ноутбук, играет в свою любимую игру, и заранее знает весь разговор до последнего слова.

— Какое дело?

— Сам знаешь какое.

— Понятно.

— Серёжа, я серьёзно.

Голос матери дрогнул.

И Вера вдруг поймала себя на мысли, что сейчас говорит не та женщина, которая днём подозревала её в попытке отравления.

Сейчас говорила мать.

Просто мать.

Старая, напуганная и очень одинокая.

— Я ведь не вечная...

В комнате стало тихо.

Даже ветер за окном будто притих.

— Мам, опять начинается.

— Нет, послушай.

Ты всё шутишь, а мне страшно.

Мне правда страшно.

Вот умру я...

И что дальше?

Серёжа снова тяжело вздохнул.

Вера знала этот вздох.

В нём всегда смешивались раздражение, жалость и усталость.

— Не умрёшь ты.

— Все умирают.

— Ну не сейчас же.

— А когда?

Серёжа не ответил.

Именно такие вопросы всегда заводили разговор в тупик.

Потому что они были слишком настоящими.

Анна Кирилловна продолжала уже тише:

— Ты ведь хороший был мальчик.

Все тебя любили.

Учителя хвалили.

Помнишь?

Серёжа невесело усмехнулся.

— Помню.

— И что с тобой случилось?

Этот вопрос она задавала много лет.

Но никогда не ждала ответа.

Потому что настоящего ответа не существовало.

Жизнь редко ломается в одном месте.

Чаще она трескается понемногу.

Год за годом.

Решение за решением.

Слабость за слабостью.

— Исправлюсь, мам.

Сказал он тихо.

Почти автоматически.

Как человек, который произносит молитву, в которую давно не верит.

И Анна Кирилловна это почувствовала.

Почувствовала сразу.

Но всё равно ухватилась за эти слова.

Как утопающий хватается за ветку.

— Правда?

— Правда.

— Работу найдёшь?

— Найду.

— Пить бросишь?

— Брошу.

И снова наступила тишина.

Оба понимали, что говорят неправду.

Серёжа понимал.

Анна Кирилловна понимала.

Наверное, даже стены этого дома понимали.

Но отказаться от этой лжи они уже не могли.

Потому что тогда пришлось бы признать нечто гораздо более страшное.

Что завтра будет почти таким же, как сегодня.

И послезавтра тоже.

И через месяц.

И через год.

Анна Кирилловна вдруг всхлипнула.

Тихо.

По-стариковски.

Словно плакала уже не от горя, а от изнеможения.

— Господи... за что мне всё это...

Вера лежала с закрытыми глазами.

Раньше в такие минуты ей всегда становилось жалко мать.

Потом жалко брата.

Потом обоих сразу.

Но сегодня жалости не было.

Она неожиданно почувствовала другое.

Усталость.

Тяжёлую.

Глубокую.

Почти физическую.

Словно она много лет несла на плечах огромный груз и только сейчас поняла, что никто не собирается помочь ей его нести.

Мать будет спасать Серёжу.

Серёжа будет обещать исправиться.

И оба будут повторять этот разговор снова и снова.

Неделю спустя.

Месяц спустя.

Год спустя.

Пока кто-нибудь из них не умрёт.

И впервые за долгое время Вера не захотела вмешиваться.

Не захотела утешать.

Не захотела объяснять.

Она просто лежала в темноте и слушала, как за тонкой стеной два самых близких ей человека продолжают поддерживать жизнь в старой семейной лжи, без которой уже не умеют существовать.

НОЧЬ

После разговора за стеной наступила тишина.

Но это была не настоящая тишина.

Настоящей тишины в старых домах не бывает.

Особенно ночью.

Особенно в таких домах, которые прожили уже несколько человеческих жизней и успели вобрать в себя слишком мно-

го чужих голосов, страхов и воспоминаний.

Вера лежала неподвижно.

Глаза её были закрыты.

Но сон не приходил.

Она давно заметила, что сильная усталость не всегда помогает уснуть.

Иногда бывает наоборот.

Тело уже не может двигаться.

А сознание продолжает работать с болезненной ясностью.

Словно организм из последних сил пытается решить какую-то задачу, от которой зависит его существование.

Дом жил своей ночной жизнью.

Где-то глубоко в стенах тихо поКапивали трубы отопления.

Сначала редко.

Потом чаще.

Будто кто-то невидимый осторожно касался их металлическим молоточком.

За окном шумел ветер.

Не сильный.

Весенний.

Но настойчивый.

Он ходил вокруг дома, словно проверяя его на прочность.

Старые ветви яблони царапали стену.

Изредка поскрипывали доски пола.

В соседней комнате кашлянула мать.

Коротко.

Сухо.

Потом ещё раз.

Потом долго ворочалась кровать.

И снова наступала тишина.

Вера лежала и слушала всё это.

Много лет подряд она засыпала под эти звуки.

Они стали частью её жизни настолько, что иногда ей казалось: если однажды всё это исчезнет, она испугается ещё больше.

И тут же возникла мысль, от которой ей стало не по себе.

А что останется после смерти матери?

Дом?

Стены?

Старые фотографии?

Шкафы?

Посуда?

Она попыталась представить дом без Анны Кирилловны.

И не смогла.

Не потому, что любила мать больше жизни.

А потому, что мать давно стала частью самого пространства.

Как печка.

Как крыша.

Как старые яблони во дворе.

Всё это было связано между собой.

И всё это постепенно разрушалось.

В соседней комнате снова закашляли.

На этот раз кашель был долгим.

Надсадным.

Старческим.

Вера невольно напряглась.

Прислушалась.

Подождала.

Потом услышала, как мать пьёт воду.

Как ставит стакан на тумбочку.

Как снова ложится.

Обычный ночной ритуал.

Повторяющийся уже много лет.

И вдруг Вера поймала себя на мысли, что знает каждый звук этого дома.

Каждый.

Вот сейчас скрипнет половица возле шкафа.

Вот сейчас ветер качнёт ставню.

Вот сейчас труба щёлкнет ещё раз.

Она знала всё.

До мелочей.

До последнего скрипа.

До последнего вздоха.

И от этого знания ей неожиданно стало страшно.

Не потому, что дом был старым.

Не потому, что мать старела.

Не потому, что брат пил.

А потому, что сама её жизнь словно остановилась.

Человек может привыкнуть почти ко всему.

К бедности.

К усталости.

К унижениям.

К одиночеству.

Но однажды наступает момент, когда привычка начинает выглядеть страшнее несчастья.

Потому что несчастье хотя бы обещает перемены.

А привычка не обещает ничего.

Вера открыла глаза.

В комнате было темно.

Только слабый свет фонаря проникал сквозь занавеску.

На потолке качались размытые тени ветвей.

Она вдруг вспомнила себя в шестнадцать лет.

Потом в двадцать.

Потом в двадцать пять.

Каждый раз ей казалось, что настоящая жизнь вот-вот начнётся.

Нужно только немного потерпеть.

Немного подождать.

Немного помочь матери.

Немного поддержать брата.

Немного поработать.

Немного сэкономить.

Немного позже подумать о себе.

И вот это «немного позже» растянулось на годы.

На десятилетия.

Она вдруг начала мысленно считать.

Шестнадцать.

Двадцать.

Двадцать пять.

Тридцать.

Тридцать пять.

Сорок.

Цифры проходили перед ней медленно и тяжело.

Словно чужие.

Словно речь шла не о ней.

Потому что внутри она по-прежнему чувствовала себя человеком, который только собирается жить.

Только собирается начать.

Только готовится.

Но жизнь уже шла.

Шла давно.

Шла без спроса.

Шла каждый день.

Пока она мыла посуду.

Убирала офисы.

Готовила еду.

Стирала бельё.

Выслушивала жалобы.

Мир не ждал её.

Он проходил мимо.

И эта мысль внезапно ударила с такой силой, что Вера села на кровати.

Сердце часто забилося.

Она почувствовала странное ощущение.

Будто много лет находилась в комнате без окон и только сейчас увидела дверь.

Не выход.

Только дверь.

Но даже это уже было страшно.

Потому что за дверью начиналась неизвестность.

Потому что некоторые двери ведут не наружу, а глубже внутрь собственной клетки.

А неизвестности её никогда не учили.

Её учили терпеть.

Помогать.

Жертвовать.

Понимать.

Прощать.

Но никто никогда не учил жить для себя.

В соседней комнате снова послышался кашель матери.

Потом скрип кровати.

Потом тишина.

И вдруг Вера ясно поняла одну вещь, которую раньше не решалась даже сформулировать.

Поняла без злобы.

Без ненависти.

Без желания обвинять.

С холодной и почти пугающей ясностью.

Она не живёт.

Уже много лет не живёт.

Она существует внутри чужой жизни.

Внутри чужих страхов.

Внутри чужих проблем.

Внутри чужих решений.

Как человек, который настолько долго нёс чужой груз, что забыл, куда сам собирался идти.

И тогда впервые за много лет в её сознании прозвучали слова, от которых она сама вздрогнула.

Не вслух.

Не шёпотом.

Только внутри.

Но настолько отчётливо, словно кто-то произнёс их рядом.

«Я здесь не живу.

Я здесь медленно исчезаю».

За окном ветер качнул старую яблоню.

Дом тихо скрипнул.

А Вера ещё долго лежала в темноте, не замечая, что по её щекам текут слёзы, которых она сама не чувствовала.

ГЛАВА 8. МАТЕМАТИКА ИЗБАВЛЕНИЯ

ВЕЧЕРНЯЯ КУХНЯ И КАПАЮЩИЙ КРАН

Наступали те самые сумерки, точно такие же мертвенные, жёлтые и душные, как и вчера, как и три дня назад, как и во все эти бесконечные, проклятые недели. Тот же самый неотвязный, чахоточный вечер заглядывал в небольшое окошко, принося с собой всё ту же прежнюю, наболевшую тоску и сознание, что завтра, и послезавтра, и через год повторится всё та же позорная, однообразная чепуха.

Посуда была вымыта уже давно.

Вера это знала — знала точно, потому что последнюю тарелку она поставила в сушилку минут сорок назад, или пятьдесят, она не следила за временем, время в такие часы теряло обычную свою структуру и становилось чем-то другим — не часами и минутами, а слоями, один за другим, тяжёлыми, как напитанная водой ткань. Посуда была вымыта. Стол вытерт. Кастрюля стояла на плите чистая, с откинутой крышкой, как открытый рот.

Она продолжала мыть.

Не потому, что было грязное — потому что руки продол-

жали двигаться, и останавливать их было хуже, чем позволить им продолжать.

Это она поняла давно: есть состояния, в которых движение является единственной формой существования, в которых остановиться означает позволить тому, что внутри, подняться на поверхность — а она не была готова к тому, что поднимется, не сегодня, не после всего, что было сегодня.

Горячая вода шла из крана — она сделала её почти кипятком, тот предел, который обычный человек не выдерживает без перчаток. Она выдерживала. Давно выдерживала. Руки привыкли — покраснели, растрескались по костяшкам теми мелкими зимними трещинами, которые не успевали заживать, потому что руки снова оказывались в воде с химией, потому что крем лежал в ящике, и она забывала, потому что было некогда, потому что всегда было что-то важнее крема на руках.

Щёлочь хозяйственного мыла въелась в трещины.

Она это чувствовала — острое, точечное жжение в каждой трещине отдельно, как будто кто-то методично, по одной, отмечал их присутствие. Это было единственным ощущением, которое было сейчас полностью отчётливым, полностью настоящим — это жжение. Всё остальное — кухня, стены, запах, темнота за окном — было как через слой чего-то мутного, как бывает утром после очень короткого сна, когда глаза открыты, но мир ещё не стал реальным.

Дом дышал.

Это было точное слово, и она думала именно им, не «скрипел» и не «шумел», а именно — дышал. Потому что у этого звука был ритм, медленный и неровный, как ритм живого существа — то тихий выдох дерева в стенах, которое расширялось и сжималось от тепла и холода, то далёкий гул батареи в коридоре, низкий, почти на грани слышимости, то шорох где-то под крышей, ветер или птица, — и всё это вместе было дыханием дома, который жил собственной жизнью, не зависящей от того, что происходило внутри него с людьми.

Дом пережил многое.

Он переживёт и это.

Эта мысль пришла неожиданно, и она не стала её прогонять — позволила ей быть, как позволяют быть мыслям, которые неприятны, но честны. Дом переживёт всех. Уже пережил отца — Пётр Алексеевич умер пять лет назад, тихо, от сердца, во сне, и это было, пожалуй, единственной вещью в его жизни, которую мама не успела прокомментировать. Переживёт маму. Переживёт её. Переживёт Серёжу. Будет стоять — со своими скрипящими полами и пятном на потолке и синей кружкой на крючке — и дышать, и кому-то другому будет казаться, что это дыхание его.

Запах сегодняшнего вечера всё ещё стоял в воздухе.

Она различала его слоями — так, как различают запахи люди, которые давно живут в одном месте и знают каждый его запах отдельно.

Верхний слой: вчерашний борщ, пережжённый чуть, по-

тому что она отвлеклась на очередную мамино требование, и не убавила вовремя жарку.

Под ним: хозяйственное мыло, то самое, которым мыла. Глубже: что-то давнее, постоянное, то, что не выветривается никакими открытыми окнами — запах старости и тревоги, который живёт в домах, где болеют долго, где боятся долго, где жизнь давно перестала быть жизнью и стала ожиданием чего-то, что всё не приходит и не приходит.

Запах страха.

Она думала именно этими словами, и слова были точными.

В этом доме давно пахло страхом — маминым страхом прежде всего, тем глубоким, иррациональным, страхом деменции, который не поддаётся логике и не убирается объяснениями, страхом человека, который не понимает, что происходит, и поэтому боится всего. Но и другим страхом тоже — её собственным, которого она не называла вслух и почти не называла про себя, но который был, который жил в ней давно, и имя ему было: страх не успеть.

Страх, что кончится — она сама кончится — раньше, чем кончится то, что её держит.

Кран капал.

Григорий починил его три недели назад.

Новая прокладка, пять минут работы, и сказал: готово. И кран молчал три недели — она успела отвыкнуть от капания, успела привыкнуть к тишине, и теперь капание вернулось,

и оно было громче, чем раньше, потому что тишина успела занять это пространство и теперь уступала его неохотно.

Кап.

Пауза — длинная, восемь-десять секунд.

Кап.

Она не оборачивалась.

Но знала — Григорий сидит за столом. Знала без оборачивания, тем особым знанием присутствия, которое вырабатывается, когда человек долго находится рядом и его присутствие начинает читаться не глазами, а чем-то другим, более точным. Он сидел — неподвижно, как умел сидеть только он, без той бытовой суеты, с которой обычные люди занимают стул: не поёрзывал, не переставлял руки, не тянулся к кружке. Просто сидел.

И смотрел на её руки.

Она знала, что он смотрит именно на руки — не в первый раз замечала это, в последние недели он часто смотрел на её руки, когда она мыла или резала или несла что-то. Сначала она думала: случайно, взгляд останавливается на движении. Потом поняла: не случайно. Он смотрел на её руки как на что-то, что говорит больше, чем лицо, — и, может быть, так и было. Может, руки говорили то, что лицо умело скрывать: красноту, трещины, усталость, вложенную в каждое движение, которое казалось автоматическим, но не было — за каждым стояло усилие, маленькое, незаметное, но всё равно усилие.

Восемь лет усилий.

Она взяла кастрюлю.

Начала мыть её — внутри давно чисто, но она водила губкой по дну, по стенкам, снова по дну — и думала о сегодняшнем дне. Не о конкретных словах и событиях — о том чувстве, вернее, об отсутствии чувства, которое было сегодня, когда она в очередной раз взяла ложку и съела из маминой тарелки.

Ничего.

Не пустота — пустота предполагает, что что-то было и ушло. Это было другое. Это была ровность. Абсолютная, горизонтальная ровность — как поверхность воды в безветрие, когда нет ни ряби, ни отражений, просто вода. Она взяла ложку.

Она дрожащей рукой зачерпнула — этого борща, бывшего теперь точно символом её обыденного, постыдного преступления перед ними, — и проглотила едва дыша, почти не чувствуя вкуса, точно исполняла какой-то страшный, неизбежный обряд. Медленно, с болезненным сКапом, опустила она ложку на стол и поднялась. Мать смотрела на неё — о, этот кроткий, высасывающий душу взгляд, полный немого укора и затаённого страдания! И Серёжа, Серёжа тоже неотрывно глядел на неё своими пронзительными, лихорадочными глазами, точно силясь разгадать всю её тайну. А она стояла посреди кухни, недвижимая, точно распятая под этими двумя безжалостными взглядами, и чувствовала, как в душе её во-

царяется какая-то мёртвая, леденящая пустота — и ни единого вздоха, ни единого покаянного слова не рождалось в материнном окаменевшем сердце.

А она стояла среди этих взглядов — и ничего.

Когда это стало так?

Она пыталась найти момент — и не могла. Это не было событием, не было днём, когда она проснулась другой. Это был процесс — медленный, незаметный, как медленно оседает дом: год за годом, миллиметр за миллиметром, и ничего не происходит, ничего не трещит, ничего не разрушается явно — просто однажды смотришь на дверной косяк и видишь: перекосился. Незначительно. Но необратимо.

Вот так и с ней.

Что-то перекосилось.

Она не знала когда. Может, в первый год, когда вернулась на «месяц» и осталась. Может, в третий, когда поняла, что не вернётся уже никуда. Может, позже — когда последний раз позвонила подруга Таня и она сказала «я занята», и Таня сказала «ты всегда занята», и обе помолчали, понимая, что говорят не о телефонном разговоре.

Или ещё позже.

Или раньше.

Это не имело значения — момент. Важен был факт: перекосилось. И теперь она мыла чистую кастрюлю поздно вечером, и руки горели от горячей воды, и дом дышал вокруг неё, и Григорий сидел в тени и смотрел на её руки.

— Вера, — сказал он.

— Что.

— Хватит.

Она остановилась.

Посмотрела на кастрюлю — на чистое дно, на блестящие стенки. Поставила её в сушилку. Закрыла воду.

Тишина без воды оказалась другой.

Кран капнул в эту тишину — один раз, громко, отчётливо, как точка в конце фразы.

Она взяла полотенце.

Начала вытирать руки — медленно, по одному пальцу, потом ладонь, потом тыльная сторона. Полотенце было чуть влажным от предыдущего использования — оно не вытирало, а размазывало влагу, и она это знала, и всё равно вытирала, потому что это было движением, а движение было лучше неподвижности.

Посмотрела на руки.

Красные. С трещинами на костяшках — мелкими, белёсыми по краям, с тёмными точками щёлочи в глубине. Чужие почти — она смотрела на них как на что-то не совсем своё, как смотрят на инструмент, который долго использовали и который изнашивался.

Обернулась.

Григорий сидел в полутени.

Свет над плитой был единственным источником — жёлтый, слабый, он доходил до середины стола и там заканчи-

вался, и дальний угол, где сидел Григорий, оставался в той неопределённости между светом и тьмой, которая меняет человека — не делает его другим, но делает его менее читаемым, менее понятным, с бóльшим пространством для того, чем он может оказаться.

Перед ним стояла кружка.

Остывшая давно — она налила ему чай ещё час назад, или больше, — он не пил. Просто держал её на столе как знак намерения остаться. Это тоже была его черта: он умел обозначать своё присутствие предметами, как будто предмет — якорь, удерживающий его в пространстве, пока сам он существует в каком-то другом измерении, менее видимом.

Он смотрел на неё.

Спокойно — без той нарочитой внимательности, которая смущает, без того особого взгляда, который люди замечают и под которым неловко. Просто смотрел. Как смотрят на то, что важно и что не требует торопливости.

Вера взяла табурет.

Села — не напротив, туда бы она садилась в начале, когда они ещё были незнакомы, когда нужна была дистанция и стол между ними. Сейчас она садилась сбоку, через угол — это место стало её местом постепенно, незаметно, без решения, как становятся своими вещи, которые просто всегда оказываются в одном месте.

Положила руки на стол.

Ладонями вниз.

Он посмотрел на них — на красноту, на трещины — и что-то в его взгляде изменилось. Не смягчилось — нет, он не был человеком, у которого что-то смягчалось. Стало точнее. Конкретнее. Как бывает у людей, которые видят то, что искали.

— Болят? — спросил он.

— Нет, — сказала она.

Пауза.

— Врёшь, — сказал он — без обвинения, просто констатация.

— Немного.

Он кивнул.

Они молчали.

За стеной — мамино дыхание. Ровное, с присвистом. Заснула после ужина. Спит. Это означало: можно говорить, можно не думать о том, что услышит, можно позволить себе — что? Она не знала ещё, что именно позволить. Но что-то.

— Ты сегодня в очередной раз сделала то, что не должна была делать, — сказал Григорий.

Она посмотрела на него.

— Я съела борщ из тарелки матери, — сказала она. — Это — не то.

— Именно то, — сказал он. — Ты перестала защищаться.

Она хотела возразить — ощутила это желание физически, как ощущают импульс, который идёт раньше мысли. Но не возразила. Потому что он был прав. Потому что именно это

и было — она перестала. Не сегодня, не в один момент, но сегодня это стало видно, оформилось в действие: взяла ложку, съела, ничего не почувствовала.

Это было не смирение. Это было другое — то, что бывает после смирения, когда смирение тоже кончается и остаётся только механика.

— Я не думала об этом так, — сказала она.

— Я знаю, — сказал он. — Поэтому говорю.

Кран капнул.

Кап.

Пауза.

Кап.

Она смотрела на свои руки.

На трещины.

На щёлочь в трещинах.

И думала о том, что эти руки — её руки, она с ними родилась, они были другими когда-то, гладкими, молодыми, без этих отметин — и что они стали такими постепенно, год за годом, тарелка за тарелкой, кастрюля за кастрюлей, горячая вода каждый день, и щёлочь каждый день, и никакого крема, потому что некогда.

Это были руки человека, которого используют.

Она позволила этой мысли быть — не прогнала, не поправила, не смягчила. Просто позволила.

Руки человека, которого используют.

— Григорий, — сказала она.

— Да.

— Что ты хочешь мне сказать?

Он посмотрел на неё — долго, с той ровностью, которую она разучилась бояться за эти недели и которую теперь чувствовала иначе: не как давление, а как опору. Это было странно — опираться на ровность человека, которого не до конца понимаешь. Но именно это и было. Он не колебался. Он не сомневался. Он не спрашивал разрешения на то, что думал. И в мире, где она всю жизнь спрашивала разрешения — у мамы, у обстоятельств, у собственного страха, — это было как глоток воздуха в помещении, где давно не открывали окон.

— Сначала расскажи мне, — сказал он, — что ты чувствовала, когда ела из её тарелки.

Она открыла рот.

Закрыла.

Потому что честный ответ требовал паузы, требовал того, чтобы она действительно вспомнила и не солгала — ни ему, ни себе.

— Ничего, — сказала она наконец.

— Ничего?

— Ничего. — Она смотрела на стол. — Я взяла ложку. Я съела. Я поставила ложку. Я встала. Ничего.

Он молчал.

— Это плохо? — спросила она — и в этом вопросе было что-то, что она сама не ожидала: настоящее любопытство. Не

риторика, не самобичевание — честное «я не знаю, как это называть».

— Это закономерно, — сказал он.

— Это — что?

— Это закономерно, — повторил он. — Человек, которого долго бьют по одному месту, перестаёт там чувствовать. Это не слабость. Это — защита. Тело умнее нас. Оно выключает то, что болеть не должно бесконечно.

Она смотрела на него.

В этом была правда. Она чувствовала правду — не умом, телом, тем самым телом, которое выключило чувство, чтобы она могла взять ложку и съесть.

— Тогда почему мне от этого не легче? — спросила она.

— Потому что ты умная, — сказал он. — Потому что ты понимаешь, что анестезия — это не лечение. Это только временно. Потом — хуже.

— Хуже как?

— Когда анестезия перестаёт работать, боль приходит сразу за всё время, что не болело. — Он сказал это ровно, как говорят о физиологии, о законе, который не обсуждается. — Я видел это. На людях видел. После войны — когда человек держится, держится, держится — а потом один момент, маленький, ничем не примечательный, — и всё выходит.

— И что с ними становится?

— По-разному, — сказал он. — Зависит от того, есть ли рядом кто-то.

Она смотрела на него.

Понимала, что он имеет в виду.

Кран капнул.

Она встала — неожиданно для себя, резко, — подошла к раковине, попыталась сильнее закрыть кран. Повернула ручку до упора. Подождала. Через восемь секунд — кап.

Она стояла у раковины спиной к нему.

— Он снова сломался, — сказала она. — Только три недели как починил.

— Прокладку надо другую, — сказал Григорий. — Я привезу.

— Не надо.

— Привезу.

Она не ответила.

Стояла и смотрела на кран. На ручку, завёрнутую до упора. На каплю, которая собиралась на носике — медленно, набухала, держалась, потом срывалась вниз. Падала в раковину. Звенела.

Кап.

Она думала о том, что кран — это как всё остальное. Чинишь — ломается снова. Ставишь новое — изнашивается. Держишь — рассыпается. Нет в этом доме ничего, что держалось бы по-настоящему, что не требовало бы постоянного усилия, постоянного внимания, постоянной работы — иначе разваливается, иначе течёт, иначе скрипит, иначе гниёт.

Она обернулась.

Вернулась на своё место.

Посмотрела на него.

— Расскажи мне про войну, — сказала она.

Он рассказывал не часто и не много.

Обрывками — это было его слово, она запомнила его с первого раза, потому что оно было точным: именно обрывками, как выдаются обрывки верёвки, когда длинной верёвки нет и не будет, но обрывки — есть, и ими можно что-то связать, если знаешь как.

Сейчас он говорил — тихо, без пафоса, без той интонации, с которой рассказывают о пережитом ужасе люди, которые хотят, чтобы их пожалели или поняли. Он рассказывал, как факты.

— В Анголе был один случай, — сказал он. — Деревня — небольшая, человек сто. Мирные. Или считались мирными. Мы стояли рядом три недели. Я знал их в лицо — старика, который продавал манго, мальчика, который всегда бегал за нами. — Он помолчал. — Потом оказалось, что они кормили другую сторону. Не сами выбирали — просто так вышло, географически, они были посередине. Кормили всех, кто приходил.

— Что с ними стало?

— Ничего хорошего, — сказал он. — Это не важно. Важно другое. Я помню: когда всё кончилось, я думал о мальчике. О том, что он бегал за нами. Что приносил воду. Что смеялся — у него не хватало двух зубов спереди, он смеялся

и это было видно. — Пауза. — Я думал: мне должно быть плохо. Я ждал, что будет плохо. И — ничего. Я сел, выпил воды, почистил оружие. Всё.

— Ты не чувствовал ничего?

— Нет. — Он посмотрел на неё прямо. — И вот тогда я понял: это не значит, что я плохой человек. Это значит, что мозг научился не тратить ресурс на то, что изменить нельзя. На то, что уже произошло. — Пауза. — Это умение. Не дар — умение. Ему можно научиться.

— Зачем мне это умение? — спросила она.

Он смотрел на неё.

Долго.

— Ты уже учишься, — сказал он тихо. — Ты сегодня съела из её тарелки и ничего опять не почувствовала. Ты уже умеешь.

Она смотрела на него.

И думала — быстро, под поверхностью, пока лицо оставалось спокойным — о том, что он сейчас сделал. Не сказал ничего страшного. Не произнёс ничего, что можно было бы назвать и обвинить. Просто — провёл линию. От мальчика без двух зубов, который смеялся, к ней, съевшей борщ из тарелки матери. Провёл её тихо, почти незаметно, как проводят линию на карте карандашом: вот здесь ты, вот там — то, о чём мы ещё не говорили, но уже приближаемся.

Она не отвела взгляд.

— Григорий, — сказала она.

— Да.

— Ты говоришь об убийстве?

Слово вышло — просто, буднично, как выходят слова, которые давно существуют в голове и которым наконец позволили стать звуком. Она не вздрогнула от него. Не испугалась.

Он тоже не вздрогнул.

— Я говорю о том, — сказал он, — что есть вещи, о которых мы не думаем честно, потому что нас учили не думать честно. Нас учили заменять мышление — словами. Убийство — плохо. Конец. Дальше не думай. — Пауза. — Но жизнь — сложнее слов.

— Жизнь сложнее слов, — повторила она.

— Да.

— И поэтому убийство — иногда нормально?

— Я этого не сказал.

— А что ты сказал?

Он помолчал.

Взял кружку — наконец взял, отпил — поставил обратно.

— Я сказал: есть вещи, которые надо думать честно. — Голос его был ровным — не холодным, именно ровным, как бывает ровной земля, по которой можно идти. — Вот факты. Твоя мать больна. Это прогрессирует — я видел такое, я знаю, как это идёт. Она будет хуже. Потом — ещё хуже. Потом она не будет узнавать тебя. Потом не встанет. И всё это время — ты здесь. Рядом. Каждую ночь она зовёт тебя. Каждое утро ты встаёшь с болью в спине. Каждый день —

тарелка, кружка, лекарства, унижение. — Пауза. — Ты не живёшь. Ты обслуживаешь распад. Чужой — и заодно свой.

Она молчала.

— Это — факты, — сказал он. — Не оценки. Факты.

— Да, — сказала она тихо.

— Теперь вопрос, — сказал он. — Не мой вопрос — твой.

Ты сама себе должна его задать: до каких пор.

Она смотрела на стол.

На скатерть — выцветший узор по краю, льняная, старая.

— До каких пор что? — спросила она.

— До каких пор ты платишь чужую цену, — сказал он. —

За чужие решения. За то, что тебя не спросили. — Пауза. —

За то, что ты оказалась здесь.

За стеной — мамино дыхание.

Ровное.

С присвистом.

Спит.

Вера сидела и слушала это дыхание сквозь стену — как слушала его каждую ночь, годами, каждую ночь — и думала о том, что он сказал. Не «убийство». Он не сказал «убийство». Он сказал: цена. Чужая цена. До каких пор.

И вот здесь — в этом «до каких пор» — было что-то, что она не могла назвать нечестным. Потому что вопрос был честным. Потому что она сама задавала себе его — не этими словами, другими, ночью, в темноте: «сколько ещё». Это было то же самое.

Другие слова — то же самое.

Кап.

Пауза.

Кап.

— Ты устала, — сказал он.

— Да.

— Насквозь.

— Да.

— И выхода не видишь.

— Нет.

Он молчал.

— А он есть, — сказал он наконец. Тихо. Почти себе. —

Выход всегда есть. Вопрос только — какой.

Она посмотрела на него.

В его глазах не было ничего злого. Вот это она отметила — специально, намеренно, потому что хотела быть точной — не было ничего злого. Было — спокойствие. То спокойствие, которое бывает у людей, которые прошли через многое и перестали бояться слов. Которые смотрят на вещи прямо, без той мягкой лжи, которую обычные люди называют деликатностью.

— Григорий, — сказала она.

— Да.

— Что ты предлагаешь?

Слово «предлагаешь» было неточным — она это слышала сама, слышала, что оно неточное, что он ничего ещё не

предложил, что он только расставлял слова в пространстве и давал ей самой приходить к тому, к чему она приходила. Но она спросила именно так — потому что хотела, чтобы он сказал. Хотела, чтобы это вышло из него, не из неё.

Он смотрел на неё.

— Я предлагаю думать честно, — сказал он.

— Я думаю честно.

— Нет, — сказал он — мягко, без осуждения. — Ты думаешь в тех границах, которые тебе установили. Мама — значит, терпи. Долг — значит, оставайся. Нельзя — значит, нельзя. — Пауза. — А если выйти за эти границы и посмотреть на ситуацию как она есть?

— Как она есть?

— Есть, — сказал он, — человек. Семьдесят пять лет. Больна. Страдает — да, именно страдает, не «болеет», а страдает, каждый день, от страха, от непонимания, от того, что мир вокруг неё становится всё менее читаемым. Это — страдание. Долгое, без просвета, без выхода. — Пауза. — И есть другой человек.

Сорок с лишнем лет. Здоровая. Имеет жизнь — или имела, или могла бы иметь, если бы. Которая платит за первого человека своим временем, своим сном, своими руками. — Он посмотрел на её руки. — Своим телом. — Пауза. — И вопрос не «хорошо это или плохо». Вопрос: до каких пор это рационально.

— Рационально, — повторила она.

— Да. Именно это слово.

— Убийство нерационально.

— Стрдание — тоже, — сказал он. — Долгое, бессмысленное страдание двух людей — тоже нерационально. Один страдает от болезни, которая только прогрессирует. Другой страдает от того, что наблюдает это и обслуживает это. И конца нет — пока не будет конца первого страдания.

Вера смотрела на него.

Долго.

Очень долго.

За стеной — дыхание.

Кап.

— Ты говоришь об убийстве, — сказала она — второй раз, тем же ровным голосом. — Называй это как хочешь. Но это — убийство.

— Да, — сказал он.

Первый раз — прямо. Без уклонения, без переформулировки.

Да.

Она не вздрогнула.

Это было важно — что не вздрогнула. Она отметила это про себя: вот, слово произнесено, оба его слышали, и я не вздрогнула. Что это означает?

— И ты предлагаешь мне — — она не договорила.

— Я предлагаю тебе думать честно, — сказал он. — Больше ничего. Пока.

Пока.

Это слово она услышала.

Маленькое слово. Одно из тех, которые меняют смысл предложения целиком, если их заметить.

Пока.

Означало: не сейчас. Означало: после. Означало: будет другой разговор.

Она смотрела на него.

И думала — быстро, как думают под поверхностью, когда поверхность остаётся спокойной, — о том, что этот человек три недели чинил их кран, приносил лекарства, сидел с мамой и слушал про ноги, которые жгло, помогал Серёже не сорваться одним своим присутствием — и всё это время смотрел на её руки. Всё это время — смотрел. И видел. И ждал.

До этого разговора.

Она не знала, что думать о том, что он ждал. Была в этом ожидании — расчётливость? Забота? Или то и другое одновременно, потому что у некоторых людей это неотделимо?

Она не знала.

— Поздно, — сказала она.

— Да.

— Иди спать.

— Сейчас.

Но не уходил.

Сидел.

И она сидела.

И кран капал.

И дом дышал.

И за стеной спала мама с присвистом на выдохе.

ДИАЛОГ О «РАЦИОНАЛЬНОМ ОБЛЕГЧЕНИИ»

Григорий встал.

Это было неожиданно — не резко, без рывка, просто поднялся из-за стола с той особой плавностью, которая бывает у людей, чьё тело давно приучено к экономии движений, к тому, чтобы не тратить лишнего. Отодвинул стул — бесшумно, придержал рукой, чтобы не скрипнул по деревянному полу. Пошёл к окну.

Встал к ней спиной.

Смотрел в тёмный двор.

Она не спрашивала, что он видит там — за окном был двор, который она знала наизусть: яблоня, поленница, забор, улица за забором, пара фонарей. В такой час всё это было одним тёмным силуэтом, без деталей, без различий — просто темнота за стеклом, в которую можно смотреть, когда думаешь о чём-то, что не хочется смотреть в лицо сразу.

Она ждала.

Умела ждать — это тоже было из того, чему её научил этот дом. Восемь лет ожидания: ожидания, пока мама закончит говорить, пока Серёжа протрезвеет, пока пройдёт приступ,

пока кончится ночь. Ожидание стало её природой, её ритмом — она ждала без нетерпения, без тревоги, просто ждала, как ждёт земля.

Григорий стоял у окна.

Она смотрела на его спину — на прямые плечи, на то, как он держит руки: не в карманах, не скрещёнными на груди, просто — вдоль тела, свободно. Это было в нём всегда — эта свобода в теле, отсутствие защитных поз, отсутствие привычки закрываться. Как будто ему было нечего защищать. Или — как будто он давно перестал нуждаться в защите.

Она думала об этом — о его спине, о его руках — и думала одновременно о том, что он сказал минуту назад. О «пока». О том, что это слово означало — что будет другой разговор, что он ждал этого разговора, что он, может быть, ждал его с самого начала.

С юбилея.

С того вечера, когда вошёл в дверь с двумя тяжёлыми пакетами, поздоровался, прошёл в комнату и осмотрел квартиру так, как осматривают пространство, в котором предстоит действовать.

Она помнила этот взгляд.

Тогда объяснила его себе иначе — военная привычка, привычка фиксировать выходы и двери. Теперь — думала иначе. Не решила ещё, как думает, просто — иначе.

— Я тебе расскажу одну вещь, — сказал Григорий — не оборачиваясь, по-прежнему к окну.

— Расскажи.

— В восемьдесят шестом году, — сказал он, — я был в маленьком городе на по-моему севере Анголы. Мы стояли там месяц. Охрана объекта — не важно какого. Рядом была больница. Маленькая, на двадцать коек, местный врач и две медсестры. Я ходил туда иногда — не лечиться, просто — там была тишина. Другая тишина, чем в казарме. — Пауза. — Там лежал старик. Не знаю сколько лет — они все выглядели старше, чем были, из-за климата, из-за жизни. Может, шестьдесят. Он умирал — медленно, без конкретной причины, просто организм уходил, по одному органу. Врач говорил: месяц, может два. Он не понимал, что происходит — с ним что-то было с головой, не то, что у твоей матери, другое, но похожее. Он не понимал, где он, кто рядом. Кричал по ночам. Звал кого-то. Медсестра — молодая девушка, лет двадцати — не спала из-за него. Сидела рядом, держала за руку, он её не узнавал, кричал, что она чужая, что она пришла забрать его.

Он замолчал.

За окном — тишина. Двор, яблоня, фонарь.

— Что с ним стало? — спросила Вера.

— Умер. — Просто. — Через шесть недель. Последние две недели уже не кричал — был без сознания, тело продолжало дышать, и всё. Медсестра за эти шесть недель похудела килограммов на пять. Ходила серая.

— Ты это рассказываешь — зачем?

Он обернулся.

Посмотрел на неё — через всю кухню, через это расстояние, которое было небольшим, но которое сейчас ощущалось значительным, как ощущается значительным расстояние между двумя людьми, которые говорят о важном.

— Я рассказываю это, — сказал он, — потому что думал об этом старике потом. Долго думал. О том, зачем это было. — Он прошёл от окна к столу — медленно, не садясь, встал у края. — Страдал он. Это — факт. Страдала девушка рядом — это тоже факт. Врач говорил: ничего нельзя сделать, только ждать. И они ждали. Шесть недель. — Пауза. — А я думал: зачем. Зачем ждать, если конец известен, если каждый день — только хуже, если никому от этого ожидания не лучше — ни ему, ни ей. Зачем?

— Потому что жизнь — это жизнь, и мы не в праве решать — сказала Вера.

— Это слова, — сказал он — не жёстко, просто. — Это слова, которые нас учили говорить в ответ на этот вопрос. Жизнь — это жизнь. Нельзя — нельзя. Грех — грех. — Пауза. — Но за словами — что? Что стоит за этими словами, если разобраться честно?

Вера молчала.

— Стоит, — продолжал он, — привычка не думать. Удобная привычка. Потому что думать — страшно. Потому что, если думать честно, можно прийти к выводам, с которыми жить неудобно.

— К каким выводам?

Он смотрел на неё.

— К тому, что иногда продолжение — это не милосердие, — сказал он. — Иногда продолжение — это жестокость. Привычная, социально одобренная жестокость, которую все называют долгом и любовью, но которая на самом деле — просто страх. Страх взять на себя ответственность. Страх решить. Страх быть тем, кто решил.

— Решить — убить.

— Решить — освободить, — сказал он. — Я предпочитаю это слово. Не потому, что оно красивее — потому что оно точнее. Когда человек страдает и страдание не кончится — освободить его от страдания. Это — не убийство. Это — милосердие, облегчение.

Вера смотрела на него.

Долго.

И думала о том, что он говорит — не о словах, за словами, под словами — думала о той медсестре, которая сидела рядом с умирающим стариком шесть недель и похудела на пять килограммов и ходила серая. Думала о том, что она — Вера — тоже сидела рядом. Восемь лет сидела. И она не похудела на пять килограммов — она изменилась иначе, глубже, в том месте, где не видно снаружи.

— Ты называешь это рациональным облегчением, — сказала она.

— Да.

— И считаешь, что это — нормально.

— Я считаю, — сказал он, — что это — честно. Нормально или нет — это уже другой вопрос, вопрос о словах. Честно — это про суть.

— Суть в том, что ты предлагаешь убить мою мать.

Она сказала это ровно. Без крика, без дрожи в голосе. Просто — сказала, как называют предмет его именем.

Григорий не отвёл взгляда.

— Я предлагаю тебе думать, — сказал он. — Я уже говорил это.

— Ты думаешь, я не думала?

— Думала. — Пауза. — Но в определённых границах. В тех, которые тебе установили ещё в детстве. Мать — это святое. Долг — это священо. Нельзя — это закон. — Он чуть наклонил голову — совсем немного, тот жест, который бывает, когда смотрят на что-то с другого угла. — А если выйти за эти границы? Если посмотреть без них?

— Что я увижу без них?

— Увидишь, — сказал он, — старуху. Семьдесят пять лет. Больную. У которой нет будущего — не в смысле судьбы, в смысле медицины, в смысле физиологии. Деменция не отступает. Она прогрессирует. Я видел это на нескольких людях — каждый раз одинаково: сначала путается в именах, потом в датах, потом перестаёт узнавать родных, потом теряет речь, потом — всё. — Пауза. — Через год, может два, или раньше, она не будет знать, кто ты. Будет звать тебя, по-

тому что ты рядом, — но не будет знать, кто ты. Будет бояться тебя, и выходка с борщом -это цветочки. — Пауза. — Ты к этому готова?

Вера молчала.

— Я спрашиваю не риторически, — сказал он. — Я, по совести, по самой страшной, обнажённой истине тебя спрашиваю: готова ли ты, в силах ли твоя душа перенести то, что ровно через год, — слышишь ли, ровно через один этот проклятый год! — она станет взирать на тебя как на совершенного чужака, как на врага своего и мучителя? Что она станет дрожать и бледнеть при одном твоём появлении, ещё пуще, ещё лихорадочнее, чем сегодня, когда она в ужасе замирала перед этою тарелкой борща, подозревая в ней яд? И так каждый день, каждую неотвратимую минуту, без сна и без исхода — готова ли ты к этому адскому приговору?!

— Я не знаю, — сказала она.

— Это честный ответ.

— Но я не убью её из-за этого.

— Я не говорю «из-за этого», — сказал он. — Я говорю: это — одна часть. Есть и другая.

— Какая?

Он смотрел на неё.

— Ты, — сказал он.

Просто. Одно слово.

— Я.

— Ты, — повторил он. — Сорок с лишним лет. Здорова

относительно — пока. Имеешь жизнь — теоретически. Восемь лет здесь. — Пауза. — Сколько ещё?

— Я не знаю.

— Три года? Пять лет? А если семь, — если целых десять этих бесконечных, проклятых лет она ещё протянет в этом своём страшном, заживо гниющем беспамятстве? — тихо, с какою-то мертвящею, казённою ровностью заговорил он, точно бесстрастный судебный пристав, перечисляющий по пунктам чужое разорение. — Ведь они, эти в деменции, живут иногда долго, тело у них, точно у мёртвого автомата, держится крепко, жилы цепляются за жизнь, а голова... голова-то уже давно пустая, грязная коробка, где лишь происходит поэтапное отключение рассудка. И всё это время — ты здесь, прикованная к этой кухонной каторге. Руки твои, разъеденные щёлочью до костей, спина, согнутая пополам от вечной тяжести, ночи без единой минуты сна, у постели, откуда только бред раздаётся. И унижение... каждодневное, ежечасное, гнусное это унижение, когда тебя же, твою же святую любовь, попрекают то краденой копеечкой, то грязной тарелкой, то сумасшедшим обвинением в смертных грехах!

Он не кричал, не нажимал на слова; голос его лился глухо, тяжело, как свинец, выговаривая каждое слово с пугающей, математической отчётливостью.

— И в конце-то — что? Когда всё это кончится, когда этот труп наконец унесут, — что от тебя-то самой останется? Какая щепка от твоей души на берег выброшена будет?

Она молчала.

Думала.

Не отвечала, потому что ответ требовал честности, а честность требовала пройти туда, куда она не ходила. Вглубь. К тому, что лежало на дне — тёмное, ровное, давно осевшее.

Что останется от неё.

Она задавала себе этот вопрос — ночью, в темноте, на краю сна. Не этими словами — другими, мягче, трусливее. «Сколько ещё» — это было мягче. «Что останется» — это было точнее.

Что останется.

Красные руки.

Боль в спине, которая стала хронической.

Привычка не думать о себе — глубокая, многолетняя, ставшая инстинктом.

Пустота в том месте, где раньше что-то было.

И дом.

Большой, старый дом — с деревянными полами и яблоней во дворе и синей кружкой на крючке. Этот дом останется. Это — останется. Всё остальное — она не была уверена.

— Ты хочешь это, — сказал Григорий.

Не вопрос.

— Что — это? — спросила она.

— Жить, — сказал он. — Просто жить. По-настоящему. Не так. — Он сделал жест — небольшой, один, указывающий в сторону маминой комнаты. — Ты хочешь жить. Это нор-

мально. Это — право. Не привилегия, не роскошь — право.
— Я живу.

— Нет, — сказал он. — Ты обслуживаешь. Это разное.
Она смотрела на него.

И внутри — быстро, как вспышка, — пришло и ушло.
Злость. Не на него — на то, что он говорил правду. Злость
на правду — самая бесполезная злость, потому что её некуда
направить, она приходит и некуда деться, и приходится про-
сто стоять с ней, пока не пройдёт.

Прошла.

— Хорошо, — сказала она. — Допустим, ты прав. Допу-
стим, я — не живу. Я — обслуживаю. Это — правда. — Па-
уза. — Но какое это имеет отношение к тому, о чём ты го-
воришь?

— Прямое, — сказал он. — Самое прямое.

— Объясни.

Он немного помолчал.

Потом сел — обратно на своё место, через угол от неё, на
то расстояние, которое было между ними всегда: достаточно
близко, чтобы говорить тихо, достаточно далеко, чтобы не
давить.

— Я думал об этом долго, — сказал он. — Не только про
тебя — вообще. Про то, как устроена жизнь людей в таких
ситуациях. Про то, что происходит, когда один человек уми-
рает медленно, а другой умирает рядом с ним — ещё мед-
леннее. —

Пауза.

— Один умирает телом. Другой — всем остальным. И общество говорит: это хорошо. Это — долг. Это — любовь. — Голос его остался ровным, но в нём появилось что-то, что она слышала редко — усталость. Настоящая, глубокая. — А я видел достаточно смертей, чтобы знать: смерть — это не то, чего нужно бояться. Бояться нужно другого. Бояться нужно — жизни без смысла. Жизни как отбывания. Жизни как наказания за то, что родился дочерью, а не сыном.

Вера смотрела на него.

— Ты говоришь как человек, которому легко говорить, — сказала она.

— Да, — согласился он. — Потому что это не моя мать.

— Именно.

— Именно, — повторил он. — Поэтому я вижу ясно. Ты — не видишь, потому что слишком близко. Потому что слишком долго. Потому что она — в тебе, внутри, с детства — и ты не можешь смотреть на неё как на задачу. А надо.

— Как на задачу.

— Как на задачу, которая имеет решение.

Она молчала.

Долго молчала — так долго, что кран капнул дважды, пока она молчала, и она считала эти капли, не думая об этом, просто — считала.

Кап.

Кап.

— Ты уже думал об этом конкретно, — сказала она наконец. — Не просто — думал. Конкретно.

Он смотрел на неё.

— Да, — сказал он.

— И ты думал — как.

— Да.

— И кто.

Пауза.

— Да, — сказал он.

Тишина между ними стала другой — плотнее, весомее. Не угрожающей — нет, она не чувствовала угрозы. Скорее — как тишина бывает перед важным решением, когда всё уже сказано, когда слова кончились, и остаётся только то, что внутри.

— Ты хочешь этот дом, — сказала она.

Не обвинение — просто называние. Она называла факты, как он называл их.

Он не отвёл взгляд.

— Да, — сказал он.

— Ты хочешь этот дом, и поэтому ты здесь с самого начала.

— Это — только одна причина, и не самая главная.

— Какая — главная?

Он смотрел на неё.

И в его взгляде было — она искала в нём ложь и не находила. Находила другое: что-то, что было правдой, неудоб-

ной, некрасивой, но правдой. Что-то, что говорило: да, дом — это тоже правда. И ещё кое-что правда. И эти правды существуют одновременно, не отменяя друг друга.

— Ты, — сказал он.

Просто.

Как сказал раньше — «ты» — когда говорил о праве на жизнь.

— Я.

— Да.

— Ты меня не знаешь.

— Знаю, — сказал он. — Я смотрел на тебя два месяца. Я знаю, как ты держишь кружку. Как ты режешь хлеб. Как ты стоишь у плиты, когда думаешь, что никто не смотрит. — Пауза. — Я знаю, что ты сильная. Сильнее, чем все вокруг тебя вместе взятые. И что эта сила уходит впустую — каждый день, по кусочку.

Она смотрела на него.

И думала — медленно, очень медленно, с осторожностью человека, который ступает по льду и не знает, держит ли, — думала о том, что он говорил. О медсестре, которая похудела на пять килограммов. О старике, который кричал ночами. О математике распада. О рациональном облегчении.

О доме.

О том, что если — если — то дом останется. И в нём можно будет жить. По-настоящему жить, не обслуживать, не ждать крика из-за стены — жить.

Эта мысль пришла — и она её не прогнала.

Позволила быть.

И это — то, что она позволила ей быть — было, наверное, уже чем-то. Уже не просто разговором.

— Ты говоришь «рациональное облегчение», — сказала она. — Красивое словосочетание.

— Точное.

— Это убийство.

— Да.

— И ты думаешь, что это — нормально.

— Я думаю, — сказал он, — что это — решение. Одно из возможных. — Пауза. — Она страдает. Ты страдаешь. Это можно прекратить. Или продолжать — ещё год, ещё два, ещё пять. — Пауза. — Выбор — за тобой.

— За мной.

— За тобой.

Она смотрела на него долго.

На его лицо — спокойное, без тени торжества, без нетерпения. Он не давил. Не торопил. Просто сидел и смотрел на неё с тем ровным вниманием, которое она за эти месяцы научилась читать, — вниманием человека, который уже принял решение за себя и теперь ждёт, пока другой примет за себя.

Она думала о том, что он прав.

Не в том смысле, что убийство — это хорошо. Не в том смысле, что она согласна. Просто — в том, что он был прав

про неё. Что она знала ответ на вопрос «сколько ещё» — знала и боялась его знать. Что она слышала это «ещё год, ещё два, ещё пять» не от него — от себя самой, каждую ночь, в темноте, когда считала мамины выдохи за стеной.

Она знала.

И молчала.

— Так долго человек жить не должен, — сказал Григорий тихо.

Третий раз.

В первый раз эта фраза означала — неясно что, она не поняла, кого он имел в виду. Во второй раз — её, Веру, её жизнь в этом доме. В третий раз — она слышала её иначе. Слышала в ней обе стороны сразу: и маму, и себя. Обоих.

Так долго человек жить не должен.

Ни — так.

— Я не говорю «да», — сказала она.

— Я не прошу «да», — сказал он.

— Тогда что ты прошу?

— Ничего, — сказал он. — Пока — ничего.

Пока.

Снова это слово.

Она смотрела на него — и понимала, что «пока ничего» — это уже что-то. Что разговор этот не начался сегодня ночью и не закончится сегодня ночью. Что они оба это знают. Что «пока» — это пространство, которое он оставляет ей, чтобы она прошла через него сама, своими ногами, своим

решением — не потому, что он добрый, а потому что так надёжнее. Потому что решение, принятое самостоятельно, держится крепче, чем навязанное.

Он знал это.

Она знала, что он знает.

И он знал, что она знает.

Вот что это было — не заговор, не план, не договор, скреплённый словами. Это было — понимание. Молчаливое, точное, как понимание между двумя людьми, которые посмотрели на одну и ту же вещь с одной и той же стороны и увидели одно и то же.

— Поздно, — сказала она.

— Да, — сказал он.

— Иди спать.

Он кивнул. Встал. Убрал кружку в раковину. Прошёл к двери кухни.

Остановился.

— Вера, — сказал он — не оборачиваясь.

— Да.

— Ты не виновата в том, что устала.

Она не ответила.

Он ушёл.

Она слышала его шаги в коридоре — ровные, бесшумные — и думала о том, что он сказал последним. Не про математику, не про облегчение. Про усталость.

Ты не виновата в том, что устала.

Это было — она поняла это, сидя одна в пустой кухне — это было точнее всего. Точнее любой математики, любой рациональности. Потому что усталость была — настоящей. Реальной. И вина за неё тоже была — она носила её давно, эту вину за то, что устала, за то, что иногда думала «сколько ещё», за то, что сегодня съела борщ из тарелки матери и ничего не почувствовала.

Он сказал: не виновата.

И это — странным образом, пугающим образом — было самым опасным из всего, что он сказал сегодня ночью. Страшнее слова «убийство». Страшнее «рационального облегчения». Страшнее «математики распада».

Потому что вина — держала.

Вина говорила: ты должна. Вина говорила: нельзя. Вина говорила: оставайся.

А без вины — что?

Она сидела.

Слушала кран.

Кап.

Пауза.

Кап.

За стеной спала мама.

Ровное дыхание. Тихое. С присвистом.

Живая.

Пока — живая.

НЕГЛАСНЫЙ ДОГОВОР

Она сидела одна.

Григорий ушёл — шаги в коридоре, тихие, бесшумные, потом дверь входная, калитка, потом тишина, — и тишина восстановилась сразу, как восстанавливается вода после того, как из неё вынули руку: без следа, без памяти о том, что было нарушено.

Только кран.

Кап.

Пауза — семь секунд, она считала.

Кап.

Она не двигалась.

Сидела на своём месте — через угол от того, где сидел он, в том положении, которое стало привычным за эти недели: руки на столе, ладони вниз, спина прямая не потому что хотела держать прямо, а потому что боль в спине была меньше при прямой спине, это она давно поняла, это было практическое знание, одно из многих практических знаний, которые накапливаются у людей, чьё тело давно является рабочим инструментом, а не чем-то, о чём думают.

Кухня вокруг неё стояла неподвижно.

Она смотрела на неё — медленно, по частям, как смотрят на знакомое пространство, когда хотят увидеть его заново: плита с закопчёнными кольцами у горелки, которые она от-

мывала каждую пятницу, но они всё равно темнели к среде. Сушилка с вымытой посудой — тарелки, кружки, кастрюля, стоят ровно, как всегда, как она ставила. Герань на подоконнике — красная, упрямая, цветущая без всякой причины, просто потому что такова её природа. Буфет у стены — с облупившейся краской на нижней дверце, которую Серёжа обещал подкрасить ещё осенью, не подкрасил.

Всё это — её.

Не в смысле собственности. В смысле — её жизнь. То, чем она занималась. То, что составляло её существование — эти тарелки, эта герань, эта облупившаяся дверца.

И то, что было за стеной.

Она слышала — ровное дыхание. Тихое. С присвистом на выдохе — этот присвист появился в феврале, она спросила врача, врач сказал: возрастное, не страшно, наблюдайте.

Наблюдайте.

Она наблюдала. Восемь лет наблюдала. Стала специалистом по наблюдению — умела отличить ночной кашель от дневного, умела по дыханию определить: спит или притворяется, умела по первому звуку голоса из-за стены понять, в каком настроении, чего ждать.

Это было знание.

Глубокое, точное, никому не нужное.

Она думала о том, что сказал Григорий.

Не словами думала — глубже, тем способом, которым думают вещи, которые слишком большие для слов, которые су-

существуют сначала как ощущение, как температура воздуха, как запах, и только потом — если вообще — оформляются в слова, и оформившись, часто оказываются меньше того, чем были до слов.

Рациональное облегчение.

Математика распада.

Право на жизнь.

Она держала эти словосочетания — не принимала, не отвергала, просто держала, как держат что-то тяжёлое, ещё не зная, куда поставить. Они были — точными. Вот что было страшно. Они были точными, эти слова, они описывали то, что было — реально было, существовало, жило в этом доме и в ней самой давно, — только раньше у этого не было слов. Была усталость — но слова «право на жизнь» для неё не было. Было «сколько ещё» — но слова «математика распада» для этого не было.

Он дал словам имена.

И теперь вещи с именами существовали иначе — весомее, устойчивее, реальнее.

Это было опасно.

Она знала, что это опасно — знала умом, той частью, которая ещё работала как раньше, как до этого разговора. Но другая часть — та, которая восемь лет была в горячей воде и в щёлочи, и в ночных звонках за стеной, — другая часть слышала его слова иначе.

Слышала в них — воздух.

Она встала.

Не потому, что решила что-то — просто тело устало сидеть, тело хотело движения, любого. Прошла к окну. Встала так, как стоял он несколько минут назад — спиной к кухне, лицом к тёмному двору.

Двор спал.

Яблоня — чёрный силуэт на чуть более светлом небе, небо начинало меняться на востоке, незаметно ещё, самый край, едва различимый. Поленица у сарая. Забор. Улица за забором — пустая, фонари горят, никого.

Она смотрела на яблоню.

Отец сажал её — давно, Серёжа был маленький, она помнит: отец стоял у ямы с лопатой и был большим. Потом отец умер. Яблоня осталась. Плодоносила каждый год — упрямо, без спросу, без ухода особого, просто плодоносила, потому что такова её природа.

Этой осенью яблоки были хорошие.

Мама велела сварить варенье.

Она варила — три дня, в три захода, банки стерилизовала, крышки закручивала, составляла в погреб. Пятнадцать банок. Мама проверила каждую — нет ли плесени под крышкой, хорошо ли закручено.

Пятнадцать банок варенья.

На сколько их хватит?

Она думала об этом — и думала одновременно о другом,

о том, что под этой мыслью, — о том, что в следующем году яблоня снова даст яблоки. И в году после. И всегда. Яблоня не знает о том, что происходит в доме. Яблоне всё равно.

Кому достанутся эти яблоки.

Кто будет варить варенье.

Она стояла у окна и позволяла себе думать это — не отворачивалась, не прогоняла. Кто будет варить варенье. Конкретный, практический вопрос. За ним — другой, больший, который она тоже позволила себе думать: кто будет жить в этом доме.

Она.

Если — если — то она.

Одна.

Без звонков из-за стены. Без синей кружки на специальном крючке. Без тарелок, которые надо пробовать первой. Без подсчёта таблеток в восемь утра. Без присвиста на выдохе.

Просто — она. В этом доме. Одна.

Это было — страшно.

Это было — желанно.

Оба чувства существовали одновременно, не вытесняя друг друга, как существуют рядом два человека в тесной комнате: неудобно, тесно, но оба — есть.

Страшно и желанно.

Она стояла у окна.

И думала о том, что Григорий — он тоже здесь. В этом

уравнении. Он хочет дом — сказал прямо, не скрывал. Хочет её — тоже сказал, или намекнул, или — она не была уверена, как это называть, это слово «хочет» было неточным для того, что между ними, это было что-то другое, менее тёплое и более устойчивое, чем обычно называют этим словом.

Он хочет определённости.

Он хочет место, которое принадлежит ему.

Он хочет — порядок. После Африки, после войны после того, как государство сказал «я тебя не посылал» и квартиру увели маклеры пока воевал, — после всего этого он хочет просто место, которое никуда не денется, которое будет его, которое не исчезнет по приказу сверху.

Этот дом — такое место.

И она — в этом доме.

Вот что было между ними. Не любовь — или не только любовь, или то, что приходит раньше любви и что иногда оказывается прочнее. Общий интерес. Взаимная выгода. Он называл это математикой — может, он был прав, может, математика была точнее, чем все остальные слова.

Она обернулась.

Кухня была пустой.

Его кружка стояла в раковине — она слышала, как он поставил её туда, уходя. Маленький жест, незначительный. Но она думала о нём — о том, что он поставил кружку в раковину, не оставил на столе. Что убрал за собой. Что это — привычка. Военная привычка — не оставлять следов, не со-

здавать лишней работы, не обременять.

Или привычка человека, который хочет, чтобы его присутствие было удобным.

Который знает: удобное присутствие — приглашают снова.

Она прошла к столу.

Остановилась.

Посмотрела на скатерть.

Льняная, старая, с выцветшим узором по краю. Она её стирала раз в неделю — в пятницу, вместе с остальным бельём. Гладила — потому что мама не терпела мятых скатертей. Раскладывала ровно — потому что мама проверяла, совпадает ли угол с краем стола.

Угол сейчас не совпадал.

Полсантиметра, может меньше.

Раньше она бы поправила немедленно — рефлекс, быстрый, без мысли, как поправляют всё, что не так, потому что иначе будет замечено и сказано. Сейчас она смотрела на этот угол — и не двигалась.

Смотрела.

И думала о том, что этот рефлекс — поправить скатерть, поставить синюю кружку, подать хлеб нарезанным тонко, а не толсто, — этот рефлекс был не её. Был внешним, чужим, встроенным в неё как программа, как привычка, как то, что называют «второй натурой», хотя правильнее называть «навязанной натурой», потому что вторая натура — это то, что

выбираешь, а это — то, что выбрали за неё.

Программа.

Она жила по чужой программе.

Восемь лет.

Нет — больше сорока. С рождения.

Григорий сказал: выйди за границы, которые тебе установили. Посмотри без них.

Она стояла у стола и смотрела на скатерть с перекошенным углом.

И не поправляла.

Это было маленькое — ничтожное, незначительное, смешное даже, если смотреть снаружи. Женщина стоит и смотрит на скатерть в полночь. Ничего не происходит.

Но что-то происходило.

Внутри — что-то, что она не умела назвать точно, что было меньше решения и больше его начала. Не «я решила» — нет, это было бы слишком большим словом для того, что было. Просто — она стояла и не поправляла. Просто — позволяла углу быть не таким, каким он должен быть по чужим правилам.

Маленькое.

Но — своё.

Она потянулась к скатерти.

Рука двинулась сама — тот самый рефлекс, быстрый, привычный, — и она позволила ей двинуться, не останавлива-

ла. Пальцы легли на угол скатерти — на выцветший льняной край, чуть шершавый от многих стирок.

Она не поправила.

Просто — держала.

Держала угол скатерти в пальцах и думала.

Думала о том, что мама за этой стеной спит с ровным дыханием и присвистом, и это дыхание она слышала восемь лет, и за эти восемь лет дыхание стало тише, медленнее, тяжелее — это был факт, медицинский, необратимый, Григорий был прав, это только в одну сторону, только хуже.

Думала о том, что Серёжа за другой стеной спит плотным сном человека, у которого нет причин просыпаться в час ночи, и что Серёжа — он был здесь, он часть этого, но он был как буфер между ней и тем, что без него стало бы невыносимым, и она думала об этом с той стыдной ясностью, с которой думают вещи, которые стыдно думать, но которые правда.

Думала о Грише, который уже спит в своей съёмной квартире, спит или не спит, скорее всего спит, он умел выключаться, это в нём всегда удивляло.

Думала о математике.

О том, что математика — честная наука. В ней нет места иллюзиям, нет места «может быть» и «вдруг». Есть данные, есть операции, есть результат. Данные — она знала. Операции — Григорий назвал. Результат — она его видела, не сейчас, позже, но видела уже его контур.

Результат — жизнь.

Её жизнь.

По-настоящему.

Она держала угол скатерти.

И думала — последнее, самое глубокое, то, что поднялось со дна, куда обычно не заглядывают: о том, что она не хочет быть плохим человеком. Что она никогда не хотела. Что она всю жизнь старалась быть хорошей — хорошей дочерью, хорошей сестрой, хорошим человеком, — и это старание стоило ей всего, что у неё было.

И что, может быть, — страшная мысль, самая страшная, — может быть, быть хорошим человеком и жить — это иногда не одно и то же. Что иногда приходится выбирать.

И она выбирала всегда одно.

А теперь.

А теперь — Григорий говорил: выбери другое. Не плохое — другое. Не зло — рациональное облегчение.

Рациональное.

Облегчение.

Она не знала, верила ли она этим словам. Не знала, были ли они честными или красивыми — а это разное, она понимала разницу, она достаточно прожила, чтобы понимать, что красивые слова и честные слова часто не одно и то же.

Но она не прогнала их.

Вот что важно.

Не прогнала.

Она поправила скатерть.

Медленно — потянула за угол, выровняла, совместила с краем стола. Отпустила. Посмотрела.

Теперь лежала ровно.

Она смотрела на эту ровную скатерть и думала: вот. Вот что я делаю. Поправляю. Всегда поправляю. Рефлекторно, автоматически, потому что так надо, потому что мама так сказала, потому что иначе нельзя, потому что — потому что.

Но сейчас — она поправила иначе.

Не потому, что мама скажет.

А потому что — выбрала. Маленький выбор, незначительный, смешной. Но — выбор. Её выбор. Не программа — она.

Разница была тонкой.

Почти неуловимой.

Но она была.

Она убрала руки от скатерти.

Стояла и смотрела на неё — ровную, льняную, с выцветшим узором.

И думала о том, что ничего ещё не решено. Что она не сказала «да». Что она не согласилась ни на что конкретное. Что между «не прогонять мысли» и «принять решение» — огромное расстояние, которое надо пройти, и она не знала, пройдёт ли.

Но думала и о другом.

О том, что Григорий не просил «да». Сказал: пока — ничего. Сказал: думай честно.

И она — думала.

Вот что произошло сегодня ночью.

Не договор — нет, не было слов, не было рукопожатия, не было ничего видимого и называемого. Было — другое. Было то, что бывает между людьми, когда они посмотрели на одну и ту же вещь с одной стороны, увидели одно и то же, и оба знают, что видели одно и то же, — и ни один не отвернулся.

Молчаливое понимание.

Без слов.

Прочнее слов.

Потому что слова можно отрицать — «я этого не говорил», «ты неправильно поняла». А то, что между людьми без слов — его не отрицают. Оно просто есть, или его нет. И сегодня ночью — оно было.

Она это знала.

И он знал.

Из маминой комнаты — звук.

Не голос — просто движение. Кровать скрипнула — один раз, тот характерный скрип, который бывает, когда переворачиваются на правый бок. Потом — тишина. Ровное дыхание. Присвист.

Спит.

Переворачивается во сне.

Живая.

Вера стояла у стола и слушала это дыхание — как слуша-

ла его восемь лет, каждую ночь, сквозь стены этого дома. И думала — впервые думала это до конца, не останавливаясь на полпути — о том, что это дыхание когда-нибудь остановится. Это — факт. Не потому, что она что-то решила. Просто — факт. Все дыхания останавливаются.

Вопрос — когда.

И кто решает.

Она стояла долго.

Потом пошла к двери кухни.

Выключила свет над плитой.

Постояла в темноте секунду — позволила темноте быть, глаза привыкали, и постепенно проявлялось: серый квадрат окна, силуэт буфета.

Она пошла по коридору.

Подошла к маминой двери — остановилась. Не открыла. Просто остановилась и стояла секунду. Слышала дыхание.

Присвист.

Ровное.

Живое.

Пошла дальше.

К себе.

Легла.

Закрыла глаза.

И там, в этой душной, давящей темноте, уже на самом пороге забытья, когда сознание её мутилось и ускользало, вдруг, точно искра, метнулась в ней дикая, странная мысль

о скатерти. О том самом грошовом, ничтожном клочке полотна, который она поправила на столе. Господи, да зачем, для чего она это сделала? Неужто ради мамы, неужели из вечного, рабского страха пред её безумным погрёком? Нет, нет, не то! Сама, сознательно, своею волей она так рассудила — или, быть может, это в неё, в саму кровь её и плоть, с младенчества была намертво вбита эта слепая, механическая программа покорности? И в лихорадочном восторге, почти в бреде, она вдруг постигла: а ведь этот выбор-то — пускай копеечный, пускай самый мизерный жест! — а ведь это уже спасенье! Это значит — жива ещё душа, это значит — она ещё сама существует, как живой человек, а не как бездушный, заведённый автомат, не как подлая, мёртвая программа!

Будто в этой жалкой скатерти заключалась вся её тайна. И вспомнилось ей вдруг, точно в забытии, древнее, грозное слово: *Верный в малом и во многом верен, а неправедный в малом неверен во многом.* Ведь если даже в этой ничтожной малости она способна была проявить свою, живую волю, а не слепо подчиниться заведённому в ней механизму — значит, не всё ещё потеряно! Это был её бунт, её копеечная лепта, брошенная в лицо слепому року. Это значит — жива ещё душа...

Кран капал на кухне.

Кап.

Пауза.

Кап.

За стеной — мама.

Ровное дыхание. Тихое. С присвистом.

Вера слушала его.

И засыпала.

И между сном и явью — в той узкой полосе, где мысли теряют форму, — она подумала: ничего не решено. Ещё ничего не решено. Это был только разговор. Только слова. Только — первый раз, когда она не прогнала.

Только.

Но «только» — это уже что-то, это — первый шаг.

Это уже — начало.

Страшное слово.

Начало.

Вера, уходя в сон наконец нашла себе оправдание: «Разве не каждый из нас хоть раз в жизни, стоя у постели больного или в очереди за безнадежностью, ловил себя на постыдной мысли: когда же это всё закончится?»

Кап.

Пауза.

Кап.

Пауза.

ГЛАВА 9. ДОМ ПОМНИТ

ДЫХАНИЕ ДОМА И ПЕРВЫЕ ТЕНИ

Спустя пару дней Григорий ушёл поздно.

Не остался — как иногда оставался переночевать в бывшей кладовке, когда было поздно и незачем идти на съёмную квартиру. Сегодня оделся в прихожей молча, взял сумку, сказал «спокойной ночи» — и вышел. Калитка скапнула один раз, захлопнулась. Шаги по улице. Потом тишина.

Вера закрыла дверь.

Постояла в прихожей секунду — в темноте, замкнула входную дверь. Потом пошла на кухню.

Посуда была вымыта ещё час назад. Она это знала — но встала у раковины и начала протирать уже сухие тарелки, потому что руки требовали занятия, а голова требовала, чтобы руки были заняты, иначе голова оставалась один на один с тем, что в ней было, — а этого она сейчас не хотела.

Рациональное облегчение.

Слова стояли в воздухе — она почти физически чувствовала их присутствие в этой кухне, как чувствуют присутствие запаха, который уже рассеялся, но ещё не ушёл.

Она протирала тарелки.

Запахи слоились — вчерашний борщ, хозяйственное мыло, что-то более глубокое, постоянное, то, что не выветривается. Страх и старость. Она давно знала этот запах, давно перестала его замечать, как перестают замечать запах собственного дома — он есть, он везде, но его не слышишь.

Сегодня — слышала. Может, потому что Григорий говорил о распаде, и теперь она чувствовала его — не метафорически, физически, ноздрями.

Запах распада.

Кран капал.

Она поставила тарелку. Взяла следующую. Протёрла. Поставила.

И тут — из маминой комнаты.

Сначала она не поняла. Просто — звук. Негромкий, неровный, как бормотание человека, который разговаривает во сне. Это бывало — не часто, но бывало, особенно в последние месяцы: мама что-то говорила в темноте, слова не складывались в смысл, просто бормотание, и Вера привыкла к нему как к части ночного дыхания дома.

Она продолжала вытирать посуду.

Но через минуту — остановилась.

Потому что звук изменился.

Не стал громче. Но стал — другим. В нём появилась интонация ожидания. Та, которая бывает у человека, который задал вопрос и ждёт ответа. Пауза. Потом снова — фраза. Снова пауза. Снова фраза.

Разговор.

Вера держала тарелку и слушала.

Это не было разговором во сне — она знала, как мама разговаривает во сне: беспорядочно, без структуры, слова сыпались без связи. Это было другое. Это была структура диалога — вопрос, пауза, ответ, пауза. Кто-то спрашивал, мама отвечала. Или мама спрашивала — и ждала, пока невидимый ответит.

Она поставила тарелку.

Пошла в коридор.

Встала у маминой двери.

Прислушалась.

Голос был — мамин, но не тот, к которому она привыкла. Дневной мамин голос был командным, ровным, с той интонацией человека, который привык отдавать распоряжения. Этот голос был другим — тише, мягче, с какой-то странной просительностью, которую она не слышала у мамы никогда или слышала очень давно, в детстве, когда была совсем маленькой и мама ещё не стала собой окончательно.

Она не могла разобрать слов.

Только интонацию.

И интонация говорила: там — не одна.

Вера стояла у двери и чувствовала холод — не от температуры воздуха, воздух в коридоре был обычным, — а от того, что поняла: мама разговаривает с кем-то, кого нет. И делает это так, как разговаривают с кем-то, кто есть.

Кран на кухне капнул.

Громко — в тишине коридора.

Она взялась за ручку двери.

ПРИХОД ПЕТРА: ГРАНЬ РАЗМЫВАЕТСЯ

Открыла тихо.

Мама сидела на кровати.

Не лежала — сидела, прямо, как сидела всегда, с той осанкой, которую не отнимала ни болезнь, ни возраст, ни час ночи. Ночная рубашка. Волосы растрёпаны — она не видела себя, не думала о волосах. Смотрела в угол.

В угол у окна.

Там стоял шкаф — старый, с тёмным деревом, с зеркалом на дверце. Ночник бросал оранжевый свет, и в этом свете угол за шкафом был тёмным, непроницаемым. Пустым.

Мама смотрела туда.

— Мама, — сказала Вера тихо.

Мама не вздрогнула — не испугалась, не отвлеклась. Просто повернула голову — медленно, как поворачивают, когда прерывают важный разговор и знают, что скоро вернуться.

— Верочка, — сказала она. — Кран починили бы. Пётр сердится.

Вера остановилась посреди комнаты.

— Кто сердится?

— Пётр. — Мама кивнула в сторону угла — просто, буд-

нично, как кивают на человека, который стоит рядом. — Говорит, кран капает, нехорошо.

Вера смотрела на угол.

Там никого не было.

Пётр Алексеевич умер пять лет назад — тихо, от острого инфаркта миокарда. Она сама нашла его утром. Она сама звонила в скорую. Она сама стояла в его кабинете, когда его увозили.

Пять лет назад.

— Мама, — сказала она осторожно. — Папы нет. Он умер.

— Я знаю, что умер, — сказала мама с лёгким раздражением — тем, которое появлялось, когда ей говорили очевидное. — Я не дура. Он умер. Но приходит же.

Вера смотрела на неё.

Мама смотрела в угол.

И в её взгляде не было ни страха, ни растерянности — было то обыденное, привычное внимание, с каким смотрят на человека, которого давно знают, которого ждали.

— Каждую ночь приходит, — сказала мама. — Иногда садится вот здесь. — Она показала на край кровати рядом с собой — на пустое место. — Молчит больше. Но сегодня про кран сказал.

Вера стояла и смотрела на это пустое место.

На примятое одеяло рядом с мамой.

Одеяло было примято — она точно видела это в оранже-

вом свете ночника. Примято, как бывает примято, когда кто-то сидит. Или — как бывает примято, когда старый человек долго лежит и мнёт одеяло руками, и сам не замечает.

Она подошла.

Присела рядом с мамой — не на то место, на другое.

— Мама, — сказала она — тихо, с той интонацией, с которой говорят с людьми, которых не хотят тревожить. — Ложись. Поздно.

— Он ушёл уже, — сказала мама. — Ты вошла — он ушёл.

И в этой фразе — «ты вошла, он ушёл» — было что-то такое, от чего у Веры что-то сжалось в груди. Живой уходит, когда приходит другой живой. Мёртвый важнее.

Она помогла маме лечь — привычно, по-всегдашнему, подтянула одеяло, поправила подушку.

— Кран, — сказала мама уже из-под одеяла. — Пётр говорит — кран.

— Починим, — сказала Вера. Она уже и сама сознавала всю тщетность, всю роковую бесполезность своих возражений; она с содроганием видела, что несчастная мать, в безумии своём, окончательно утратила земной рассудок, и что этот страшный призрак Петра, явившийся словно из какого-то иного, загробного бытия, стал для неё теперь непреложной, мучительной истиной.

— Он сердится.

— Я знаю. Починим кран.

Мама закрыла глаза.

Вера постояла секунду — смотрела на её лицо, на закрытые глаза, на то, как оно расслабляется в полусне — и вышла.

В коридоре остановилась.

Прислонилась спиной к стене.

Завтра, уже сегодня, на работу. Рано. Некогда думать ни про Григорияну теорию, ни про мамины ночные разговоры. Просто — идти. Убирать грязь в чужом офисе. Возвращаться. Таблетки. Обед. Уборка во втором офисе. Ужин. Снова ночь.

Она пошла к себе.

Вера называла такие дни, так: «Ещё одни серые сутки канули в никуда. Ну и ладно. Завтрашний день будет точно таким же — нервным и безнадёжно пустым, впрочем, как у многих»

ПОДСЛУШАННАЯ ТАЙНА: ТЕНЬ КУРСАНТА

Проспав с пару часов, может меньше, Вера проснулась.

Звук шёл из маминой комнаты — негромкий, но в ночной тишине дома различимый отчётливо. Не кашель, не скрип кровати, который был слышен в комнате вары при каждом матереном повороте. Голос.

Она лежала и слушала.

Голос был — другой.

Не тот, к которому привыкла, — ни дневной командный, ни тот просительный, которым мама говорила с Петром в уг-

ду. Этот был — моложе. Много моложе. Девичий — тонкий, заискивающий, с той дрожью в нём, которая бывает у людей, которые виноваты и знают об этом.

Вера встала.

Пошла в коридор.

Встала у двери.

— ...я не хотела... — говорила мама за дверью. — Ты понимаешь, я не хотела, так вышло... он сказал, что нельзя, что служба, что устав...

Пауза.

Вера стояла, не дыша.

— Не сердись, — говорила мама — и голос был совсем тонким теперь, почти умоляющим. — Я думала, так лучше будет... Саша говорил — потом, всё потом, после выпуска...

Саша.

Вера знала это имя — не от мамы, от фотографии. Осень семьдесят второго. Мужчина в военной форме. Имя на обороте не было написано, но однажды, давно, Серёжа сказал вскользь — что-то про какого-то курсанта, которого мама вспоминала в горячке после операции, давно, — Вера тогда не придала значения.

Теперь — придала.

Из-за закрытой двери доносилось тихое бормотание. Мама снова с кем-то разговаривала. Дочь подошла ближе и прижалась лбом к косяку.

— Маленький мой, ты уже подросток — мамин голос вне-

запно дрогнул, сорвался и перешёл на сиплый, едва различимый шёпот. — Маленький ты же всё понимаешь, да? Мама не хотела этого. Мама просто до смерти боялась. Зачем было спасать то, что всё равно невозможно спасти? Не я, так наша дурная, тяжёлая жизнь в общежитии, и учёба надо было бы тогда все бросить, и все равно мы бы не выжили, а это добила бы и меня и тебя. Мы бы просто сломались оба. Оба бы пострадали. Не выжили.

Наступила тишина. Мама замолчала, словно ждала, что невидимый собеседник на её коленях ответит ей или обнимет в ответ. Деменция безжалостно вскрыла ту самую рану, которую она прятала глубоко внутри всю свою жизнь.

Тишина.

Потом снова:

— Он не знает, где ты. Отец не знает. — Пауза. — Не ищи его. Не надо.

Вера стояла у двери с рукой, поднятой к ручке — и не открывала.

Потому что поняла.

Поняла — не умом сначала, чем-то более точным — что мама разговаривает с ребёнком. С тем, которого не было. С тем, который должен был родиться в семьдесят втором — и не родился. С тем, о котором она не говорила никогда, ни разу за сорок лет, ни слова.

Нерождённый сын.

Он был здесь.

В этой тёмной комнате, в оранжевом свете ночника, между старым шкафом и примятым одеялом — он был и здесь, и там. Для неё — был. Так же реально, как Пётр в углу, и более реальный, чем Вера за дверью.

— Он ищет отца, — говорила мама. — Я вижу. Ты ищешь Сашу. — Голос стал тревожным. — Не надо, маленький. Его нет. Он ушёл. Давно ушёл.

Пауза.

— Не злись на меня... пожалуйста...

Вера стояла.

И думала — медленно, тяжело — о девушке в белом платье, которая смеялась в семьдесят первом году. О фотографии с мужчиной в форме, на обороте которой был только год. О том, как эта девушка однажды вернулась из больницы и стояла на остановке и ждала автобус, который не шёл, и думала: значит, всё самой.

Всё самой.

И стала — собой.

Той, которая была за этой дверью.

Той, которая почти пятьдесят лет носила это в себе — и никогда не говорила, и никому не рассказывала, и только сейчас, когда граница между живым и мёртвым истончилась до прозрачности, — только сейчас позволила себе говорить. С тем, кому говорить было уже безопасно. Потому что мёртвые не уходят и не предают.

Они просто — приходят.

Каждую ночь.

Вера опустила руку.

Не открыла дверь.

Пошла обратно к себе.

Легла.

Лежала с открытыми глазами в темноте и думала о нерождённом мальчике, который ищет отца — курсанта Сашу, который сказал «потом, всё потом» и исчез. И о том, что мальчик — по маминым словам — хочет найти его и убить. За то, что не дал родиться. За то, что мама сделала то, что сделала, и не смогла этого не сделать, потому что была слабой и напуганной, и потому что Саша умел говорить нужные слова.

Призрак-мститель.

Ищет отца.

И — маму.

За слабость.

За убийство.

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ УЖАС: ПРИЗРАК-МСТИТЕЛЬ

Крик пришёл в четыре утра.

Не постепенно — сразу. Резкий, высокий, не похожий на мамин голос — или похожий, но на тот голос, которого Вера никогда не слышала, голос из другого времени, из того, где мама была молодой и напуганной, а не старой и командую-

щей.

Вера полусонная вскочила.

Добежала до маминой комнаты — распахнула дверь — и остановилась на пороге.

Мама сидела на полу.

Закрывала лицо руками.

— Уйди, — говорила она — в ладони, сквозь пальцы. —

Уйди от меня. Я не знаю, где он. Не знаю.

— Мама!

— Он ищет! — Мама опустила руки, посмотрела на Веру — взгляд был растерянным, испуганным, но не от Веры, мимо Веры, туда, в угол за шкафом. — Он ищет Сашу! Говорит, что я должна знать где он. Откуда я знаю! Он бросил меня и исчез.

Вера прошла в комнату. Зажгла верхний свет.

Мама зажмурилась от света — потом открыла глаза, огляделась. Что-то в ней изменилось при свете — как будто яркость отогнала то, что было в темноте. Не полностью — нет, это оставалось, она видела это в мамином лице — но чуть отступило.

— Мама. — Вера села рядом. — Что ты видела?

— Подросток, — сказала мама. Тихо. Устало. — Крепыш. Стоит вот здесь. — Она показала на пустое место у кровати. — Лицо — как у Саши. Саша такой же был в молодости, светловолосый. — Пауза. — Холодные руки. Я чувствую — его холодные руки.

Вера смотрела на пустое место у кровати.

— Что он говорит?

— Ищет отца, — сказала мама. — Говорит, я должна показать, где Саша. Чтобы он мог... — Она не договорила. Прикрыла глаза. — Он злится. На меня злится тоже. Говорит — зачем ты. Зачем ты это сделала.

Вера молчала.

За окном была предрассветная темнота — самая плотная, самая безнадёжная, та, что приходит перед самым рассветом, как будто тьма собирает последние силы перед тем, как уступить.

— Мама, — сказала Вера. — Это сон.

— Нет, — сказала мама просто. — Не сон, я не дуручка, и не надо...

— Тебе приснилось.

— Мама открыла глаза, посмотрела на дочь, и в этом взгляде была такая ясность, такая усталая, выстраданная глубина, что Вера на секунду не нашлась с ответом. — Я не сплю уже давно. Я лежу, и они приходят. Мать моя приходит, требует отчёта. Пётр требует, чтобы я починила кран. Саша... Что ты пришла? От них хоть ночью нет покоя, от тебя ни днём ни ночью Что вам всем от меня надо? Дайте мне, наконец, покой.

— Зачем ты с ними разговариваешь?

— Потому что они есть, они требуют — сказала мама. — Они — есть. Вот и всё.

Вера сидела рядом.

Смотрела на мамино лицо — на морщины, на тёмные круги под глазами, на руки, сложенные на коленях. На эти руки, которые когда-то держали мел у доски, которые подписывали какие-то бумаги, которые гладили маленькую Веру по голове — давно, давно, до того, как перестали.

И думала о том, что мама несла это пятьдесят лет.

Одна.

Ни разу не сказала. Ни Вере, ни Серёже. Может, Петру — может. Но Пётр молчал, Пётр всегда молчал, это было его способом существования рядом с этой женщиной.

Пятьдесят лет.

А теперь — граница истончилась. И то, что было по ту сторону, проступило сквозь неё — медленно, как проступает сырость сквозь стену, — и мамин мир наполнился теми, кого нет.

Которые — есть.

— Ты боишься его? — спросила Вера.

Мама помолчала.

— Боюсь, — сказала она наконец. — Потому что он прав. Он прав, что злится. — Пауза. — Я была неправа. Я знала, что неправа, и всё равно.

Больше она не сказала ничего.

Вера помогла ей лечь. Поправила одеяло. Подождала, пока дыхание стало ровным.

Погасила верхний свет.

Вышла.

Вера смотрела на свои руки, освещённые мертвенным светом лампы в своей комнате, и вдруг почувствовала, как по спине пробежал ледяной, игольчатый озноб. В ушах всё ещё звенел этот тонкий, нерождённый голос из-за стены: «Дети должны расплачиваться за неисккупленные грехи родителей».

И тут её обжёг вопрос, от которого она годами бежала в пустоту уборки и вёдер. Ведь мама в том проклятом семьдесят втором году вовсе не была «извергом». Она была просто напуганной девочкой на ледяной остановке, которая поняла: либо этот нерождённый комок плоти, либо — её собственная жизнь.

Она выбрала себя. Она убила его, чтобы не дать убить себя нужде и позору. Она выстроила свою «броню», чтобы выжить.

«Господи, — Вера вцепилась пальцами в край стола так, что затрещали суставы, — неужто я сейчас стою на той же самой остановке?»

Разве не об этом шептал Григорий, вкрадчиво раскладывая свою «математику распада»?

Разве не знакомо это каждому из нас? Тот постыдный, подпольный момент истины, когда ты, глядя на того, кого обязан любить, вдруг ловишь себя на мысли: **«Твоя жизнь — это смерть моей».**

Мы все кажемся себе святыми в своём долготерпении, но

не является ли наша жертвенность лишь долгой, затянувшейся подготовкой к главному прыжку? Мама убила нерождённого быстро, в холодном кабинете, чтобы спасти своё будущее. Я же убиваю её медленно, в своих мыслях, в ожидании её последнего вздоха, чтобы спасти своё настоящее.

В чём же разница между ножом хирурга и моим бесконечным «подожди», которым я затыкаю её крики?

Круг замкнулся. Мама в семьдесят втором купила себе право на выход кровью того, кто не мог защититься. И я теперь, в своём сорок с лишнем лет, с давлением 167/101, смотрю на неё точно так же — как на **препятствие, которое должно быть устранено ради моего спасения.**

Разве не страшно признаться себе, что наше «священное сострадание» — это лишь форма ожидания, когда заложник наконец перестанет дышать? Мы все — пленники этой математики, где жизнь одного всегда покупается ценою исчезновения другого. И я, «золотая дочь», ничем не лучше той девушки в белом платье. Я — её истинное продолжение. Я — её броня, которая наконец научилась кусать своего создателя.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЖИВЫХ СРЕДИ МЁРТВЫХ

Вера так и не заснула, было уже начало пятого утра — тот самый проклятый час, когда тьма за окном становится особенно густой и маслянистой, точно она впитывает в се-

бя все ночные кошмары человечества. Вера тихо прикрыла дверь в мамину спальню, где та наконец забылась тяжёлым, сном, всё ещё прижимая руку к груди, словно защищая свой «сейф» от невидимого мстителя.

Кухня встретила её тишиной и запахом остывшего чая — того самого, что они пили с Григорием вечность назад, когда мир ещё казался просто сложным, а не расколотым надвое. На столе стояла его полупустая кружка, как брошенный на поле боя инструмент.

Она не зажигала большой свет — только маленький, над плитой. Встала у раковины. Открыла воду — холодную, не горячую, — подставила руки.

Держала.

Вода текла по красным, растрескавшимся ладоням — холодная, равнодушная, не спрашивающая ни о чём. Вера смотрела на свои руки под водой — на трещины в костяшках, на щёлочь в трещинах, на то, какими они стали за последние пять лет.

Инструмент.

Не руки человека — инструмент. Офисы, тарелки, кастрюли, таблетки, одеяло, подушка, и снова тарелки, снова офисы.

Она закрыла воду.

Вытерла руки.

Села за стол.

Сидела в тишине и думала о том, что узнала сегодня но-

чью. О нерождённом мальчике, который ищет отца. О Саше — светловолосом курсанте, который сказал «потом» и исчез, и которого мама не называла пятьдесят лет, и который теперь живёт в её ночах через сына, которого убила ради него.

Вот откуда это всё.

Вот откуда прямая спина и командный голос и медаль «Ветеран труда» и деньги в лифчике. Вот откуда страх и недоверие и тарелка с борщом, из которой надо есть первой. Вот откуда любовь к Серёже — любовь-мечта, любовь к тому, которого убила, воплощённая в том, кто родился.

Это была — история болезни.

Не деменции — болезни более давней. Болезни человека, который однажды сделал то, что не смог простить себе, и с тех пор жил с этим, и выжил только потому, что превратил себя в машину — в машину контроля, порядка, выживания.

А машины не каются.

Машины работают.

До тех пор, пока не ломаются.

Вот — ломается.

И в поломке выходит наружу всё то, что машина держала внутри. Пётр в углу. Мальчик у кровати. Саша в лице мальчика.

Пятьдесят лет — внутри.

Теперь — снаружи.

Вера сидела у стола.

И думала — с той холодной ясностью, которая приходит

иногда в четыре утра, когда усталость так велика, что перестаёт быть усталостью и становится чем-то другим, более прозрачным, — думала о том, что мёртвые в этом доме важнее живых.

Пётр и её мать — важнее неё, Веры, которая стоит рядом с таблетками.

Нерождённый — важнее Серёжи, который спит за стеной.

Саша — важнее всех.

Живые обслуживают. Мёртвые — правят.

Она смотрела на свои руки.

И думала — против воли, с той стыдной точностью, от которой не уйти, — думала о том, что Григорий говорил про математику. Про распад. Про рациональное облегчение.

Он говорил об этом — как о чём-то, что можно обдумать, взвесить, принять или не принять. Как о задаче с решением.

А сегодня ночью она увидела другое.

Она увидела, что мама уже — там. Не здесь. Здесь осталось тело — с дыханием и присвистом и таблетками в восемь утра. Но сама она — там, с матерью Петром и с нерождённым, с Сашей, которого ищет его сын.

Там — с мёртвыми.

А значит — там уже и есть её настоящая жизнь.

Странная мысль.

Страшная.

Но — честная.

Честнее всего, что она думала раньше.

Кран капнул.

Кап.

Она смотрела на воду, упавшую в раковину — маленький круг разошёлся и исчез.

Отсчёт.

Капля за каплей.

Она сидела в этой кухне, в этом доме, среди этих запахов — и чувствовала: что-то во всём этом сдвинулось. Окончательно. Необратимо. Как сдвигается земля при оседании — медленно, без звука, но, когда сдвинулась — назад не идёт.

Дом помнил.

Стены помнили Петра — его молчание, его шаги, его привычку сидеть у окна. Помнили мальчика, которого никогда не было — но которого не было так настойчиво, что он всё равно существовал, в маминых ночах, в маминой броне, в маминой любви к Серёже-заместителю.

Помнили курсанта Сашу — светловолосого, с фуражкой в руке, который стоял на осенней фотографии и улыбался в объектив.

Всё это — было здесь.

Всегда было.

Просто теперь вышло на поверхность.

И она, Вера — живая, с красными руками и болью в спине — она стояла посреди всего этого. Единственная живая среди стольких мёртвых и нерождённых. Обслуживала распад — как говорил Григорий. Распад не только тела — распад

границы между живым и мёртвым. Каждую ночь делала это пространство немного более мёртвым, чем оно было.

Пути назад не было.

Она это знала — не умом, той частью, которая знает без слов.

Не было.

Был только путь — вперёд. Куда-то. К чему-то, что она ещё не называла, что стояло впереди как тёмный силуэт, неразличимый пока, но уже — реальный.

Уже — неизбежный.

Кап.

Пауза.

Кап.

За окном небо начинало меняться — едва, самый первый намёк на рассвет. Темнота не уходила — просто становилась другой, чуть менее плотной.

Скоро надо было идти.

Идти на работу.

Убирать чужие офисы.

Возвращаться.

Снова — ночь.

Она сидела и смотрела на рассвет за окном — на этот медленный, неохотный переход из тьмы в серость — и думала о том, что дом помнит всех. Кто был. Кто не родился. Кто умер.

И что она сама — скоро тоже станет памятью.

Если ничего не изменится.

Если она не выберет.

Продолжать становиться жертвой или повторить судьбу матери.

Кран капнул последний раз — и замолчал.

Она смотрела на носик крана — откуда капала последняя капля, собравшаяся и упавшая.

Не следующей не было.

Она встала.

Пошла собираться на работу.

Глава 10. ГРИГОРИЙ-ФАНТОМ

Оптический обман в сумерках

Сумерки в этом доме приходили раньше, чем на улице. Это была особенность старых домов с маленькими окнами и высокими заборами — свет уходил из них постепенно, сначала по углам, потом из середины комнат. К тому моменту, когда на улице ещё можно было читать без лампы, здесь уже стояла та вязкая, густая полутьма, в которой предметы теряли чёткость и становились другими — не страшными, нет, просто — другими, немного неточными, немного не теми, чем были при дневном свете.

Вера знала эту особенность. Она зажигала лампу раньше — в половине пятого уже, зимой в четыре, или раньше — и это было рефлекторным, как синяя кружка на крючке, как таблетки в восемь утра, как всё в этом доме, что делается без мысли, потому что давно стало частью порядка.

Сегодня не успела.

Вера возилась в огороде, бессмысленно и тупо выдирая гнилую, смёрзшуюся с осени ботву.

Мать ничем не могла помочь: из-за болезни её пальцы едва сгибались, иногда даже с трудом держала ложку, а стоило

ей хоть немного наклониться, как голова начинала кружиться, она бледнела, теряла сознание и валилась на землю.

Сергей же завяз в бесконечной, изматывающей суете случайных заработков. Эти шабашки требовали от него быть на месте сию же секунду, и он возвращался домой настолько выжатым и озлобленным от усталости, что огород его только бесил.

В такие дни он приносил кулёк с продуктами — случайными, но недешёвыми, из которых нельзя было приготовить нормальную еду, а можно было лишь как-то подать их в качестве закуски к ужину.

Зато себе он неизменно брал пару двухлитровых бутылок хорошего пива и чипсы. Если на шабашке удавалось заработать больше обычного, эти деньги не приносили в дом радости. Напротив, в Сергее просыпалось дикое, отчаянное желание напиться вусмерть, и он тут же спускал всё до копейки с приятелями.

В перерывах между шабашками он лихорадочно искал новую работу; эта вечная, дёрганая готовность сорваться в любой момент на собеседование, или случайную работу по объявлению не позволяла ему заняться домом, превращая его жизнь в бессмысленное ожидание.

Григорий пришёл, когда на улице уже едва серело. Увидев у забора Веру, которая, согнувшись, упорно возилась в тёмных грядках, он подошёл ближе и тихо предложил помочь. Она даже не подняла головы — лишь коротко качнула

плечом, отказалась, сказав, что уже заканчивает, и негромко бросила: «Проходи в дом, не заперто».

Он вошёл в коридор, привычно разделся в темноте и поначалу хотел было заглянуть в комнату, чтобы поздороваться с Анной Кирилловной. Но из глубины дома донёсся её тяжёлый, хриплый старушечий храп.

Опасаясь потревожить этот редкий, болезненный сон, Григорий осторожно наощупь прошёл на кухню. В глубокой полутьме он стал выкладывать принесённые с собой продукты, но в тишине стеклянные банки громко, отчётливо звякнули, скапнувшись о деревянную столешницу. Из дальней комнаты сразу донёсся прерывистый вздох и шуршание одеяла — Анна Кирилловна проснулась.

Вера, которая откладывала эту тоскливую уборку ещё с осени, вернулась в дом буквально через пять минут после него.

В комнатах уже стояли те душные, серые сумерки — то особенное предвечернее освещение, при котором длинные косые тени ложатся как-то неправильно, искажая углы и внушая человеку смутную, давящую тревогу. Она по привычке пошла к кухне, чтобы наконец зажечь свет, но замерла на пороге.

Григорий сидел за кухонным столом. Вера увидела его ещё из коридора — в проёме кухонной двери, в полутьме: неподвижный силуэт, прямые плечи, руки на столе. Он всегда так сидел — без бытовой суеты, без того мелкого бес-

покойного движения, которое выдаёт человека, которому неловко или скучно. Просто — сидел. Как часть пространства.

Она прошла к маминой двери.

И остановилась — потому что дверь была приоткрыта, и это было не так, как обычно: мама закрывала её плотно, это тоже было правилом, закрытая дверь означала суверенитет.

Приоткрытая — означала: мама встала.

Вера заглянула в комнату.

Пустая.

Значит — вышла уже. Значит в чьей-то комнате или в кухне.

Она пошла на кухню — и только на пороге заметила маму.

Анна Кирилловна стояла у входа в кухню — не вошла, остановилась в дверном проёме, держась за косяк. Смотрела на Григория.

Вера хотела сказать — что-то обычное, «мама, ты встала, хорошо, сейчас ужин», — но не сказала. Потому что увидела мамино лицо.

И остановилась.

На лице мамы был страх.

Не тот страх, который она видела раньше — не страх отравления, не страх за деньги, не страх одиночества. Другой. Более древний, более животный — тот, который бывает у человека, который увидел что-то, что не укладывается в его понимание реальности.

Мама смотрела на Григория.

В сумеречном освещении кухни — косо́й свет из окна, тени от занавески, полутьма по углам — он выглядел иначе, чем при дневном свете. Крупнее. Темнее. Тяжелее. Силуэт без деталей — широкие плечи, прямая спина, тёмный свитер.

Мама смотрела на этот силуэт.

И видела — не его.

Вера поняла это не сразу. Поняла, когда мама медленно — очень медленно, как движутся люди во сне — отступила на полшага назад и вцепилась в дверной косяк обеими руками. Как вцепляются, когда хотят удержаться. Или когда хотят, чтобы было за что держаться, пока смотришь на то, от чего хочется бежать.

— Мама, — сказала Вера тихо.

Мама не повернулась.

Смотрела на Григория.

Тот сидел неподвижно.

Он видел маму — Вера была уверена, что видел, что слышал Верин голос, — но не двигался. Не поворачивался. Не говорил ничего. Просто сидел в своей обычной позе — руки на столе, прямая спина — и смотрел перед собой.

Или на маму.

Вера не могла разобрать в полутьме, куда он смотрит.

Мама сделала ещё полшага назад.

И Вера вдруг увидела — по тому, как мама держит голо-

ву, по тому, как прищурены её глаза, по тому, как пальцы вцепились в дверной косяк — увидела, что мама не видит Григория.

Видит кого-то другого.

Кого-то, кто сидит на его месте.

В его теле.

С его лицом.

Но — другого.

«ТЫ ПРИШЁЛ МСТИТЬ?»: ДИАЛОГ С ТЕНЬЮ

— Ты пришёл, — сказала мама.

Не вопрос. Утверждение. Голос был тихий, почти без интонации — тот голос, который Вера слышала через дверь ночью, помолодевший, заискивающий, с дрожью.

Григорий не ответил.

— Ты пришёл, — повторила мама. — Я знала, что придёшь. Я ждала.

Она говорила это — в кухню, в полутьму, в направлении Григорияного силуэта. Говорила, как говорят с тем, кого давно ждали и кого, дождавшись, не знают — радоваться или бояться.

Вера стояла в коридоре.

Не входила.

Не понимала ещё — ни до конца, — кого видит мама. Но

что-то в интонации, в той особой дрожащей просительности, которую она слышала ночью через дверь, — что-то говорило: мама видит не Григория.

— Мама, — сказала Вера. — Это Григорий Иванович. Мама не услышала.

Или услышала — и не согласилась.

— Зачем ты пришёл? — спросила мама у силуэта Григория. Голос стал тоньше, напряжённее. — Ты хочешь убить меня? За то, что я сделала?

Григорий молчал.

Вера смотрела на него — на его профиль, на неподвижное лицо — и видела: он слышит. Всё слышит. И молчит — не потому, что не знает, что сказать, не потому что растерян. А потому что — слушает. Наблюдает. С тем профессиональным вниманием человека, который привык собирать информацию и не тратить слов там, где слова не нужны.

— Я не хотела, — сказала мама. Голос снова изменился — стал просительным, почти детским, тем голосом, которым просят прощения у того, кто сильнее и кто прав. — Я не хотела так. Он сказал — нельзя, служба, устав. Я была молодая. Я не знала, что делать. Я бы не справилась.

Она говорила — быстрее, быстрее, как говорят люди, которые боятся, что не успеют объяснить до того, как что-то случится.

— Тебе было бы лучше, — сказала мама. — Понимаешь? Нужды бы столько было. Я тогда ничего не имела, снимала

угол в общежитии, стипендия маленькая, родителям нечем было помогать мне, а он — он бросил бы нас всё равно. Он бросил бы. Ты бы всё равно остался без отца, не выжил.

Она говорила это — своему неродившемуся сыну, которого видела на месте Григория. Объясняла. Оправдывалась.

Перед пустотой.

Перед тенью.

Перед тем, что пятьдесят лет носила внутри и что теперь вышло наружу и заняло чужое тело.

Григорий повернул голову.

Медленно — посмотрел на маму. Прямо, без выражения.

Мама вскрикнула — коротко, резко — и отшатнулась за дверной косяк. Спряталась — буквально, по-детски спряталась за косяк, только глаза выглядывали из-за него, испуганные, широко открытые.

— Не смотри так, — сказала она из-за косяка. — Не смотри. Я знаю, что ты злишься. Я знаю.

Григорий смотрел на неё.

Молча.

И это молчание — эта его абсолютная, непоколебимая тишина, это отсутствие слов там, где любой обычный человек уже давно сказал бы «Анна Кирилловна, это я, Григорий, успокойтесь», — это молчание было страшнее любых слов.

Потому что молчание не разубеждало.

Молчание позволяло маме видеть то, что она видела.

Молчание соглашалось.

Вера смотрела на Григория — и думала, быстро, под поверхностью: он делает это намеренно. Он мог бы сказать. Мог бы окликнуть её, встать, подойти — любое движение, любой звук вернул бы маму к реальности, или хотя бы приблизил бы к ней. Но он сидел неподвижно и молчал.

Наблюдал.

— Мама. — Вера наконец вошла в кухню. — Мама, это Григорий Иванович, ты его знаешь, ты приглашала его на свой юбилей. Посмотри на меня.

Мама посмотрела на неё.

И вот здесь — в этом взгляде — Вера увидела что-то, что остановило её на полушаге.

Мама смотрела на неё.

И не узнавала.

СТИРАНИЕ ВЕРЫ: ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК КАК ПУСТОЕ МЕСТО

Это длилось секунду.

Может, две.

Мама смотрела на неё — прямо, в упор — и в её взгляде не было ни раздражения, ни командности, ни той усталой близости, которая бывает между людьми, прожившими рядом слишком долго и знающими друг друга насквозь. Не было ничего узнающего. Был взгляд, которым смотрят на незнакомца — осторожный, оценивающий, с лёгкой тревогой.

— Кто вы? — спросила мама.

Вера стояла.

— Мама, — сказала она. — Это я. Вера. Твоя дочь.

Мама смотрела на неё.

— Какая дочь, — сказала она — не вопросительно, а скорее рассуждая вслух, как рассуждают, когда информация не совпадает с тем, что видишь. — Вера в кухне. Верочка — она там.

Она показала — в сторону окна.

В сторону пустого пространства у окна.

Вера смотрела туда.

Там никого не было.

Там было — окно, занавеска, горшок с геранью, подоконник. Пустота.

Но мама смотрела туда с тем же выражением, с каким смотрела на Григория — с узнаванием, с тем особым вниманием, которое достаётся тому, кто есть.

Вера — живая, стоящая в метре от неё, с красными руками и болью в спине, — была для мамы в эту минуту «незнакомкой».

Вера замерла, чувствуя, как холод коридора проникает под кожу. Разве не в этом скрыт самый потаённый страх каждого из нас?

Наверняка, каждый из нас когда-нибудь ловили себя на обидном чувстве, что люди, которые должны знать вас лучше всех, на самом деле смотрят не на вас, а на ту функцию,

которую вы для них выполняете?

Вы приносите чай, поправляете одеяло, говорите правильные слова, но в какой-то момент с ужасом осознаете: если вы замолчите и перестанете двигаться, они просто пройдут мимо, даже не заметив, что в комнате стало пусто.

Мы все, к сожалению, строим свои жизни как декорации, надеясь, что нас любят за то, кто мы есть. Но в этой сумеречной кухне Вера поняла: **мы — лишь тени, которые другие люди раскрашивают своими потребностями.** И как только потребность исчезает или разум затуманивается, мы стираемся, как мел с доски.

Страшно не то, что мать её не узнала. Страшно было признаться себе: а есть ли там, под слоями многолетнего «обслуживания распада», кто-то, кого вообще можно узнать?

— Мама, — сказала она ещё раз — тихо, с тем усилием, которое требуется, чтобы говорить ровно, когда внутри что-то кричит. — Посмотри на меня. Я здесь. Это я.

— Вы кто? — спросила мама — строже теперь, с той интонацией, с которой спрашивают у чужих людей, что они делают в чужом доме. — Вера не говорила, что придут гости.

— Мама.

— Не подходите ко мне. — Мама отступила — снова к дверному косяку, снова вцепилась в него. — Вы от него пришли? — Она кивнула в сторону Григория. — Вы оба пришли?

— Никто ни от кого не пришёл, — сказала Вера. Голос

был ровный. Она следила за этим — за ровностью голоса. — Мы живём здесь. Я живу здесь всегда. Я твоя дочь.

Мама смотрела на неё.

Долго.

Потом — что-то в её лице изменилось. Не просветлело — нет, до просветления было далеко. Просто морщина между бровями стала глубже, как будто мама пыталась что-то рассмотреть, что было нечётким.

— Вера? — сказала она неуверенно.

— Да. Я, я мамочка.

— Ты... другая какая-то.

— Я не другая. Я та же.

— Глаза другие.

Вера не ответила на это.

Стояла и смотрела на маму — на это испуганное, растерянное, ищущее лицо — и думала о том, что мама права. Глаза — другие. Не внешне, не цветом, не формой. Чем-то внутренним — тем, что живёт глубже радужки, в том, что отражается из глубины, когда смотришь долго.

Да. Другие.

Потому что та Вера, которую мама знала — покорная, поправляющая скатерти, говорящая «сейчас, мама» и «я знаю, мама» — та Вера уходила. Медленно, по кусочку, но уходила. А на её месте появлялась другая — та, которая сидела ночью на кухне и не прогоняла мысли. Та, которая думала про математику и про право на жизнь. Та, которая написала

в блокноте: «Я здесь медленно исчезаю» — и не испугалась того, что написала.

Та.

Мама её чувствовала.

Даже сквозь деменцию — чувствовала, что дочь стала другой.

— Мама, — сказала Вера. — Пойдём, я тебя уложу.

— Он там сидит, — сказала мама — снова про Григория, снова с тем страхом.

— Я знаю. Пойдём.

Вера взяла маму за руку — осторожно, как берут птицу — и повела к двери. Мама шла — тихо, послушно, оглядываясь на Григория. Григорий сидел неподвижно.

Смотрел на них.

Вера не смотрела на него.

ВСПЫШКА УЗНАВАНИЯ И «ГРУДНОЙ СЕЙФ»

В спальне она усадила маму на кровать.

Включила верхний свет — яркий, без теней, тот, который разгоняет полутьму и возвращает предметам их обычные очертания. Маме верхний свет не нравился — она всегда говорила, что он резкий, что голова болит от него. Сейчас — не сказала ничего.

Сидела и моргала.

Привыкала.

Потом — из кухни — голос Григория:

— Анна Кирилловна.

Просто. Ровно. Её имя, сказанное обычным голосом.

Мама вздрогнула.

Повернула голову в сторону кухни — туда, откуда шёл голос, — и что-то в её лице начало меняться. Медленно, как меняется небо, когда облако отходит от солнца: постепенно, неравномерно, сначала один край светлеет, потом другой.

— Григорий? — сказала мама.

Голос был — другой. Уже не тот заискивающий, не тот испуганный. Обычный. Старческий. Её голос.

— Это вы? — сказала она.

Григорий вошёл в дверной проём спальни — встал на пороге, не заходя.

— Я, — сказал он.

Мама смотрела на него.

Долго смотрела — с тем пристальным вниманием, с каким смотрят на что-то, когда хотят убедиться, что видят то, что видят, а не то, что казалось минуту назад.

— Я думала... — начала она.

— Я знаю, — сказал Григорий.

— Мне показалось...

— Бывает, — сказал он — ровно, без осуждения, без той снисходительной мягкости, с которой обычно говорят с пожилыми людьми в таких ситуациях. Просто — бывает. Факт.

Мама кивнула.

Поправила рубашку.

И вот здесь — в этом привычном жесте, в этом «поправила рубашку» — Вера увидела: мама прижала руку к груди. На секунду — проверяющим движением, быстрым, почти незаметным. Ощупала.

Деньги.

Проверила, на месте ли деньги.

Узнавание принесло не облегчение — принесло следующий страх. Тот, который шёл сразу за первым: значит, это не призрак. Значит, это живой человек. А живой человек — это другое. Живого человека можно бояться по-другому. По-конкретному.

— Зачем вы здесь? — спросила мама у Григория.

Тот же вопрос, что она задавала призраку. Но теперь — с другой интонацией.

— Пришёл проведать вас и Веру, — сказал Григорий.

— Поздно уже.

— Да.

— У нас нет ничего, — сказала мама — и рука снова, незаметно, легла на грудь. — Нечего тут смотреть.

Вера стояла рядом и наблюдала.

Наблюдала за тем, как мама перешла от одного страха к другому — от метафизического, призрачного, к практическому, бытовому. От нерождённого сына к реальному чужому мужчине, который сидит в её кухне и которому, она уве-

рена, нужно что-то.

Что-то конкретное.

Дом, например.

— Григорий Иванович помогает нам, мама, — сказала Вера. — Ты его знаешь.

— Знаю, — сказала мама — быстро, не глядя на дочь. — Знаю, что знаю. — И снова — к Григорию: — Вы на дочери жениться хотите?

Григорий чуть помолчал.

— Мы ещё не решили, — сказал он.

— Дом запишите на неё, — сказала мама. — Если жени-тесь — дом на неё. Я в завещании написала — всё Вере. Что-бы знали.

— Я знаю, — сказал Григорий.

— Откуда знаете?

Пауза.

— Вера говорила, — сказал он.

Мама посмотрела на Веру.

Вера встретила её взгляд.

В мамином взгляде было — что-то. Что-то, что Вера не сразу смогла назвать. Не недоверие — нет. Не страх. Что-то похожее на понимание. На то особое, глубинное понимание, которое иногда остаётся у людей даже тогда, когда всё остальное уходит — как последний свет в комнате, когда все другие лампы уже погасли.

Она понимала.

Что-то — понимала.

Вера подала ей ту самую таблетку, что были прописаны доктором на случай этих страшных, роковых минут. Мать приняла её без единого слова, без малейшего ропота, точно приговор, безжизненными своими пальцами, поспешно проглотила и судорожно, стуча о край стакана зубами, запила водой, всё так же упорно устремляя свой болезненный, воспалённый взгляд куда-то в угол, мимо дочери.

— Ложитесь, Анна Кирилловна, — сказал Григорий из дверного проёма. — Поздно.

Мама посмотрела на него.

— Вы уйдёте? — спросила она.

— Уйду.

— Сегодня?

— Сегодня.

Мама кивнула. Легла — медленно, с помощью Веры, которая поддержала за плечо. Вера поправила одеяло. Мама лежала с закрытыми глазами — рука на груди, там, где деньги.

Живой сейф.

Тёплый.

Последнее, что реально.

ФИЛОСОФСКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ: НАБЛЮДАТЕЛЬ И ЖЕРТВА

Они вернулись на кухню вместе.

Вера включила лампу — верхний свет, яркий, тот, который разгоняет сумерки и возвращает кухне её обычный вид. Стол, стулья, сушилка с посудой, герань на подоконнике. Всё на своих местах.

Григорий сел.

Вера встала у плиты — не садясь, просто встала, потому что не хотела сидеть, хотела иметь возможность двигаться.

Молчали.

Потом она сказала:

— Ты молчал.

— Да.

— Когда она говорила с тобой. Как с ним. Ты молчал.

— Да, — сказал он. — Молчал.

— Почему?

Он посмотрел на неё.

— Потому что разубеждать в таком состоянии — бесполезно, — сказал он. — Это только пугает сильнее. Лучше — тишина.

— Или потому, что было интересно наблюдать.

Пауза.

Он не ответил сразу. Смотрел на неё — с тем ровным

вниманием, которое она давно научилась читать, за которым всегда было что-то, не совпадающее с тем, что снаружи.

— Да, — сказал он наконец. — И это тоже.

Она смотрела на него.

— Ты наблюдал за ней, как за — — она остановилась, потому что слово, которое пришло, было неудобным. — Как за объектом.

— Как за человеком, — сказал он. — В очень конкретной ситуации.

— В которой ты намерен использовать.

— Вера.

— Нет. — Она не дала ему перебить. — Я говорю то, что думаю. Ты сидел неподвижно и молчал, пока она видела в тебе нерождённого сына, который пришёл мстить. Ты мог остановить это в любую секунду. Одним словом. Встать, сказать её имя, включить свет.

— Мог, — согласился он.

— Но не сделал.

— Нет.

— Зачем?

Он помолчал.

— Хотел понять, — сказал он, — до какой степени она там. В другой реальности.

— И что — понял?

— Да, — сказал он. — Она — там. Глубоко. Глубже, чем я думал, порою глубже чем здесь.

Вера смотрела на него.

— Тебе не было её жалко? — спросила она.

— Жалко, — сказал он — без паузы, просто. — Жалко.

Это — жалкое зрелище. Старый человек, которого преследует то, что он сделал полвека назад. — Пауза. — Но жалость — это не основание для решений. Жалость — это эмоция. Решения принимаются иначе.

— Как?

— На основании фактов.

Вера молчала.

За стеной — тихо. Мама, кажется, заснула — дыхание ровное, слышно даже отсюда, через стену.

— Она приняла тебя за него, — сказала Вера. — За нерождённого сына.

— Да.

— Потому что ты — мужчина. Примерно того возраста, каким он мог бы быть.

— Скорее всего.

— Это — случайность?

Он посмотрел на неё.

— Что именно?

— То, что ты — именно такого возраста. Что ты похож на того курсанта, Сашу. — Она смотрела на него прямо. — Ты знал это?

Пауза.

— Нет, — сказал он. — Я не знал про Сашу. Я не знал

про нерождённого сына.

— Но ты видел — она боится тебя. С самого начала.

— Да, видел.

— И это тебя не смутило.

— Нет.

— Потому что это — часть плана?

Он смотрел на неё.

Долго.

С той ровностью, которая сегодня вечером, после того, что она видела — как он сидел в полутьме и молчал, пока мама говорила с призраком в его теле, — после этого казалась ей не опорой, а чем-то другим.

— Плана нет, — сказал он. — Есть — понимание ситуации. И — выводы из этого понимания.

— Какие выводы?

— Она уже там, — сказал он. — В другой реальности. Не здесь. — Пауза. — Живые для неё — менее реальны, чем мёртвые. Ты только что видела это сама — она смотрела сквозь тебя.

Вера молчала.

Потому что это была правда.

Мама смотрела сквозь неё. Видела пустоту у окна и называла эту пустоту Верой. А живую Веру — не видела.

— Живые для неё — обслуга, — продолжал Григорий. — Ты — та, кто приносит таблетки. Серёжа — тот, кто иногда бывает. Я — тот, кто пугает. Мёртвые — Пётр, мальчик —

они для неё более настоящие, чем все вы.

— Это — страшно, — сказала Вера.

— Да, — согласился он. — Страшно.

— И что ты предлагаешь делать с этим?

Он посмотрел на неё.

— Она уже там, — повторил он. — В другой реальности.

Одновременно — здесь и там. — Пауза. — Понимаешь, о чём я?

— Нет, — сказала Вера. — Скажи прямо.

Он помолчал секунду.

— Есть такой мысленный эксперимент, — сказал он. —

Про кота в закрытом ящике. Кот — одновременно жив и мёртв. Пока не открыли ящик — оба состояния существуют одновременно. — Пауза. — Она — как тот кот. Одновременно здесь — и там. Одновременно жива — и уже в том мире, где Пётр сидит в углу, а уже подросток ищет отца.

Вера смотрела на него.

— И кто открывает ящик? — спросила она тихо.

Григорий смотрел на неё.

Долго.

— Тот, кто рядом, — сказал он.

Тишина была длинной.

Кран не капал — она закрутила его плотнее ещё утром.

За стеной — мамино дыхание. Ровное. Тихое. С присвистом.

Живая.

Пока.

— Одновременно жива и мертва, — повторила Вера — тихо, почти себе.

— Да.

Наступили те минуты тягостного затишья, когда внешняя, предметная жизнь с её мелкими подробностями вдруг выступает на первый план, точно пытаюсь заслонить собою только что пережитый ужас.

Вера сидела неподвижно, в каком-то оцепенении опустив голову. Взгляд её блуждал и с нервным, почти лихорадочным любопытством останавливался на мелочах: на стёршемся, выцветшем узоре по краю скатерти, на пустой и давно остывшей кружке Григория.

Наконец она долго, пристально всматривалась в свои собственные руки, подмечая каждую трещину на загрубевших костяшках, точно в этом уродстве искала и находила подтверждение всей своей теперешней муке. Чтобы вернуть утраченное душевное равновесие, ей необходимо было занять себя привычным, механическим делом.

Она поднялась, зажгла газ под чайником и поставила в микроволновку макароны, приготовленные на ужин.

— Давай поужинаем, — выговорила она тихо, и в голосе её, наряду с мягкой покорностью судьбе, прозвучал странный, затаённый стыд, точно она совершала нечто непозволительное. — Я приготовила макароны по-флотски мамини любимые.

Руководствуясь тем бессознательным женским чувством гостеприимства, которое не угасает в человеке даже в минуты глубочайшего несчастья, она наложила Григорию огромную, сытную горку. Себе же положила совсем малость, заранее зная, что кусок не пойдёт в горло. Всё что принёс сегодня Григорий стояло ещё на столе. Григорий с привычной мужской исполнительностью, безмолвно открыл одну из принесённых магазинных банок огурцов и с натужным, резким скапом вскрыл её.

Они принялись за еду в глухом, сосредоточенном молчании. В этом молчании не было вражды; это было то странное, гнетущее и в то же время сближающее чувство, которое рождается между людьми, разделившими общее постыдное горе или тайну.

Поев, Вера налила чай, открыла принесённое Григорием печенье и тотчас ушла к раковине мыть тарелки — монотонный шум воды приносил ей минутное успокоение и позволял не встречаться с Григорием глазами.

Чай они допивали все так же беззвучно, точно связанные невидимой, тяжёлой цепью.

— Иди, — промолвила она наконец, взглянув на тёмное окно и не в силах более выносить эту удушливую, полную взаимного понимания тишину. — Уже поздно.

Григорий послушно и как-то поспешно встал, точно только и ждал этого разрешения.

Взял куртку — она висела на том же месте на вешалке.

Надел. Взял сумку.

У двери остановился.

— Вера, — сказал он.

— Да.

— Она уже не вернётся. — Пауза. — В то, чем была. Дальше будет проваливаться только глубже.

Она не ответила.

Он вышел.

Калитка сКапнула — один раз, захлопнулась.

Шаги по улице.

Потом — тишина.

Вера сидела одна в освещённой кухне.

Слушала мамино дыхание за стеной.

И думала о коте в ящике. О том, что кот одновременно жив и мёртв. О том, что кто-то рядом открывает ящик.

И о том, что она — рядом.

Уже пять лет рядом домашнего ада.

И ящик — рядом.

За стеной.

За выцветшей льняной скатертью и присвистом на выдохе и деньгами, прижатыми рукой к груди во сне.

Она сидела.

И не уходила.

Сидела в освещённой кухне, и тишина дома казалась ей теперь не отсутствием звуков, а присутствием чего-то иного. Словно Григорий, уходя, оставил ящик приоткрытым. Она

посмотрела на дверь маминой комнаты. Если реальность создаётся действием наблюдателя, то кем она стала в ту секунду, когда не возразила Грише?

В тишине дома раздался звук. Это не был кашель или скрип половицы. Это был тихий, почти неразличимый шорох, словно кто-то невидимый скребся когтями по картону изнутри закрытой коробки. Коробка ещё была запечатана, но Вера ещё до конца не понимала сказанного Григорием, но кожей чувствовала: **тот, кто сидел внутри, уже перестал быть и живым, и мёртвым.**

Он стал ожиданием. И этот "кот" теперь смотрел на неё сквозь стены её собственными глазами. Она поняла: ящик все равно придётся открыть. Но что, если, открыв его, она обнаружит там не мать, а — себя?

ГЛАВА 11. «КОТ ШРЁДИНГЕРА»

ТЕНЬ МЕЖДУ МИРАМИ: ВОПРОС ВЕРЫ

Григория не было почти неделю, пришёл только в среду, по своему обыкновению — без всякого предупреждения. Он просто открыл калитку собственным ключом, и уже через минуту, точно и не уходя никогда, сидел за столом, перед кружкой чая, которую Вера, по уже заведённой привычке, поставила перед ним совершенно автоматически, даже не подумав спросить, хочет ли он.

С ужином в доме было уже кончено. Мать спала, а за стеной Серёжа, как всегда, ушёл в свой компьютерный мир; он сидел в наушниках, но до Веры всё равно долетало его невнятное, глухое, раздражающее своей монотонностью бормотание. Вера было предложила Григорию отужинать, но тот отказался, заметив, что его вполне сытно покормили на работе.

Вера села напротив него. Руки её — красные, покрытые мелкими болезненными трещинами от непрерывного труда — неподвижно лежали на скатерти, напоминая какой-то грубый, брошенный за ненадобностью инструмент. Она пристально смотрела на них, и в эту минуту тяжёлые, мучитель-

ные думы целиком завладели её существом.

Вот уже три ночи подряд из маминой комнаты доносился этот страшный, затаённый голос — как-то зловеще и странно помолодевший, униженно-заискивающий, лепечущий и беседующий с кем-то невидимым в темноте. И три ночи подряд Вера замирала в каком-то безвыходном, лихорадочном оцепенении, совершенно не зная, что со всем этим делать, тогда как семейный врач лишь равнодушно отмахивался, повторяя своё жестокое: «Деменция, терпите». Но хорошо её показать психиатру. Тот выпишет более сильные таблетки, чтобы было всем спокойнее.

— Григорий, — сказала она.

— Слушаю тебя.

— Она его видит. — Вера подняла взгляд. — Ночью разговаривает. Отвечает. Ждёт, пока он ответит. Это — бред деменции? Или он там, в углу, действительно есть?

Григорий смотрел на неё.

— Это важный вопрос, — сказал он.

— Для меня — очень. Потому что, если это просто бред — я понимаю, что делать. Лекарства, врач, наблюдение. А если это что-то другое — — она остановилась. — Я не знаю, что думать. Я слышу, как она с ним разговаривает. И он ей отвечает. Она ждёт пауз. Она спорит. Это не монолог сумасшедшего — это диалог.

За окном был тихий мартовский вечер. Фонарь. Мокрый

забор.

— Хорошо, я объясню, — сказал Григорий. — Но придётся начать издалека.

— Давай.

ФОТОННАЯ ДУАЛЬНОСТЬ: Григорий-просветитель

Он откинулся на спинку стула.

— Помнишь из школы — свет? — спросил он.

— Физика. Помню немного.

— Свет — это фотон. Маленькая частица. Но вот парадокс: когда учёные ставили один эксперимент — фотон вёл себя как частица. Когда другой — вёл себя как волна. — Пауза. — Помнишь? Одно и то же — и частица, и волна. Одновременно. В зависимости от того, как смотришь.

— Это невозможно.

— Это квантовая физика. Там многое невозможного для нашего мира. — Он взял кружку. — Природа — честный свидетель. Она отвечает только «да» или «нет». Спросишь у фотона: «Ты частица?» — природа отвечает «да». Спросишь: «Ты волна?» — снова «да». Обе реальности существуют одновременно. Пока ты не выбрал, что именно измеряешь.

Вера смотрела на него.

— Откуда ты это знаешь? — спросила она. — Ты военный. При чём тут квантовая физика, и причём тут моя мама?

Что-то изменилось в его лице — едва заметно, на долю секунды. Что-то напряглось под этой обычной ровностью.

— Я не просто военный, — сказал он. — Я офицер. Военная академия связи. Там математика, физика, информатика и химия серьёзные — Пауза. — Если бы не ранение и коммисация, я бы сейчас после боевых действий, уже большой пост занимал.

Он сказал это коротко. Без жалобы. Но в этой краткости было что-то — придавленное, давнее, то, что не прошло и не пройдёт.

Вера поняла: этот человек знает, что потерял. И не простил тем, из-за кого потерял.

— Так при чём здесь мама? — спросила она.

ФАРФОРОВАЯ ВАЗА: Математика выбора

— Подожди, — сказал он. — Я вижу, что ты запуталась. Давай проще.

Он поставил кружку.

— Представь: тебе по почте прислали посылку. Внутри —

фарфоровая ваза. Хрупкая. Дорогая. И почтальон по дороге уронил эту коробку на бетон.

Вера слушала.

— Ты держишь коробку в руках, — продолжал он. — Скотч ещё не разрезан. И вот вопрос: ваза пока была в дороге разбилась или нет?

— Не знаю. Надо открыть.

— Именно. Пока не открыла — ты не знаешь. А значит, для тебя существуют обе реальности одновременно. Ваза и целая, и разбитая. Оба варианта — реальны. — Пауза. — Но в ту секунду, когда ты разрежешь скотч и откроешь коробку — реальность этого мира определится. Ваза станет либо целой, либо грудой осколков. Твоё действие — открыть коробку — и создаёт окончательную реальность. Учёные назвали этот мысленный эксперимент «Котом Шрёдингера». Они в коробку кота посадили вместо вазы. Смысл тот же: кот либо жив, либо мёртв.

Вера смотрела на свои руки и вдруг поймала себя на мысли, которую часто чувствует, что её настоящая жизнь — та, полная света, мечтаний и смысла — заперта в какой-то пыльной коробке, а она лишь годами стоит снаружи, боясь сорвать скотч, потому что в глубине души подозревает, что коробка уже давно пуста.

Разве не в этом главная трагедия человеческого существования? Мы привыкли считать себя важными и нужными, но

часто обнаруживаем, что **мы** — **лишь декорации в чужих затянувшихся драмах**, функции, которые покорно ждут сигнала, чтобы наконец начать жить.

Вера поняла: страшно не то, что ваза в коробке может быть разбита. Страшно осознать, что **ты сам добровольно стал этой коробкой**, скрывающей чужой распад, и единственное, что поддерживает в тебе иллюзию жизни — это страх перед окончательной правдой

Вера молчала.

Подумала о двери в мамину комнату.

За дверью было тихо. Ровное дыхание. Присвист.

Она почувствовала — физически, как холод по рукам — что понимает, куда он клонит. Понимает — и не хочет понимать. Одновременно.

— Мама — это стакан? — спросила она тихо.

— Мама — это коробка, — сказал он. — Закрытая.

РАДИО НА КВАНТОВОЙ ВОЛНЕ: Мать как оболочка

Григорий говорил тише.

— В квантовом мире возможно оба варианта одновременно. Я тебе объяснял про фотон — он и частица, и волна. Пока не смотришь. — Пауза. — Твоя мама — то же самое. Умом она уже там. В той реальности, где Пётр сидит в углу,

и пацан ищет отца.

Она переключилась — как старый радиоприёмник, который поймал другую волну. Чужую. Квантовую. — Он говорил ровно, без нажима, как объясняют очевидное. — Здесь осталась оболочка. Тело. Оно дышит, ест, требует таблетки. Но — её в нём уже нет. Той, которая была.

Вера смотрела на него.

— Ты говоришь, что её личность умерла, — сказала она.

— Я говорю, что она ушла, — поправил он. — Не умерла — ушла. Туда, где ей, может быть, лучше. Где Пётр, где — он сделал паузу, — тот пацан. Где её настоящий мир. — Пауза. — А здесь — оболочка. Которая страдает от того, что застряла между двумя реальностями. Это и есть её мучение — она одновременно там и здесь. Ни там до конца, ни здесь.

— Так я не поняла, то, что она видит — это реально или нет? Они есть на самом деле, или нет? — спросила она.

— Они одновременно и есть, и их нет, как кот, который в закрытой коробке. А состояние кота зависит от того, кто открывает коробку — ответил он.

Вера слушала.

И думала — против воли, с той стыдной честностью, ко-

торая приходит в поздний час — что это описание было точным. Она видела это сама. Мама смотрела сквозь неё — живую, стоящую рядом — и видела пустоту у окна, которую называла Верой. Настоящей Верой. А живая Вера была для неё незнакомкой.

Кто — настоящий в этом уравнении?

— Она страдает, — сказала Вера.

— Да, — сказал Григорий.

— И буде только хуже.

— Да, и врачи это говорят.

Тишина.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА: Рациональное избавление

Кран капнул.

Один раз — Вера подтянула его плотнее, но он всё равно капал, разработался окончательно, надо было менять не прокладку, а весь механизм.

Кап.

— Ты говоришь, — сказала Вера медленно, — что она — закрытая коробка. И что пока мы не открыли — существуют обе реальности. Она и жива, и не жива.

— Да, — сказал Григорий.

— И что, когда — если — коробку откроют — это не убийство. Это определение реальности.

— Примерно так.

— Умно, — сказала Вера.

Она сказала это без интонации. Просто — слово. Потом помолчала.

— Григорий, — сказала она.

— Да.

— Я понимаю твою теорию. Фотон, ваза, кот. Я понимаю, что ты хочешь сказать. — Пауза. — Но я не готова.

Он смотрел на неё.

— К чему именно?

— К тому, о чём ты говоришь, — сказала она. — К открытию коробки. — Она подняла взгляд — прямо, без уклонения. — Она моя мать. Да, она там, в другой реальности. Да, она меня не узнаёт иногда. Да, это только хуже будет. Всё это — правда. — Пауза. — Но я не готова. Нет.

Григорий молчал.

Смотрел на неё — с той ровностью, которая не давила, не торопила. Просто — была.

— Я не прошу делать «сейчас», — сказал он наконец.

— Я знаю.

— Я прошу — думать.

— Я думаю, — сказала она. — Я только и делаю, что думаю. — Она посмотрела на свои руки — на трещины в костяшках, на красноту. — Но думать и решать — разное.

— Да, — согласился он.

За стеной — мамино дыхание. Ровное. Тихое.

Кап.

Вера смотрела в сторону двери маминой комнаты.

Закрытая коробка.

Ваза внутри — целая или разбитая. Кот — живой или мёртвый.

Она — снаружи. С ножом для скотча в руках.

Но нож — в руках. Ещё не поднятый. Ещё не занесённый.

— Иди, — сказала она. — Поздно.

Григорий встал. Оделся. Взял сумку.

У двери не остановился.

Просто вышел.

Калитка.

Тишина.

Вера сидела одна в кухне и слушала, как капает кран.

Кап.

Пауза.

Кап.

Закрытая коробка дышала за стеной.

Вера осталась одна в кухне. Кран молчал, но эта тишина не приносила покоя — она была похожа на затишье пе-

ред взрывом. Она посмотрела на дверь маминой комнаты и вдруг отчётливо поняла то, о чем Григорий предпочёл промолчать: **наблюдатель всегда платит свою цену за фиксацию реальности.**

Невозможно открыть ящик и остаться тем же человеком, который его держал.

В тишине дома ей почудилось, что за стеной раздался не вздох, а тихий, приглашающий смех. Словно нарождённый уже подростка Саша, о котором мама бредила по ночам, тоже ждал этого момента. Вера коснулась пальцами столешницы и вздрогнула: дерево казалось непривычно холодным. Она поняла: **эксперимент уже начался.** И нож, которым будет вскрыт этот ящик, уже занесён не в руке, а в её собственных мыслях. Теперь оставался лишь один вопрос, который не давал ей дышать: **кто на самом деле сидит в этой коробке — её мать или её собственная душа, ожидающая избавления?**

ГЛАВА 12. ПСИХИАТР

ВИЗИТ ВРАЧА

Семейный врач пришла в четверг — Маргарита Васильевна, немолодая, с потёртым чемоданчиком и тем профессиональным лицом усталого человека, который видел достаточно, чтобы не удивляться, но ещё не видел достаточно, чтобы перестать сочувствовать.

Вера открыла ей дверь.

Мама сидела в кресле — прямая, в дневном платье, с убранными волосами. К врачам она готовилась всегда — это был принцип: встретить врача в надлежащем виде, чтобы врач понял с первого взгляда, с кем имеет дело.

— Анна Кирилловна, — сказала Маргарита Васильевна, — как мы себя чувствуем?

— Плохо, — сказала мама. — Иначе бы не вызывала, очень плохо.

Маргарита Васильевна поставила чемоданчик, достала тонометр.

Мама протянула руку — аккуратно, с той готовностью человека, который давно знает все ритуалы и выполняет их точно.

Манжетка. Накачивание. Тишина.

— Сто двадцать девять на восемьдесят два, — сказала врач.

— Этого не может быть, — сказала мама.

— Хорошее давление для вашего возраста.

— У меня сердце болит. Вы не слышите — болит. Это не давление.

Маргарита Васильевна послушала фонендоскопом — методично, без спешки, несколько точек. Мама стояла с прямой спиной и смотрела прямо перед собой, как смотрят люди, которые убеждены в своей правоте и ждут, когда это наконец подтвердят.

— В пределах возрастных отклонений, — сказала врач.

— В каких ещё пределах, — начала мама — голос поднялся, в нём появилась та знакомая напряжённость, предвестник. — Я чувствую. Мне плохо. Или вы мне говорите, что я своего тела не чувствую?

Маргарита Васильевна посмотрела на неё — спокойно, без раздражения, с той особой терпеливостью людей, которые слышат это каждый день от десяти разных пациентов.

— Давайте ещё раз послушаем, — сказала она.

Послушала ещё раз.

Та же пауза. Тот же результат.

— Анна Кирилловна, сердце работает. Я выпишу вам за-
мену Кардиомагнилу — есть новый препарат, лучше дей-
ствует.

— Выписывайте, — сказала мама — с тем удовлетворе-
нием человека, который добился своего. Не важно, чего —
важно, что добился.

Врач писала рецепт.

— Верочка, — сказала мама вдруг, — дай мне воды.

Вера принесла воду.

Маргарита Васильевна подняла взгляд на Веру — мимо-
лётно, профессионально. Потом снова на блокнот с рецеп-
том.

— Вера, — сказала она, — давайте я и вас осмотрю, раз
уж здесь.

— Не надо, — сказала Вера. — Я нормально.

— Всё равно. Рукав закатайте.

Вера закатала.

Манжетка. Накачивание. Тишина.

— Сто пятьдесят семь на девяносто семь, — сказала Мар-
гарита Васильевна.

Мама немедленно оживилась.

— Вот! — сказала она. — Вере и надо лечиться. Молодая, а давление. Это всё нервы, всё нервы от того, что матери перечит. Я ей говорю слово — а она мне сто в ответ.

— Вера, — сказала врач — ровно, не реагируя на маму, — это не норма для вашего возраста.

— У меня всегда немного повышенное.

— «Немного повышенное» и сто пятьдесят семь — разные вещи. — Маргарита Васильевна смотрела на неё с тем выражением, которое Вера видела у врачей редко — не равнодушием, не усталостью, а чем-то похожим на беспокойство. Настоящим, не профессиональным. — Вы нормально спите?

— Нормально.

— Вера.

— По-разному.

— Едите?

— Да.

— Когда последний раз отдыхали? Не дома — вне дома. Поездка, хотя бы день.

Вера молчала.

Она не помнила. Это было плохим признаком — что не помнила, потому что не могла оставить маму на брата.

Мама в это время разворачивала рецепт, который ей выписали, и изучала его с видом человека, который проверяет

работу подчинённого.

Маргарита Васильевна написала что-то ещё.

— Это что? — спросила мама, заметив второй бланк.

— Направление к психиатру.

Пауза.

Потом — мама распрямилась. Это было заметно даже со спины: что-то во всей фигуре стало жёстче, плотнее, как бывает перед тем, как человек начинает говорить то, что говорит громко.

— Это зачем? — спросила мама. Голос был ещё ровным — но в нём уже был тот звук, который Вера знала: звук натянутой струны перед тем, как лопнет.

— Анна Кирилловна, я направляю вас на консультацию, в вашем возрасте это надо. Это стандартная процедура при вашем —

— Не надо из меня делать дурочку, — сказала мама.

Голос поднялся — резко, сразу, без промежуточной ступени.

— Я не дурочка. Я всю жизнь работала, я ветеран труда, я ОТК руководила, у меня 25 человек в подчинении были. — Она смотрела на врача с тем взглядом, которым смотрели на неё подчинённые — прямо, жёстко, не допускающим возражений. — Это Вере к психиатру надо. Вот она — психованная стала. Всё матери перечит, покоя нет, нервы мои

треплет. Ей таблетки выписывайте. Ей.

— Анна Кирилловна, — начала Маргарита Васильевна.

— И направление ей давайте. — Мама кивнула на Веру — коротко, как кивают на предмет, который требует починки. — Она давно уже того. Ненормальная стала.

Вера стояла у стены.

Смотрела на маму.

И думала — быстро, под поверхностью, пока лицо оставалось нейтральным — о том, что мама это говорит без злобы. Без расчёта. Она это — думает. По-настоящему думает: Вера ненормальная, Вере нужны таблетки, Вере к психиатру.

Это была её реальность.

Такая же настоящая, как Пётр в углу.

— Я подумаю насчёт направления, — сказала Маргарита Васильевна. Встала. — Вера, проводите меня.

Вера вышла за ней на крыльцо.

Мартовский воздух был холодный, с запахом мокрой земли и прошлогодней листвы.

Маргарита Васильевна остановилась у ступенек. Достала сигарету — закурила, сделала затяжку, выдохнула.

— Вы не курите? — спросила она.

— Нет.

— Правильно. — Пауза. — Вера, я скажу вам кое-что, и вы меня выслушайте. Не перебивайте.

— Хорошо.

Врач смотрела во двор — туда, где среди облезлого забора чернели голые сучья старой яблони, а над мокрыми крышами висело глухое, беспросветно-серое небо. Вся эта унылая картина точно отражала ту ровную, бесстрастную пустоту, которая неизбежно поселяется в душе человека, ежедневно созерцающего чужую погибель.

— У меня на участке восемь таких семей, — проговорила она ровно, без интонации, как говорят лишь о том, что слишком важно и что уже невозможно, да и грешно украшать. — Восемь. Деменция разной степени, разный возраст — от шестидесяти до девяноста одного. И почти все требуют ежеминутного, каторжного ухода. И ведь все проживут ещё долго, очень долго, и могут пережить тех, кто за ними ухаживает.

Тело-то держится, понимаете ли, цепляется за жизнь, когда голова уже совсем ушла, — это медицинский, непреложный факт.

Она сделала глубокую, жадную затяжку, и сигаретный дым на мгновение скрыл её осунувшееся лицо. Врач зафиксировала взгляд на тлеющем огоньке, точно в этой крошечной искре была сосредоточена вся нелепость человеческого

существования.

— Недавно, на моем участке, умерла женщина, — тихо, почти шёпотом продолжила Маргарита Васильевна. — Не пациентка моя, нет дочь пациентки. Всего пятьдесят два года ей было. Острый инфаркт миокарда. У плиты прямо и рухнула, как подкошенная, — матери обед готовила

Вера молчала. Внутри неё что-то судорожно сжалось, похолодело; этот чужой инфаркт у чужой плиты вдруг показался ей её собственным, неминуемым будущим. Каждое слово врача падало в её сознание, как тяжёлый, могильный ком земли.

— Она ведь ко мне ходила была, — с какою-то затаённою, горькою мукой, похожей на скрытое самобичевание, продолжила врач. — Ходила с болями в груди последние полгода. Я её умоляла, направляла на ЭКГ, на обследование, пугала даже! А она всё откладывала — некогда ей, видите ли, всё мама, мама, то-сё, грех оставить Пришла один раз, второй раз не пришла, ...

Наступила пауза — долгая, удушливая, страшная. Воздуха на крыльце как будто не стало.

— Теперь вот мать её забирают в специализированное учреждение, — резко, с внезапным надрывом выговорила

Маргарита Васильевна и посмотрела на Веру прямо в глаза, в самую душу. — Государство признало её недееспособной, органы опеки бумажки свои оформляют, я уже всё подписала, что нужно В тот день я проходила мимо — шла по вызову к другой пациентке. Увидев у их ворот машину скорой помощи, решила зайти и узнать, что случилось. В квартире медики как раз констатировали смерть. Труп несчастной на полу лежит, даже простыней прикрыть не успели. А вы знаете вы хоть понимаете, Вера, что мне эта старуха в ту же секунду сказала?

Маргарита Васильевна вдруг замолчала, и лицо её перекопилось от какой-то судорожной, брезгливой гримасы. Она мёртвой хваткой вцепилась Вере в предплечье, и пальцы её задрожали.

— Эксперт тело описывает, в прихожей чужие люди топчутся, а мать сидит рядом на табуретке, ножками болтает и капризно так, с искренней старческой обидой мне выдаёт, точь-в-точь как ребёнок, у которого игрушку отняли: «Вот паразитка какая, помереть она надумала! Сама улеглась, а мать даже обедом перед этим не покормила». Понимаете, вы это, Вера? Человеческий разум ушёл, стёрся, а вместо него остался один только прожорливый, слепой желудок, который проклинает своего мёртвого ребёнка за то, что суп остался неотваренным!

И вот скажите мне, Христа ради, кому лучше-то от это-

го вышло? Дочь заживо в могилу зарылась, убила себя, чтобы только долг исполнить, дотла выгорела, загоняла себя в гроб! Сама теперь в сырой земле, а мать — мать всё равно в казённый дом, к чужим людям, на койку с клеёнкой Где же тут смысл? Где же правда-то высшая, коли все они — и праведники, и безумцы — в одну бездну валятся?

Вера стояла на крыльце, оцепенев от этого страшного, обнажённого вопроса, и молчала. Ей казалось, что эта бездна уже разверзлась прямо у её ног, уводя за собой и мамины макароны, и выцветшую скатерть, и её собственную, медленно угасающую жизнь.

Холодный воздух. Запах сигареты. Мокрая яблоня.

— Вы поняли, что я вам сказала? — спросила Маргарита Васильевна.

— Поняла.

— Мне ваш вид не нравится, — сказала врач. — И давление ваше мне не нравится. Придите ко мне на приём. Нормально придите — не между делом, а запишитесь, придите, я вас отправлю на обследование. Не губите себя понапрасну.

— Да времени нет, — сказала Вера. — На двух работах — и здесь и в офисах. Прихожу домой, а тут — — она не договорила.

Маргарита Васильевна смотрела на неё.

— Знаю, — сказала она. — Я понимаю, что времени нет. Я понимаю, что прийти — значит время найти, а время — это ещё одна вещь, которой у вас нет. — Пауза. — Но послушайте меня. Та женщина тоже говорила: некогда. До последнего говорила.

Тишина.

Где-то за забором — машина проехала. Фонарь на углу начал мигать.

— Вера, — сказала врач — тише, уже не врачебным голосом, просто голосом человека, который говорит то, что думает, — вы знаете, что самое страшное в таких семьях?

— Что?

— Что человек, который ухаживает, — привыкает считать свою жизнь менее важной. — Она докурила, положила в бутылку, в которую Сергей складывал свои окурки. — Это происходит незаметно. Сначала — один раз отложить своё. Потом — второй. Потом это становится нормой. И в какой-то момент оказывается, что своей жизни уже просто нет. — Пауза. — Запишитесь. На следующей неделе.

— Хорошо, — сказала Вера.

— Это не «хорошо, чтобы отвязалась». Это — запишитесь.

— Я запишусь.

Маргарита Васильевна взяла чемоданчик.

— Мать ваша проживёт долго, — сказала она — не жестоко, просто честно. — Такие организмы крепкие. Лет пять, а то и десять ещё, может — больше. — Она посмотрела на Веру. — Вы это понимаете? А у вас столько времени нет.

— Понимаю.

— И вы понимаете, что это означает для вас.

Это не был вопрос.

Вера молчала.

— Запишитесь, — повторила Маргарита Васильевна. И пошла к калитке.

Вера стояла на крыльце.

Долго.

Холодный воздух. Запах земли и старой листвы. Фонарь на углу — мигал, мигал, потом перестал и загорелся ровно.

Пять лет, десять лет

Может, больше.

Она смотрела на яблоню — на тёмный силуэт против серого неба — и думала о женщине, которая упала у плиты. Которая готовила матери обед и умерла. Которая ходила к врачу с болями в груди и откладывала обследование — некогда, мама, то-сё.

Которой больше нет.

А мать — в специализированном учреждении.

Государство оформило документы. Органы опеки.

Никто не спрашивал, хотела ли мать. Никто не спрашивал, хотела ли дочь. Просто — оформляют. Забрали. Жизнь дочери — в никуда. Жизнь матери — в казённый дом.

Где смысл, сказала Маргарита Васильевна.

Где смысл.

Вера стояла и думала об этом вопросе — не отгоняла его, не смягчала. Просто думала. Там внутри что-то работало — медленно, тяжело, как работает жёрнов, — и перемалывало то, что было сегодня. Давление сто пятьдесят семь. Направление к психиатру. Мама: это Вере нужны таблетки. Врач: такие организмы крепкие, лет пять, десять ещё.

Пять, или десять лет, или больше.

Её давление — сто пятьдесят семь.

Она стареет.

Та женщина была пятидесяти двух.

Математика.

Та самая математика, про которую говорил Григорий. Только теперь она была не его словами — она была цифрами из тонометра, словами усталого врача на крыльце, историей чужой дочери, которая упала у плиты.

Это была не теория.

Это была практика.

Вера зябко запахнула пальто.

Пошла в дом.

Мама сидела в кресле и изучала новый рецепт.

— Ну что нажаловалась, насекретничались, что она сказала? — спросила мама, не поднимая взгляда.

— Велела наблюдать.

— Я ей говорила — сердце. А она «в пределах». — Мама положила рецепт на колени. — Молодые врачи — ничего не слышат. Надо было к Надежде Семёновне — та понимала.

— Надежда Семёновна на пенсии.

— Вот именно. Хороших врачей выживают.

Вера прошла на кухню.

Встала у раковины.

Открыла воду — холодную. Подставила руки — красные, с трещинами, с тонометрными следами от манжетки на запястье.

Сто пятьдесят семь.

Она смотрела на воду, текущую по рукам, и думала о том, что сказала Маргарита Васильевна. О том, что человек, который ухаживает, привыкает считать свою жизнь менее важной. Что это происходит незаметно.

Первый раз — откладываешь своё.

Второй.

Третий.

И потом — просто нет своего. Оно ушло. Не единым моментом — по кусочку, по капле, как вода из незакрытого крана.

Кап.

Она подняла взгляд.

Кран не капал — она закрутила его плотно. Просто почудилось.

Или — не почудилось. Просто звук уже жил в ней — постоянный, фоновый, как живут в человеке долгие вещи, которые становятся частью его ритма.

Кап.

Пять, десять лет.

Или больше.

Такие организмы крепкие.

Вера закрыла воду.

Вытерла руки.

Вернулась к маме.

— Принести чаю с булочкой, шла с работы свежих купила?

— Принеси, — сказала мама. — И хлеб посмотри — я утром хотела, там чёрствый был.

— Посмотрю.

— И нарежь тонко. Ты всегда толсто режешь.

— Хорошо, мама.

Она пошла на кухню.

Достала хлеб.

Взяла нож.

И резала — тонко, ровно, как умела, как всегда, умела, — и думала о женщине, которая готовила матери обед и упала у плиты. И о том, что та женщина, наверное, тоже резала хлеб тонко. И тоже говорила: некогда, некогда, сначала маме.

До последнего говорила.

Вера отложила нож. На кухне воцарилась стерильная тишина. Григорий был прав: реальность создаётся действием наблюдателя. Мать уже давно переключилась на «чужую волну», и её присутствие здесь было лишь иллюзией.

Теперь оставался лишь один вопрос, который не давал Вере дышать: **кто на самом деле заперт в этой коробке — её мать или её собственная душа, ожидающая избавления?**

В тишине дома ей почудилось, что кран не просто капает, а отсчитывает последние секунды перед тем, как она решится разрезать скотч. Коробка была готова к открытию. И Вера знала: если мать тогда смогла переступить через жизнь ребёнка ради себя, то она, Вера, имеет право переступить через оболочку матери, чтобы просто... начать свободно дышать.

ГЛАВА 13. ЭКЗЕКУЦИЯ: ГОЛОС

ПОКУПКА АЛИБИ

После ужина Серёжа топтался у крыльца с половины шестого.

Это была его особая привычка — топтаться. Когда ему было некуда идти без денег, но дома оставаться было тяжело, и он ещё не решил, куда именно покинуть пространство, не объясняя зачем, — он топтался. Нервно выходил во двор, смотрел на забор, на улицу, на яблоню, снова на забор. Руки в карманы. Руки из карманов. Поднял что-то с земли — щепку, бросил. Посмотрел на небо.

Небо было тёмное, серое, мартовское, без обещаний.

Григорий пришёл после к шести.

Он шёл через двор — ровно, без спешки — и Серёжа почувствовал его ещё до того, как увидел: что-то изменилось в воздухе двора, стало плотнее, определённое, как бывает, когда входит человек, который знает, зачем пришёл.

— Серёжа, — сказал Григорий.

— А. — Серёжа обернулся. — Что.

— Ты сегодня вечером свободен?

Серёжа посмотрел на него.

Вопрос был с подтекстом — он это чувствовал, не умом, чем-то более точным и более животным. Григорий стоял перед ним — руки спокойны, взгляд ровный — и ждал ответа с той особой неподвижностью, которая у обычных людей бывает в момент, когда они нервничают и скрывают это, а у Григория была просто — всегда.

— Ну, в общем, — сказал Серёжа, — дел особых нет.

— Вот, — сказал Григорий.

Он достал из кармана несколько купюр. Не считал — просто протянул. Серёжа смотрел на них секунду.

Купюры были хорошие. Не огромные — но хорошие. На вечер хватит, и на ночь останется.

— Это зачем? — спросил Серёжа.

— Иди к ребятам, — сказал Григорий. — Посиди где-нибудь с ними, расслабься. Я смотрю ты весь усталых, замученный. Надо же когда-то и отдыхать. Ведь мы же должны заботиться о родственниках, а мы же с тобою уже почти родственники. Не правда ли? Не торопись домой.

Серёжа смотрел на купюры.

Потом — на Григория.

Что-то в нём — та часть, которая ещё работала отчётливо, которая умела читать ситуации и понимать то, что не говорится вслух, — эта часть говорила: что-то здесь не так. Деньги просто так не дают. Особенно — с условием «не торопись домой».

Но другая часть — большая, привычная, та, что всю жизнь находила повод взять то, что дают, — другая уже тянулась к купюрам.

— А мама? — спросил он.

— Мама под присмотром, — сказал Григорий. — Вера здесь. Всё нормально.

Серёжа взял деньги.

— А понял, не дурак. — сказал, и сунул деньги в карман — быстро, не глядя, как прячут что-то, что неловко держать на виду. Потом достал руку. Посмотрел на Григория.

— Хорошо, — согласился Григорий.

Серёжа пошёл к калитке.

На середине двора — остановился. Обернулся.

Григорий стоял и смотрел на него — ровно, без выражения, без торопливости.

— Григорий, — сказал Серёжа.

— Что.

Пауза.

Серёжа смотрел на него — и что-то пытался сказать, что-

то, что вертелось на языке, что он понимал не словами, а тем более глубоким пониманием, которое у него оставалось от всего, что было когда-то в нём живым и настоящим.

Но слова не нашлись.

— Ничего, — сказал он.

Повернулся.

Вышел за калитку.

Григорий проводил его взглядом — долго, постоял. Потом пошёл в дом.

Вера видела это из кухонного окна.

Видела, как Григорий протянул деньги. Как Серёжа взял. Как обернулся на полпути и что-то хотел сказать и не сказал. Как калитка захлопнулась.

Она стояла у окна с чашкой остывшего чая.

Внутри — что-то работало. Не мысль ещё — предчувствие. То тёмное, безымянное, которое приходит раньше понимания, раньше слов, просто — опускается на грудь и сидит там, тяжёлое, как камень.

Она знала: сегодня что-то случится.

Не знала — что именно.

Или — знала. Не давала себе знать до конца.

Григорий вошёл на кухню.

— Серёжа ушёл, — сказал он.

— Я видела.

— Хорошо.

Он сел за стол. Поставил сумку — ту матерчатую, с которой приходил всегда. Расстегнул. Достал что-то — Вера не сразу поняла что. Плоское, прямоугольное, в тёмном чехле.

Планшет.

Она смотрела на него.

— Что это? — спросила она.

— Инструмент, — сказал он.

— Какой инструмент.

Он поднял на неё взгляд.

— Помнишь, — сказал он, — ты рассказывала. Что мать ночью разговаривает с подростком. Называет его Сашей. Что он ищет отца.

— Помню, — сказала она медленно.

— Она его слышит, — сказал Григорий. — Значит, если он позовёт — она откликнется.

Вера смотрела на планшет.

Потом на Григория.

— Нет, — сказала она.

— Вера.

— Нет. Что ты собираешься сделать?

Он смотрел на неё — спокойно, с той ровностью, которая в такие моменты была страшнее любого давления.

— То, что должно произойти так или иначе, — сказал он.

— Рано или поздно.

— Не сегодня.

— Лучше когда, когда она тебя в гроб загонит?

— Не так.

— Как — «не так»?

Она не ответила.

Потому что ответа не было. Потому что слово «не так» было честным — она не знала, как именно, она только знала, что это — не так, что этот вечер, этот планшет, этот взгляд Григория через стол — это не так, что в ней есть что-то, что сопротивляется, что не согласно, что кричит — беззвучно, глубоко, там, куда не пускают слова.

— Она выйдет на улицу, — сказал Григорий. — Без пальто. В марте. Ночью. — Пауза. — Это медицинский факт — при её состоянии такое переохлаждение...

— Замолчи, — сказала Вера.

— ...может привести к —

— Замолчи, я сказала.

Тишина.

Григорий смотрел на неё.

Она смотрела на планшет.

На тёмный экран. На молчащее устройство, которое лежало на столе как обычный предмет — плоский, прямоугольный, ничего особенного. Просто вещь.

— Вера, — проговорил вдруг Григорий, и в тихом, глухом голосе его уже не было прежнего настояния, а слышалась лишь какая-то роковая, леденящая душу покорность. — Вера вспомни, помысли хоть на мгновение, что ведь врач-то тогда на крыльце напороочил! Пять лет, десять лет а ну как и больше того суждено? Понимаешь ли ты, какая это бездна? Вспомни, Вера, вспомни про давление-то своё — ведь сто пятьдесят семь тогда намерили, шутка ли! Кровь-то твоя уже ключом бьёт, не справляется сердце И неужели, неужели ты позабыла про ту несчастную женщину, про дочь-то, что у плиты в замертво рухнула, с инфарктом мать ублажала? То же ведь всё маме обед готовила, всё долг свой мученический исполняла Помнишь ли ты её, Вера?..

— Помню.

— Тогда ты понимаешь.

— Понимаю, — сказала она. — И всё равно — нет.

Он посмотрел на неё долго.

Потом кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Иди к себе.

— Что?

— Иди к себе. Ляг. Ты не спала нормально — сколько?

Ляг.

— Григорий, что ты собираешься —

— Вера. — Он смотрел на неё прямо. — Иди.

Она стояла.

Смотрела на него.

И думала — с той страшной ясностью, от которой некуда деться, — что он сделает это так или иначе. Что он уже решил. Что Серёжа отправлен. Что планшет лежит на столе. Что всё уже готово.

И что единственное, что изменится от её присутствия или отсутствия, — это то, будет ли она видеть.

Она встала.

Пошла в коридор. Приоткрыла дверь в материну комнату, будто подошла попрощаться. Там было тихо, мать лежала под одеялом лицом к стене. Тихо сопела, отдыхала после ужина.

Вера не плотно прикрыла дверь, дошла до своей комнаты, остановилась у своей двери.

Осталась стоять — не войдя. Прислонилась спиной к стене. Закрыла глаза. Потом прошла в комнату, прилегла

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЗРАКА

Было уже около полуночи, когда Григорий включил планшет.

Вера слышала это — не звук включения, он был беззвучным, но почувствовала: что-то изменилось в тишине дома. Как меняется воздух перед грозой — не слышишь ничего, не видишь, но знаешь: сейчас.

Она встала, вышла в коридор стояла у своей двери.
Замерла.

За маминой дверью было тихо — ровное дыхание, при-
свист. Спит. Ещё спит.

Из кухни — тихие звуки. Григорий что-то делал с планшетом. Она не слышала что.

Только — тихое движение, потом тишина, потом снова.
Она сползла по стене.

Опустилась на пол — прямо в коридоре, у своей двери, согнув колени, обхватив их руками. Сидела на холодном деревянном полу и смотрела на тёмный коридор.

Ночник горел у плинтуса — оранжевый, маленький.

Этот ночник она купила три года назад — мама боялась темноты, не признавалась, но боялась. Вера увидела это и купила ночник. Не спросила. Просто поставила.

Три года этот ночник горит каждую ночь.

Она думала об этом — о ночнике, о трёх годах, о том, что никогда не спрашивала разрешения его поставить, просто поставила, потому что увидела, что нужно. Потому что знала маму. Знала её страхи — те, которые мама не называла вслух.

Знала. Поэтому и купила без разрешения.

И сидела сейчас на полу в коридоре.

Потом — из кухни.

Сначала тихо. Почти неслышно. Так тихо, что она не сразу поняла: это — не из её головы. Это — реально. Это идёт из динамика планшета в кухне, через стену, сквозь деревянные перегородки этого старого дома, который помнил всех.

Голос.

Подростковый. Высокий. С той особой незащитностью, которая бывает только у детских голосов — когда они плачут не громко, а тихо, когда они ещё не научились кричать взрослому, когда они просто — зовут.

— Мама... мама Аня... это Саша...

Вера вцепилась в колени.

Пальцы побелели.

Голос был — настоящий. Не механический, не синтетический, не тот роботизированный звук, который выдаёт программу. Настоящий. Живой. Тонкий, с дрожью, с той надломленностью, которая бывает в голосе ребёнка, который долго плакал и теперь устал и зовёт — почти без надежды, просто зовёт, потому что больше нечего делать.

— Мама... я здесь... ты слышишь меня...

Она знала, что это программа.

Она знала, что это Григорий с планшетом на кухне.

Она знала, что этого ребёнка не было — он не родился, не жил, не умер, просто — его не существовало.

Вера сидела, сжавшись в комок, словно надеясь сделаться невидимой, раствориться в душном полумраке.

Из-за дверей выполз звук. Это был голос — тот самый, замогильный, страшный голос, от которого у Веры внутри всё перевернулось и застыло. Григорий включил планшет. Он сознательно, расчётливо извлекал из пластиковой коробочки этот мертвенный шёпот, этот фантом, чтобы там, в спальне, окончательно столкнуть несчастную мать в бездну безумия, доконать её, разрушить остатки угасающего ума.

И тут случилось то, что было сильнее всякого рассудка, сильнее воли и гордости. Вера ещё не успела ничего по-

мыслить, разум её ещё цепенел в диком, неверующем ужасе перед низостью Григория, а слезы — крупные, горячие — уже пошли сами, без всякого её решения, без мысли о том, что она плачет. Просто — хлынули из глаз безудержным, горячим потоком. Тело не спрашивало у головы разрешения. Каждая жилка, каждая клетка её измученного существа узнала этот страшный звук; кожа покрылась мертвенной, ледяной испариной, сердце заколотилось у самого горла, готовое разорваться от этого удушливого, искусственного призрака. Рассудок пасовал перед физиологическим, животным кошмаром этого голоса, а слезы всё текли и текли в абсолютной, гробовой тишине коридора, смывая последнюю надежду на спасение.

— Мама... почему ты меня убила, почему не взяла... я ждал...

За маминой дверью — тишина.

Потом — движение.

Скрип кровати. Тот характерный скрип — правый бок.

Потом шаги.

Медленные, неровные, ночные шаги человека, который идёт не туда, куда надо, а туда, куда зовут.

Григорий с планшетом переместился на крыльцо дома.

Вера вернулась в свою комнату, чтобы не видеть этот кошмар.

Села под дверью, но отчётливо слышала, как мама идёт к двери.

Слышала, как её дверь открывается — медленно, с усилием. Как шаги выходят в коридор.

Анна Кирилловна вышла в ночной рубашке.

Босиком.

— Саша, — говорила она тихо. — Саша, я слышу тебя. Я иду.

Она прошла по коридору.

Прошла мимо кухни — Вера слышала шаги по деревянному и скрипучему полу.

Потом — скрип входной двери.

Потом — скрип крыльца.

Потом — тишина.

Вера сидела прямо на полу, в самом углу своей темной комнаты, забившись туда, как затравленный, приговорённый к казни арестант. Холодные доски жгли сквозь плотный халат, но она не чувствовала этого; её била крупная, сухая, лихорадочная дрожь. Из коридора, просачиваясь сквозь щели закрытой двери, всё ещё полз этот мертвенный, скрежещущий электронный шёпот, этот искусственный ад, устроенный Григорием.

Воздух в комнате сделался густым, удушливым, как в склепе. Ей казалось, что, если она сейчас же, сию мину-

ту не уцепится за что-то твёрдое, простое и осязаемое, её собственный рассудок улетит вслед за маминым, разобьётся вдребезги о стены этого проклятого дома.

И она начала считать. Она ухватилась за цифры, как за последнюю спасительную соломинку над разверзшейся бездной.

— Один — сорвалось с её пересохших, искусанных в кровь губ. Звук собственного голоса показался ей чужим, точно кричал кто-то другой, из сумасшедшего дома.

— Два — Она зажмурилась так крепко, что в глазах поплыли багровые, уродливые пятна. Каждая секунда тянулась бесконечно, разбухая от невыносимого, звенящего в ушах напряжения. Григорий на улице продолжал свою палаческую работу, и каждый удар её сердца отзывался тупой боли в висках — сто пятьдесят семь, сто пятьдесят семь

— Пять — Слезы уже высохли, оставив на щеках стягивающую, грязную корку. Тело её налилось свинцовой, каторжной тяжестью. Ей казалось, что она физически врастает в этот грязный пол, погружается в землю.

— Десять — Время точно остановилось, превратилось в душливую вечность, в которой существовали только этот мёртвый голос из планшета, безумная мать и она, Вера, живо погребённая в своём углу. Какое-то страшное, роковое ожесточение, какая-то исступлённая, дикая решимость

начали подниматься со дна её истерзанной души. Хватит. Нельзя больше.

На счёте «сорок» это лихорадочное оцепенение вдруг повалось. Цифры кончились, уступив место какому-то холодному, страшному прозрению. Вера поднялась. Она встала на ноги медленно, преодолевая страшную слабость в коленях, точно поднимался не живой человек, а мертвец из гроба, готовый совершить то неминуемое, что уже было решено за неё этой роковой, беспощадной секундой.

ПОБЕГ В БЕЗУМИЕ

Она вышла на крыльцо.

Март. Ночь. Холод — настоящий, не тот, что бывает днём, когда солнце хотя бы пытается. Ночной мартовский холод — острый, влажный, с запахом мёрзлой земли и далёкого снега, который ещё не решил, возвращаться или нет.

Мама шла по двору.

Босиком.

В ночной рубашке — белой, тонкой, совершенно не для улицы. Шла медленно, но целенаправленно — к калитке. Маленькая, прямая, с растрёпанными волосами, в луже фонарного света на мокром асфальте двора.

Называла что-то вполголоса — Вера не слышала слов, только интонацию: просительную, умоляющую, ту, которую слышала ночью через дверь.

Калитка открылась.

Мама вышла на улицу.

Вера стояла на крыльце.

Смотрела.

Ледяной мартовский воздух с размаху ударил в грудь, но она не заметила холода. Внутри неё, в самом растерзанном её сознании, сцепились насмерть два голоса одновременно — так бывает только в самых удушливых, предсмертных кошмарах, когда хочешь закричать, побежать, спасись от палача, но ноги налились свинцом и не слушаются воли.

Один голос — вкрадчивый, страшный, парализующий — шептал ей прямо в ухо: *«Стой. Стой, не двигайся, так надо. Это должно наконец случиться, слышишь ли ты? Ты ведь сама знаешь, что это единственный исход»*. Этот голос говорил спокойно, расчётливо-рационально, чужими словами Григория, математически высчитывая секунды: *«Это — переохлаждение это — сырой март это — старый, совершенно больной человек без пальто, босиком на ледяном асфальте Несколько минут — и всё кончится, и бездна поглотит твой крест, освободит тебя заживо»* Этот голос искушал её совер-

шить убийство одним лишь бездействием, одним лишь стоянием на месте.

Другой же голос не произносил ни единого слова. В нем не было человеческого языка. Он был древнее, сильнее и праведнее любого рассудка. Он просто тянул её — дико, властно, как тянет раненого зверя к жизни. Вперёд! К калитке! Туда, на тёмную улицу, к несчастной, безумной матери, которая идёт сейчас босиком по мартовской грязи и зовёт в пустоту своего нарождённого, убитого сына!

Сколько она так простояла в этом страшном оцепенении, разрываемая пополам на пороге греха? Она не знала. Быть может, целую вечность, спрессованную в одну удушливую минуту, а может — всего лишь мгновение, за которое вся её душа успела сгореть дотла.

И вдруг это наваждение порвалось. Живое, человеческое чувство победило мёртвую логику. Вера сбежала с крыльца. Почти не помня себя, задыхаясь, она полетела через двор, распахнула калитку и выскочила на улицу.

Мать стояла прямо посреди пустой проезжей части.

Одинокий, тусклый фонарь горел прямо над её головой, выхватывая из темноты эту страшную, фантазмагорическую картину. Час ночи, мёртвая тишина, ни души кругом. И сре-

ди этого бескрайнего мартовского мрака — тонкая, жалкая фигура в белой ночной рубашке, слабо трепещущей на ледяном ветру. Старуха стояла неподвижно на холодном, черном асфальте и исступлённо, с какой-то безумной надеждой смотрела вперёд — туда, где дорога уходила в непроглядную ночную темень. Там, в этой пугающей мгле, было нечто такое, что видела, осязала и любила сейчас одна только она.

— Мама — сорвалось наконец с губ Веры, тихо, почти с благоговейным ужасом перед этой минутой.

Старуха медленно, точно преодолевая сопротивление невидимой стены, обернулась. Она устремила на Веру тот самый страшный, блуждающий взгляд, который дочь уже слишком хорошо, до пытки знала: взгляд узнающий и не узнающий одновременно. В этих угасающих глазах сквозило мучительное усилие; мать видела, сознавала, что перед ней стоит живой человек, близкое существо, но рассудок её уже не мог, не имел сил окончательно разрешить — кто же именно явился ей в этой мартовской тьме.

— Ты не Саша — проговорила наконец мама каким-то загробным, бесстрастным шёпотом.

— Нет, мама, нет, родная Я Вера. Дочь твоя, Вера, — лепетала та, шагнув к ней и едва сдерживая судорожные, подступающие к горлу рыдания.

— Он звал меня Он тут был, крошка моя — исступлённо,

с какою-то дикою, застарелою тоской повторила старуха, все ещё всматриваясь в ночную даль.

— Я знаю, всё знаю Пойдём, мамочка, пойдём домой, дорогая!

— Он здесь стоял совсем близко Куда же он ушёл?

— Мама! — Вера приблизилась вплотную, не выдержав более этой пытки, и судорожно схватила её за руку. Пальцы старухи были уже совершенно ледяными, окоченевшими, они не гнулись, точно у мертвеца. — Мама, господи, да ведь ноги-то у тебя совсем голые, на холодном асфальте! Пойдём же, умоляю тебя!

— Ушёл?.. — тихо, с невыразимой детской покорностью переспросила она.

— Ушёл, ушёл

— Да куда же?

— Не знаю, мамочка, наверное туда, к себе Пойдём, ради бога, пойдём скорее!

Мать ещё раз, в последний раз обвела долгим, тоскливым взглядом непроглядную темноту улицы, словно прощаясь с кем-то навеки. Потом — медленно, тяжело, как поворачиваются в удушливом, кошмарном сне — повернула своё бледное лицо к Вере.

— Холодно — промолвила она вдруг, и всё тело её внезапно сотряслось от мелкой, старческой дрожи.

— Да, да, холодно, родная! Пойдём!

— Я ведь пальто не взяла

— Вижу, мамочка, вижу

— Надо было взять пальто — произнесла вдруг мама совершенно здраво, с какою-то поразительной, практической точностью, которая порой так неожиданно, так необъяснимо прорывалась сквозь весь её лихорадочный бред, подобно тому, как чистая, глубокая струя ключевой воды вдруг пробивает мутную, гнилую накипь болота. — Я ведь всегда тебе говорила, Верочка, — надо одеваться, всегда надо одеваться. А сама вот вышла так нехорошо

— Пошли, мама, пошли, голубушка моя

И Вера, обняв её за худые, вздрагивающие плечи, бережно, как величайшую святыню и как свой самый тяжёлый, безропотный крест, повела её обратно, в темнеющий впереди дом.

Мама шла — тихо, послушно, держась за Верину руку. Голые ноги на холодном асфальте. Белая рубашка в ночи. Она шла и что-то говорила вполголоса — уже не про Сашу, что-то другое, бытовое, про пальто, про то, что весной надо утеплять погреб.

Вера вела её и плакала.

Не громко.

Просто — текло. Само. Как вода из плохо закрытого крана на кухне.

ОМОВЕНИЕ НОГ: РИТУАЛ ПОКОРНОСТИ И ВЛАСТИ

Дома она усадила маму на кровать.

Зажгла свет. Принесла из кухни тазик — пластмассовый, синий, тот, в котором замачивала светлое бельё. Набрала тёплой воды. Принесла в комнату. Опустилась на колени перед мамой.

Взяла её ногу.

Ступня была холодная — как камень, как то, что давно лежит в земле. Пятка — ободранная, с тонкой ссадиной от асфальта, уже начинало темнеть. Вера опустила ногу в тёплую воду.

Мама вздрогнула.

— Тепло, — сказала она.

— Да.

— Хорошо.

Вера держала её ногу в воде — двумя руками, как держат что-то хрупкое, что можно разбить. Смотрела на эту ногу — маленькую, старую, с искривлёнными от артрита пальцами, с тёмными венами под сухой кожей.

Эта нога ходила семьдесят пять лет.

Стояла у школьных досок. Шла на работу, на завод. Ходила по заводу, проверяя продукцию.

И стояла на остановке в ноябре семьдесят второго года, ждала автобуса, который не ехал.

Семьдесят пять лет.

Вера мыла ногу — осторожно, тряпочкой, потом губкой, смывала асфальтную пыль с садины. Мама сидела и не говорила ничего — просто сидела, смотрела куда-то мимо, тихая, усталая, пришедшая откуда-то издалека.

Слёзы опять потекли у Веры по щекам.

Она их не вытирала — руки были в воде.

— Мама, — сказала она, — ты знаешь, что так нельзя.

Выходить ночью.

— Он звал.

— Я знаю. Но нельзя.

— Он мой сын.

— Мама.

— Я знаю, что ты скажешь, — сказала мама — устало, без раздражения. —

Скажешь, что его нет. — Пауза. — Но он есть. Я его слышу.

Вера молчала.

Переложила ногу. Взяла вторую — такую же холодную. Опустила в воду.

— Мама, — сказала она наконец. — Тебе надо выпить таблетку.

— Никаких таблеток. Я уже наглоталась таблеток.

— Это успокоительное. Чтобы спала.

— Сплю я нормально.

— Мама.

— Нет.

Вера смотрела на маму.

На это лицо — упрямое, закрытое, то, которое умело говорить «нет» и держать это «нет» сколько угодно.

И в ней что-то — что-то, в чём она потом не призналась бы себе при дневном свете, что существовало только в такие часы, в такой темноте — что-то холодное, расчётливое, то самое, о котором Григорий говорил «кукловод», — это что-то поднялось.

Она знала, чего мама боится.

— Мама, — сказала она тихо. — Если ты не выпьешь таблетку — Саша вернётся. Ночью. Злой побьёт и заберёт тебя с собой туда.

Тишина.

Мама смотрела на неё.

В её взгляде — что-то изменилось. Тот страх, глубокий, тот, что живёт не в голове, а ниже, в теле, в костях — этот страх поднялся.

— Побьёт и заберёт? — сказала она тихо.

— Да, — сказала Вера. — Поэтому тебе нужно спать. Пока он не пришёл.

Таблетка поможет успокоится и заснуть быстро.

Мама смотрела на неё.

Долго.

И Вера видела — видела отчётливо, видела и ненавидела себя за то, что видит — как страх делает своё дело. Как мама принимает это. Как семидесятипятилетний человек, умный, сильный, который всю жизнь умел не поддаваться, — поддаётся. Потому что этот страх — глубже разума. Потому что нерождённый сын — это то, что живёт в ней пятьдесят лет, и перед этим никакой разум не стоит.

— Дай таблетку, — сказала мама.

Вера достала из кармана — она взяла заранее, когда пришёл Григорий, потому что сама хотела выпить, и положила в карман халата на автомате, не думая об этом, а может думая. Думая, что ей самой надо выпить, чтобы выдержать.

— Воды, — сказала мама.

Вера принесла воду. Мама взяла таблетку. Выпила. Запила. Поставила стакан на тумбочку.

— Ложись, — сказала Вера.

Мама легла.

— Не отдавай ты меня в психбольницу, я здоровая, это было просто так.

— Нет конечно, с чего эту глупость ты взяла?

— Не отдавай

Вера накрыла её одеялом — тщательно, с краёв, как укутывают ребёнка. Поправила подушку.

И тут — мама протянула руку.

Просто — протянула. Открытую ладонь. Так, как тянут руку к кому-то близкому, так, как тянут в темноте, когда боишься, что рядом никого нет.

Вера взяла её за руку. Она опустилась на самый край кровати и замерла над лежащей матерью, чувствуя, как в её ладони ещё теплится чужое, уходящее тепло — рука всё ещё хранила тепло от таза с водой. Кожа была сухой, пергаментной, а сама кисть — пугающе лёгкой, с тонкими венами, беззащитно проступавшими наружу.

Мама закрыла глаза.

— Не уходи, — сказала она.

— Я здесь.

— Не уходи, пока не засну.

— Я здесь, мама.

Таблетка начинала действовать — дыхание мамы выровнялось, замедлилось, присвист стал тише. Рука в Вериной руке чуть расслабилась — не выпустила, просто — расслабилась, как расслабляется рука ребёнка, который засыпает, не отпуская маму.

Вера сидела.

Слёзы текли — она всё ещё не вытирала их, они капали куда-то вниз, на полотенце, на одеяло, на маму руку в её руке.

Мама заснула.

КАПКАН «САШИ»

Она просидела ещё двадцать минут.

Считала — не специально, просто мозг в такие часы начинает считать, это способ оставаться здесь, в реальности, пока что-то большее и тёмное тянет в другую сторону.

Двадцать минут.

Мама спала глубоко — таблетка сделала своё. Дыхание

ровное, почти без присвиста. Рука расслабленная, тёплая.

Вера осторожно выпростала свою руку.

Мама не проснулась.

Вера встала — медленно, чтобы не скрипнуло, не потревожило, — поправила одеяло последний раз. Посмотрела на маму.

На это лицо во сне — без борьбы, без страха, без той постоянной насторожённости, которая днём никогда не уходила полностью. Просто — лицо старого человека. Усталого. Спящего.

Вера выключила свет, вышла.

Закрыла дверь.

Прислонилась к ней спиной в коридоре.

Стояла — минуту, может больше.

Потом пошла на кухню.

КОНФЛИКТ КУКЛОВОДОВ

Григорий сидел за столом.

Планшет лежал рядом — чёрный экран, выключенный, молчащий. Просто предмет. Плоский прямоугольник на льняной скатерти.

Перед ним стояла кружка — чай, наверное, уже холодный

пару часов.

Он смотрел на неё, когда она вошла.

Вера вошла на кухню тихо, точно тень, и остановилась у самой плиты, тяжело опершись о неё обеими руками — ноги её подкашивались, не держали её более. Она смотрела на Григория снизу вверх, жалко, робко, как побитый, ни в чем не повинный ребёнок. Слезы всё ещё текли по её исхудавшему, бледному лицу, — она и не думала вытирать их, да и зачем? Они шли теперь сами по себе, безостановочно, как прорывается наружу долгие годы сдерживаемая, накипевшая у сердца плотина.

Вся её гордость, вся прежняя сила улетучились, осталась лишь одна безмерная, слабая, любящая женщина, готовая на любую казнь.

— Не делай так больше — выговорила она наконец, и голос её пресёкся, задрожал от подступивших рыданий. — Не надо Ради меня, не делай

— Вера, да пойми же ты — дёрнулся было Григорий, но она истоиво, судорожно замахала на него своими натруженными, покрытыми трещинами руками, умоляя замолчать.

— Никогда! Слышишь ли ты меня, Григорий Иванович? Никогда так больше не делай! — воскликнула она с внезапным, исступлённым надрывом, и в глазах её, застланных слезами, блеснул огонь какого-то безумного, святого фанатизма. — Пусть! Пусть у плиты упаду, как та несчастная, пусть

сердце моё разорвётся, пусть кровью изойду, а не отдам её! Не отдам в казённый дом на поругание! Мамочку мою, голубушку Да я за один только этот её взгляд, там, под фонарём, когда она меня вспомнила, всю себя порешу, заживо в гроб лягу! Мой это крест, понимаешь ли ты, мой! Мне его нести, мне на нем и сгореть суждено! Грешная я, малодушная, ведь помыслила же там, на крыльце, помыслила грех, погубить её делом своим хотела!.. Да за один этот помысел я умереть у её ног должна! И пусть убьёт меня эта каторга, пусть dokonает, — я до конца пойду, до последней секундочки! Там там, может быть, всё зачтётся Каждая слезинка моя, каждая мука зачтётся, всё устроится А здесь — не смей, слышишь, не смей ей разум травить! Никогда никогда больше

Она обессилела разом, захлебнулась воздухом и, спрятав лицо в ладони, судорожно зарыдала, опустившись прямо на колени у плиты, подле пустой, давно остывшей кружки.

Голос её, на удивление, прозвучал ровно — до страшно-го ровно, если созерцать эти непрекращающиеся, беззвучные слёзы. Но внутри этой внезапной, мертвенной ровности сквозило теперь нечто чугунное, негнущееся — то самое, что зародилось и окончательно выковалось в ней сегодня ночью, пока она сидела у маминой постели, сжимая в ладонях её ледяную, закоченевшую руку.

Этого свойства в ней прежде никогда не бывало; или, быть может, оно и таилось на самом дне её души, но не имело ещё

этого рокового, страшного качества — качества последнего, окончательного предела, за которым человеческое существо уже ничем невозможно согнуть или запугать.

— Она ведь на улицу вышла — проговорил Григорий, и в глухом голосе его послышалась зловещая, математическая сухость. — Босиком. В сырой март. В час ночи Понимаешь ли ты это?

— Я знаю, — глухо, как из могилы, отозвалась Вера. — Я её воротила.

— Воротила — Он пристально, в упор посмотрел на неё. — Ну и что же, что же из этого изменилось, Вера?

— Я вернула её домой. К себе.

— Ты вернула её в ту же самую погибель! — ровно, без малейшего раздражения, но с какою-то каторжною правотой выговорил он, и это спокойствие его было стократ ужаснее любого исступления. — В ту же самую кровать, в ту же душную комнату, в тот же проклятый завтрашний день, с теми же каплями, с теми же таблетками и с теми же страшными призраками! Ничего, ничего ты не изменила, Вера! Ты просто отложила её казнь. И свою тоже.

— Ты ты напугал её, — содрогаясь всем телом, прошептала она, и взгляд её сделался безумным. — Ты подловил её страх Ты ведь знал, ведал, чего именно она до смерти боится

в безумии своём! И ты — использовал это Ты призрак этот из коробочки выронить посмел!

— Да, — просто и твёрдо ответил он, не сморгнув и не опустив глаз. — Использовал.

— Это это — Она вдруг осеклась, точно воздух застрял у неё в горле, не давая вытолкнуть страшное, окончательное слово.

— Что? Ну, говори же, что?

— Это жестоко — едва выговорила она, и губы её помертвели. — Это палачество, Григорий Иванович.

Наступила долгая, удушливая пауза. Григорий смотрел на неё молча, точно взвешивал эту её «жестокость» на каких-то своих, нечеловеческих весах.

— Жестоко — повторил он наконец, и в голосе его не было ни тени иронии, ни капли осуждения; он точно взял это страшное слово из её рук и держал его перед собой, как неопровержимый, голый факт. — Пусть жестоко. Пусть палачество. Но вспомни, Вера вспомни, помысли хоть на мгновение, что ты сама, ты лично сегодня ночью ей напроорочила? Помнишь ли ты, что ты ей сказала, когда заставляла выпить эту проклятую таблетку? Помнишь ли, Вера?..

Вера безмолвствовала, точно громом поражённая. Губы её судорожно сжались, а взгляд застыл, устремлённый в одну

точку на стене.

— Ты ведь молчишь, Вера, оттого что помнишь, — тихо, с какою-то безжалостною, каторжною кротостью продолжал Григорий. — Ты ведь сама лично ей тогда это сказала: «Если не выпьешь, мамочка, эту таблетку, то Саша вернётся придёт твой Сашенька и заберёт тебя туда, в темноту свою».

Он сделал паузу, давая этому страшному воспоминанию поглубже вонзиться в её душу. Каждое слово его падало, как удар бича.

— Ты ведь точно так же, как и я, подловила её безумный страх, Вера. Тот же самый ужас, ту же самую муку заронила в её угасающий рассудок. Та же самая манипуляция, то же палачество над больной душой! — Снова удушливая, мёртвая пауза. Григорий подался вперёд, заглядывая ей в глаза. — Так в чем же, скажи мне, в чем же тогда, между нами, разница, Вера? Где она, эта правда твоя?

Вера смотрела на него в каком-то оцепенении, почти в беспамятстве.

В чем разница

Этот вопрос, точно раскалённое железо, выжег всё её существо. Она стояла, намертво пригвождённая к этой плите, думала — исступлённо, лихорадочно думала — и с ужасом

понимала, что не может, не смеет найти ни одного ответа, который пред её совестью был бы честным. Потому что честный, обнажённый ответ, от которого леденела кровь, был один: нет никакой разницы. Никакой!

Математически, технически — они были равны перед этим грехом. Она взяла тот же самый палаческий инструмент, тот же ржавый рычаг и безжалостно надавила им на живое, кровоточащее мясо маминой памяти. Страх — как плеть. Призрак нарождённого младенца — как последний, неопровержимый аргумент разума. Она сошла в ту же бездну, что и он.

Только только у неё в эту минуту слёзы текли ручьём, разрывая грудь от невыносимой, удушающей жалости.

А у него — нет. У него глаза оставались сухими и ясными. И в этой одной-единственной слезинке, в этой судороге сострадания крылась теперь вся её последняя, отчаянная защита перед судом собственной совести.

Вот и вся разница.

— Ты плачешь, — сказал Григорий — не жестоко, просто называя. — Это хорошо. Значит, ты ещё человек. — Пауза. — Но слёзы не отменяют того, что ты сделала.

— Я знаю.

— И не отменяют того, что будет.

Она смотрела на него.

— Григорий, — сказала она. — Я прошу тебя. Не так. Не этим способом.

— Каким тогда?

— Я не знаю.

— Вера. — Он поднялся. Прошёл к окну — встал, как часто стоял, спиной к ней, лицом к тёмному двору. — Ты сегодня видела её на улице. Босиком. В час ночи. Ты видела её лицо, когда она шла к призраку своего нерождённого сына.

— Да.

— И ты хочешь, чтобы это продолжалось.

— Нет.

— Тогда что?

Вера молчала. Всякое слово сейчас казалось ей фальшивым, ненужным, уродливым.

— Что ты хочешь, Вера? — Григорий резко обернулся и посмотрел на неё в упор. В его взгляде не было прежнего давления, не было зловещей игры — один лишь прямой, голый, неудобный до тошноты вопрос. Настоящий вопрос, от которого нельзя спрятаться. — Скажи мне честно, перед самой собой скажи: чего ты хочешь?

Она смотрела на него, не мигая. А внутри неё, в самой

глубине сознания, разгоралась та особая, болезненная ночная ясность, которая приходит лишь в минуты полнейшего краха, когда все иллюзии сгорают дотла. Она понимала, что он бьёт в самую цель. Он задаёт единственный правильный вопрос. И она — о ужас! — не знает на него ответа.

Ведь она хотела невозможного. Она хотела двух противоположных вещей одновременно, с одинаковой исступлённой силой: чтобы мама жила, была спасена — и чтобы этот кошмар, этот ад наконец-то кончился. Чтобы всё снова стало хорошо — и чтобы всё немедленно стало иначе. Она хотела остаться человеком, сохранить свою душу — и чтобы эта праведность не стоила ей такой каторжной, невыносимой, убивающей боли. Обе реальности существовали в ней разом, разрывая рассудок напополам, как ваза, запёртая в закрытой коробке: ты не видишь его, но он там, целый и разбитый одновременно.

— Я хочу, — выговорила она медленно, и в её ровном голосе звенящим металлом отозвался тот самый достигнутый предел, — чтобы не было так, как сегодня ночью. Больше. Никогда.

— Тогда, — отчеканил Григорий, и взгляд его сухих глаз стал жёстким, — ты сама прекрасно знаешь, что нужно сделать.

Навалилась тишина — густая, душная, как перед казнью.

Потом он заговорил снова — тихо, свинцово-устало, тем самым страшным тоном, которым человеку объявляют смертный приговор или говорят правду, которую тот готов проклясть, но от которой некуда деться:

— Вот так она тебя в гроб загонит, Вера. Быстрее, слышишь ты, стократ быстрее, чем сама помрёт.

Эти слова упали между ними на кухонный стол. Без украшений. Без малейшего смягчения или жалости. Просто упали, как падает огромная, неподъёмная тяжесть, которую слишком долго держали над самой головой, а потом, обессилив, отпустили прямо на камни.

— Ты сама видела цифры на тонометре, — продолжал Григорий, и его ровный голос резал воздух, как скальпель. — Сто пятьдесят семь, и эта цифра не максимум, она каждый день будет расти. Твоё сердце уже не справляется, оно кричит тебе. Ты помнишь ту несчастную дочь, которая рухнула у плиты? Помнишь её? Она ведь тоже думала, тоже искашала судьбу: сначала всё маме, всё долгу, всё этой проклятой совести, а потом — о себе, потом поживу

Он сделал долгую, удушливую паузу, заставляя Веру заглянуть в эту черную воронку чужой смерти.

— «Потом» не наступило, Вера. Она умерла, приготовляя суп матери, и не успела. И мать её все равно упекли в казённый дом. Так ради чего, ради кого ты приносишь себя

в жертву? Кому нужна эта твоя гибель? Её или алкоголику Серёже?

— Иди, — выговорила наконец Вера, и в этом тихом, сокрушительном слове не было уже ни злобы, ни бунта, а одна лишь безмерная, гробовая усталость. — Иди Мне уже пора собираться на работу.

Григорий поднялся. Он не стал продолжать диалог, не произнёс больше ни единого слова — всё было высказано, все бездны обнажены до самого дна. Он молча оделся в прихожей и вышел. Спустя мгновение Вера в мёртвой тишине приближающегося рассвета отчётливо услышала, как во дворе со зловещим, металлическим сКапом захлопнулась калитка.

Всё кончено.

Она осталась одна.

Силы окончательно оставили её. Вера опустилась на колени прямо там, у плиты, подле холодных кастрюль и недоеденных макарон, и судорожно, без звука зарыдала, обхватив голову руками. Весь ужас её положения, вся несправедливость судьбы разом обрушились на неё в этой пустой, душной кухне.

— Господи! За что, за что мне это наказание? — испуганно шептали её бледные, дрожащие губы в пустоту угла.

— Почему, за какие преступления я должна расплачиваться теперь за её аборт, за это застарелый грех моей матери? Почему её нарождённый, убитый ребёнок должен задушить мою собственную, живую жизнь? Где же тут высший суд, где же милость Твоя?..

Но Небо молчало за окном, и только старый будильник на полке равнодушно и мерно отскапывал секунды.

Стрелки показывали ровно пять часов утра. Пять часов тусклого, сырого мартовского рассвета. Ни сна, ни покоя, ни передышки ей суждено не было.

Вера медленно, преодолевая свинцовую тяжесть во всем теле, поднялась с колен, умыла ледяной водой распухшее от слез лицо и пошла собираться. Ей нужно было идти в холодное, чужое здание — убирать чужие офисы, мыть чужие грязные полы, зарабатывать на хлеб и на те самые таблетки, которыми она каждый вечер будет травить и спасать свою безумную мать. Её личная, незаметная миру каторга продолжалась.

ГЛАВА 14. ХИТРОСТЬ НЕМОЩИ

ПЕРВАЯ УПАКОВКА

Это началось в четверг утром.

Мама вышла из туалета — лицо сосредоточенное, с той особой озабоченностью, которая у неё появлялась, когда тело не выполняло то, что от него требовалось.

— Ничего, — сказала она.

Вера стояла у плиты — поджаривала яичницу.

— Что — ничего?

— По-большому. Ничего. — Мама прошла к столу, села.

— Уже вторые сутки.

— Мама, это нормально при твоих лекарствах.

— Что нормального? Двое суток — нормально?

— Врач объясняла — замедленный метаболизм, ты мало двигаешься.

— Я двигаюсь, — сказала мама немедленно. — По квартире хожу. К окну хожу. К холодильнику.

— Этого недостаточно.

— Не надо мне объяснять, что достаточно. Мне семьдесят пять лет, я своё тело знаю лучше тебя. Вот ты доживёшь до

моих лет – посмотрим.

Вера поставила яичницу перед мамой. Хлеб. Чай.

— Дай мне таблетку.

— Какую?

— Слабительное. Ты же покупала.

— Мама, я давала тебе вчера.

— Одну таблетку. Одну! А Зинаида Михайловна — знаешь, что она говорит? Она говорит, что пьёт три, а иногда и четыре. И всё нормально.

— Зинаида Михайловна другой человек, — сказала Вера.

— С другим весом, другими лекарствами, другими болезнями. —

— Не надо мне про Зинаиду Михайловну объяснять. Я её знаю тридцать лет. Она не дура.

— Я не говорю, что она дура. Я говорю — у всех по-разному. Тебе достаточно одной.

— Одна не помогла! — В голосе уже появился тот звук — напряжённость, предвестник. — Сутки прошли — и ничего!

— Иногда требуется больше времени, в твоём возрасте.

— Сколько — больше? Ещё сутки ждать, чтобы там всё закаменело, и был запор, чтобы резали?

Вера села напротив. Взяла свою чашку.

— Съешь яичницу.

— Не хочу яичницу.

— Мама.

— Не хочу! Как я буду есть, если там — — она показала

жестом куда-то вниз, — если там всё стоит. Буду ещё добав-
лять.

— Тогда не ешь. Твоё дело.

Мама посмотрела на яичницу. На хлеб. Потом — на Веру.

— Дай таблетку.

— Нет.

— Верка.

— Нет, мама. Вчера дала — жди.

— Сколько ждать?

— До вечера. Если к вечеру — ничего, дам ещё.

Мама смотрела на неё.

Лицо её — Вера видела это — проходило через несколь-
ко стадий: раздражение, расчёт, принятие решения. Это был
знакомый процесс, она знала его наизусть, как знают меха-
низм, который наблюдали много лет.

— Дай хотя бы ещё одну, — сказала мать — уже дру-
гим голосом, тем, который она применяла, когда прямое тре-
бование не работало: тихим, почти просительным, с тенью
усталости. — Одну ещё. Итого две будет.

— Нет.

— Почему нет? Две — это не много.

— Потому что у тебя и так три лекарства, которые замед-
ляют кишечник. Ещё одна таблетка может дать спазм. Я не
хочу скорую вызывать.

— Какой спазм! У меня никогда не было спазма.

— Мама, я сказала — нет.

Пауза.

Мама взяла вилку. Ткнула в яичницу — без аппетита, просто — ткнула.

— Зинаиде Михайловне никто не запрещает, — сказала она — уже тихо, себе в тарелку.

Вера не ответила.

К десяти утра давление нагнеталось.

Мама вышла из туалета второй раз — с тем же результатом, с тем же лицом.

— Ничего, — сказала она. — Стоит и стоит.

— Мама.

— Дай таблетку.

— Я сказала — до вечера.

— Вечер — это когда?

— В шесть. В семь.

— Это ещё восемь часов! — Голос поднялся — резко, сразу. — Восемь часов я должна ходить вот так? С этим вот всем?

— Мама, тебе не больно. Это просто дискомфорт.

— Дискомфорт! — Мама остановилась посреди коридора. — Тебе бы такой «дискомфорт». Тебе бы двое суток — посмотрела бы, как ты запела.

— Я понимаю, что неприятно.

— Не понимаешь! Ты молодая, у тебя всё работает. Ты не знаешь, что это такое — когда всё стоит. Когда ешь — а

никуда не идёт. Я вчера вообще не ела почти. Вот доживёшь до моих лет, узнаешь.

— Ты ела завтрак, обед и ужин.

— Это — ела! — Мама посмотрела на неё с тем взглядом, которым смотрят на человека, который не понимает очевидного. — Немного поклевала. Это не еда.

— Ты съела тарелку супа, — сказала Вера. — Хлеб. Котлету.

— Котлету маленькую.

Вера закрыла глаза, покачала головой.

Открыла.

— Мама. Иди в комнату. Подожди до вечера. Я обещала — дам.

— Дай сейчас.

— Нет.

— Верка!

— Нет.

Мама смотрела на неё.

В её взгляде накапливалось — Вера видела это, как видят, когда вода поднимается в сосуде: медленно, неотвратно, к тому уровню, после которого начинает течь через край.

— Я сама возьму, — сказала мама.

— Не найдёшь.

— Найду.

— Мама, я убрала.

— Куда убрала?

— Не скажу.

Пауза.

Вера прикрыла глаза, словно пытаясь отгородиться от этого невыносимого, изматывающего её последние силы нажима, и тяжело покачала головой. Когда она снова взглянула на мать, в её голосе, вопреки бушевавшей внутри буре, прозвучала вымученная, почти неестественная твёрдость:

— Мама, умоляю тебя, иди в комнату. Подожди до вечера. Я ведь пообещала, что дам её тебе, но только вечером. — Дай сейчас, слышишь, дай сейчас же! — в голосе матери уже прорывались те самые капризные, лихорадочные нотки, от которых у Веры последние полдня сдавливало виски.

— Нет. — Верка! — это было уже не имя, а какой-то яростный, бабий всхлип, в котором смешались и физическое страдание, и злобное бессилие деменции. — Нет, мама.

Мать замерла, в упор глядя на неё своими воспалёнными, сухими глазами. Вера физически ощущала, как внутри этого иссохшего тела, точно вода в стеклянном сосуде, медленно и неотвратно поднимается глухая, тёмная волна истерики; поднимается к тому самому критическому уровню, за которым человеческий разум окончательно отступает, и наружу прорывается безумие.

— Я сама возьму, — с какой-то зловещей, детским упрямством прошептала мать. — Не найдёшь. — Найду. Увидишь,

как не найду. — Мама, я убрала их. — Куда, куда убрала? — Мать сделала шаг вперёд, её пальцы судорожно задвигались. — Не скажу.

Повисла тяжёлая, душная пауза, в которой было слышно только их неровное, прерывистое дыхание.

Лицо матери вдруг как-то мгновенно переменилось: прежнее тупое упрямство уступило место выражению более острому, хитрому и оттого глубоко опасному. То была зловещая решимость человека, который вдруг осознал тщету обычных своих приёмов и приготовился переступить через последнюю черту.

— Значит, мне плохо, — произнесла она с какой-то затаённой, злой раздельностью, — а ты, родная дочь, прячешь от меня лекарства. — Голос её упал до шёпота, но в этом звенящем, неестественном шёпоте было куда больше угрозы, чем в самом исступлённом крике. — Это называется — издеваться над тяжело больным человеком. Живьём со свету сживать.

— Мама, — тихо взмолилась Вера. — Нет, ты не перебивай, я говорю то, что есть! — подхватила мать, раззадориваясь собственными словами. — Мне худо. Я прошу у тебя помощи. Ты прячешь лекарство и не даёшь. Как это, по-твоему, называется? Ну, скажи?

— Это называется — я строго слежу за дозировкой, которую прописал доктор, — Вера изо всех сил старалась цеп-

ляться за эти сухие, профессиональные слова, точно за спасательный круг.

— Следит она! — Мать презрительно и как-то наотмашь фыркнула. — Докторша нашлась, благодетельница. Врач сказал выпить одну — я и выпила одну. Раз не помогло, значит, организму требуется вторая, это всякому дураку понятно!

— Врач сказал — строго одну. И я повторю — только одну. — Да что твой врач! — вскинулась мать, и в глазах её блеснула настоящая ненависть. — Врач здесь не живёт, он является раз в месяц чаю попить. Врач понятия не имеет, каково это — вторые сутки на стену лезть!

— Врач именно это и знает лучше нас с тобой. — Не смей грубить матери! — взвизгнула она.

— Я не грублю тебе, мама. Я разговариваю совершенно спокойно и нормально. — Нормально?! — Мать сорвалась на крик, и этот крик, знакомый Вере с самого раннего, беззащитного детства, мгновенно заполнил всю кухню, не оставляя вокруг ни единого свободного зазора, подавляя и удушая. — Нормально — это когда родная дочь беспрекословно слушается мать! Нормально — это когда не мучают и не прячут лекарства! Нормально — это — она вдруг осеклась на полуслове, потому что какая-то судорога конвульсивно сдвинула её лицевые мышцы, — это когда не издеваются над матерью!

— Мама, любой врач скажет, что я не издеваюсь. — Изде-

ваешься! Нарочно, специально издеваешься! Видишь ведь, как я мучаюсь, и делаешь это мне назло, из чистой злобы! — Да не назло я Я слежу за дозировкой, пойми ты, потому что иначе — — Да заткнись ты со своей дозировкой, тварь неблагодарная! — исступлённо, во весь голос закричала мать.

Вера осеклась. Слова застряли у неё в горле, и она замолчала, чувствуя, как внутри неё окончательно воцаряется мёртвая, леденящая пустота.

Вера стояла в коридоре, не сводя пристального, оцепенелого взгляда с матери. Мать замерла прямо напротив неё — маленькая, неестественно выпрямившаяся, с ещё дрожащим от недавнего крика голосом и яркими, болезненно-красными пятнами, выступившими на щеках. И в этом её последнем, исступлённом «заткнись» прорвалась та особая, затаённая злоба, которая копится в человеческой душе не за одно только мучительное утро и не за двое суток телесного недуга. Это было злое, ядовитое чувство, уходившее корнями в долгие, невысказанные годы — за всё то тёмное и тяжёлое, что было между ними прожито и что теперь окончательно перестало вмещаться в рамки обыкновенного человеческого терпения.

— Дай. Мне. Таблетку, — произнесла мать с какой-то зловещей, непреклонной отдельностью, чеканя каждое сло-

во. — Вечером, — так же тихо, но с прежним вымученным упрямством отозвалась Вера.

Мать посмотрела на неё долгим, пронизывающим взглядом, в котором уже не было крика, а оставалось лишь глухое, мстительное отчуждение. Затем она круто повернулась и скорыми, мелкими шагами пошла в свою комнату. Дверь за её спиной закрылась — закрылась тихо, плотно, без единого сКапа, и в этой глухой, демонстративной тишине было что-то гораздо более страшное и роковое, нежели в самом яростном сКапе захлопнутой двери.

Вера ещё несколько мгновений оставалась стоять в тёмном, душном коридоре. Наконец она судорожно, всей грудью выдохнула, словно сбрасывая с себя остатки оцепенения, и медленно пошла обратно на кухню, готовить обед.

В одиннадцать часов Анна Кирилловна всё-таки нашла эти злосчастные таблетки.

Вера спрятала их, как ей казалось, в самое надёжное место — в шкафчик в ванной комнате, в самую глубь, за пожелтевшую банку с содой и тюбик старого, заскорузлого крема, которым уже много лет никто не пользовался. Это было достаточно глубоко и надёжно — по крайней мере, так она думала в своём наивном ослеплении. Она совершенно не учла того мелкого, хищного упрямства, с каким её мать, ослеплённая своей манией, умела искать; она позабыла, что Анна Кирил-

ловна всю свою жизнь обладала этим зловещим, почти противоестественным талантом находить именно то, что от неё пытались скрыть.

Сначала Вера услышала подозрительный шуршащий звук из ванной, затем — торопливые, шаркающие шаги, после которых внезапно воцарилась мёртвая тишина. Почуввав недоброе, Вера тотчас вышла в коридор.

Мать стояла у дверей своей комнаты, судорожно сжимая в руке серебристую упаковку лекарства. Она смотрела на дочь с тем уродливым, торжествующим выражением победителя, какое бывает у людей, которые после долгих, унижительных поисков наконец завладели вожаделенным предметом и теперь держат его в своих руках, готовые защищать эту добычу до последнего.

— Нашла, — произнесла она с затаённой гордостью и злорадством. — Мама, пожалуйста, положи на место, — тихо, сдерживая подступающую дрожь, попросила Вера.

— Не положу. И не думай. — Мама. — Я возьму ещё одну. Только одну, слышишь? — Она уже принялась лихорадочно выдавливать таблетку из упаковки.

Её скрюченные, изуродованные артритом пальцы плохо слушались, скользили по упаковке, но она продолжала своё дело с каким-то ожесточённым, жалким рвением. На это невозможно, невыносимо было смотреть — на эти маленькие, упрямые, больные пальцы, воюющие с бумагой. — Итого будет две. Ты ведь сама говорила, что две можно.

— Я никогда не говорила, что две можно, — с отчаянием в голосе прервала её Вера. — Я просила тебя потерпеть до вечера. — А сейчас у нас сколько? Одиннадцать. Это ещё утро, самое утро. К вечеру она как раз и подействует. — Мама, отдай мне упаковку. — Не отдам!

Вера сделала шаг вперёд и вплотную подошла к ней. Она протянула раскрытую ладонь: — Отдай упаковку, мама. — Не отдам, — с детской, капризной злобой повторила мать.

Они замерли, в упор глядя друг на друга; в этом безмолвном поединке двух воль было что-то глубоко противоестественное и страшное. Пальцы Анны Кирилловны сжались вокруг лекарства ещё крепче, до побеления суставов.

— Ты её сейчас просто раздавишь, — устало произнесла Вера, — раскрошишь все таблетки, и ничего не останется. — Не раскрошу.

Вера сделала над собой колоссальное, почти физическое усилие. Ей стоило огромного труда взять себя в руки и сознательно вытравить из своего голоса всю ту глухую, накипевшую с самого утра обиду и злость, которая удушала её. Когда она заговорила снова, её голос звучал на удивление мягко и ласково:

— Мама, послушай меня... отдай её мне. Я сама сейчас дам тебе ещё одну таблетку. Прямо сейчас, идёт?

Повисла короткая, колеблющаяся пауза. Мать недоверчиво сощурилась, всматриваясь в лицо дочери, словно пытаясь подстеречь обман.

— Правда дашь? — подозрительно переспросила она. — Правда дам. — Одну? — Одну. Прямо сейчас.

Только тогда Анна Кирилловна медленно разжала свои сухие пальцы и протянула упаковку. Вера быстро, точно боясь, что мать передумает, взяла упаковку, привычным движением выдавила одну таблетку и вложила её в ладонь, после чего сходила на кухню и принесла стакан воды.

Мать выпила лекарство залпом, с тем особенным, гордым видом глубоко уязвлённого человека, который наконец-то восстановил попорченную справедливость и добился своего законного права.

— Вот, — проговорила она с глубоким удовлетворением, возвращая стакан. — Теперь в самый раз, теперь будет две. К вечеру обязательно подействует.

— Может и подействовать, — тихо отозвалась Вера, не желая больше спорить. — Но вовсе не обязательно, что именно к вечеру.

— Подействует, — с непоколебимой, слепой уверенностью отрезала мать. — Зинаида Михайловна мне ещё тогда говорила: две таблетки всегда помогают, безотказно.

Вера ничего не ответила. Она молча опустила полупустую упаковку в карман своего домашнего платья и, чувствуя себя окончательно опустошённой, побрела на тёмную кухню.

В двенадцать мама снова стояла в дверях кухни.

— Ещё одну.

Вера не обернулась от плиты.

— Нет.

— Верка.

— Нет, мама. Ты только что выпила. Жди.

— Ты выпила? Когда выпила — в одиннадцать. Уже час прошёл.

— Этого недостаточно.

— Зинаида Михайловна говорит — она иногда и четыре пьёт.

— Зинаида Михайловна меня не интересуется.

— Тебя ничего не интересуется! — Голос поднялся немедленно, без прохождения через промежуточные стадии. — Ни здоровье матери, ни —

— Мама.

— Я говорю! Я скажу! Я старый больной человек, мне плохо, я прошу одну таблетку — одну! — и родная дочь мне отказывает. Издевается!

— Потому что ты уже выпила две. За одно утро.

— Мало.

— Мама, это слабительное, а не конфеты. — Вера обернулась. Смотрела на маму. — Ты слышишь меня? Это — лекарство. С дозировкой. Нельзя пить сколько хочешь.

— Можно. Зинаида —

— Мама! — Голос вышел громче, чем она хотела. Она слышала это — как голос поднялся, как в нём появилось что-то, что она не планировала. — Хватит про Зинаиду Михайловну! Зинаида Михайловна не врач! Зинаида Михайлов-

на не знает твоих лекарств! Зинаида Михайловна не живёт здесь и не видит тебя каждый день!

Мама смотрела на неё.

Молчала секунду.

Потом:

— Кричишь на мать.

— Я не кричу.

— Кричишь. — Мать покачала головой — медленно, с тем видом страдальческого достоинства, которое появлялось, когда она хотела зафиксировать факт нарушения. — Родная дочь кричит на больную мать. Вот как дожила.

— Мама, я не кричала.

— Слышала. Весь дом слышал.

— Серёжи нет дома.

— И хорошо, что нет. Хоть не видит, как сестра мать обижает.

Вера повернулась обратно к плите.

Молчала.

Слышала, как мама стоит в дверях. Слышала её дыхание — немного учащённое, как всегда, после таких разговоров. Слышала тишину, в которой мама думала — она всегда слышала мамино думание, за сорок с лишнем лет научилась.

— Где упаковка? — спросила мама.

— У меня.

— В кармане?

— Мама.

— Я просто спрашиваю.

— Нет.

Шаги — мама ушла.

Вера стояла у плиты.

Руки на краю плиты. Белые костяшки — она держала край слишком крепко, сама не заметила.

Отпустила.

Потёрла ладони.

ВТОРАЯ УПАКОВКА

В половине второго Вера обнаружила.

Зашла в ванную — за своим кремом — и увидела: шкафчик приоткрыт. Банка с содой сдвинута. Упаковка — та, которую она переложила сюда утром, после того как мама нашла первую — лежала на полке. Пустая.

Вернее — не совсем пустая. Там оставалось ещё три таблетки, она проверяла утром.

Осталось одна.

Вера стояла и смотрела на упаковку.

Считала.

Утром — одна. Потом мама нашла, выдавила ещё одну, Вера сама дала. Итого утром — две.

Сейчас — ещё две исчезли.

Итого — четыре.

За одно утро.

Вера смотрела на пустую, растерзанную упаковку в своих руках и внезапно почувствовала, как в самой глубине её души закипает вовсе не праведный гнев, а какое-то мерзкое, липкое, пугающее её саму восхищение.

Эта несчастная женщина, которая уже не в состоянии была вспомнить, какой сегодня день и год, проявила сейчас поистине гениальную, бесовскую изворотливость, чтобы обмануть её, обвести вокруг пальца. Она ведь не просто тайком выпила это лекарство — она совершила настоящий акт подпольного бунта, абсолютного и торжествующего волеизъявления над Вериным разумным, стерильным «правильно».

Вера медленно вышла из ванной комнаты.

Мать сидела в своём глубоком кресле — с тем невозмутимым, величественным видом человека, который всю жизнь только и делал, что благочинно сидел в кресле, никуда не отлучался, ничего чужого не трогал и ни в чём не прегрешил.

— Мама, — негромко, но отчётливо произнесла Вера. — Что такое? — отозвалась та, даже не повернув головы. — Ты снова взяла таблетки. — Я? — В её голосе прозвучало искреннее, почти святое недоумение. — Да, ты. Из шкафчика в ванной. Ещё утром там оставалось ровно три шкапи, а те-

перь осталась всего одна.

Мать наконец удостоила её прямым, холодным взглядом:

— Ты просто неправильно посчитала, Верочка. Тебе вечно что-то кажется. — Мама, пожалуйста, не надо. — Я ничего не брала, говорю тебе. С какой стати мне брать? — Мама, я лично пересчитала их на рассвете. Было три таблетки. Сейчас там одиноко лежит одна. Куда делись остальные? — Ну, значит, ты сама их куда-то переложила, да и позабыла по своей рассеянности. У тебя сейчас слишком много работы. — Я ничего и никуда не перекладывала. — Ну, так Серёжа твой взял, больше некому. — Серёжи с самого раннего утра нет дома, мама, ты прекрасно это знаешь.

Мать продолжала пристально смотреть на неё, упрямо поджав губы. Наступило тяжёлое, душное молчание. Наконец, медленно, с величественным видом человека, который снисходит до признания очевидного, но делает это исключительно на собственных, продиктованных гордостью условиях, она процедила:

— Ну и что из того? Подумаешь, великая важность. Две лишних таблетки — дело не смертельное. — Мама! — Вера изо всех сил старалась удерживать голос на одной, ровной ноте, хотя в груди у неё всё сжималось от ужаса. — Ты выпила четыре таблетки за одно только утро. Понимаешь ли ты своим умом, что это в четыре раза превышает суточную норму?

— Это всего лишь обыкновенное слабительное, а вовсе

не мышьяк и не яд, чтобы так убиваться. — Это сильнодействующее лекарство! Со строго выверенной дозировкой! Тебе же сейчас станет худо — начнётся страшный спазм, заболит живот, наступит обезвоживание... Ты хоть каплю понимаешь, чем это грозит? — Ничего со мной не делается, не выдумывай. — Ты не можешь знать этого заранее! — Очень даже могу. Я своё собственное тело лучше твоих докторов знаю. И Зинаида Михайловна, между прочим, всегда принимает — — Мама! — Этот выкрик снова сорвался с её губ куда громче и яростнее, чем она планировала; плоть Вериного терпения окончательно рухнула. — Да мне совершенно всё равно, что там и какие таблетки принимает твоя Зинаида Михайловна, она точно принимает другие, более слабые, не рецептурные! Ты приняла четыре сильнодействующих таблетки подряд! Это смертельно опасно для твоего сердца, пойми же ты наконец! — Не смей на меня кричать, — холодно отчеканила мать, и в глазах её снова блеснула прежняя, деспотическая власть. — Я не кричу на тебя, я пытаюсь достучаться! Это важно! Послушай меня хоть раз в жизни! — Не смей, говорю, кричать на родную мать!

Они снова замерли друг напротив друга, тяжело дыша, сойдясь в этом безвыходном, бессмысленном и страшном поединке, где безумие одной стороны намертво душило рассудок другой.

И тут что-то окончательно оборвалось внутри Веры. Сло-

ва застряли у неё в горле, дыхание перехватило, и из глаз её хлынули обильные, горькие, удушающие слёзы — слёзы отчаянной, детской обиды и той страшной, абсолютной беспомощности, против которой бессилён любой человеческий разум.

Она плакала оттого, что её не слышат, оттого, что её искренняя, изматывающая забота оборачивается в этом доме виной, и оттого, что эта маленькая, больная женщина перед ней была одновременно и её матерью, и безжалостным палачом её последних нервов.

— Да я не кричу, господи, я просто объясняю тебе элементарные вещи!

Анна Кирилловна посмотрела на плачущую дочь, и на её лице вдруг проступило выражение глубокого, торжествующего превосходства. В эту минуту она чувствовала себя абсолютным, безоговорочным победителем. Верины слёзы, её капитуляция и сломленная гордость подействовали на старуху умиротворяюще, точно сладкое лекарство: её недавняя ярость мгновенно испарилась, уступив место какому-то сытому, благодушному покою. Словно напившись этой чужой слабостью, она даже как будто расправилась в своём кресле, покровительственно и снисходительно оглядывая поверженного противника.

Вера молча развернулась и пошла к себе. Спорить, доказывать что-то или плакать дальше было бы верхом бессмыс-

лицы. Она зашла к себе в комнату, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной, тяжело, прерывисто дыша, и растирала остатки слез по щекам. Потребовалось несколько десятков долгих минут просто на то, чтобы прийти в себя и унять дрожь в пальцах. Постепенно её дыхание выровнялось, а мысли снова превратились в сухой, привычный конвейер.

И наконец в доме воцарилась тишина, нарушаемая только краном, который снова начал капать.

Кап.

Руки — дрожали. Она смотрела на них — на дрожь в пальцах, на красноту, на трещины. Дрожали.

Это было ново.

Руки никогда не дрожали.

Она сжала их в кулаки.

Разжала.

Подошла к окну. Смотрела в двор — яблоня, поленница, забор. Небо серое. Всё, как всегда.

Из-за двери — голос мамы. Что-то говорила — в пространство, в никуда, или Вере через дверь. Слов не разобрать. Интонация — та же: обиженная, настаивающая, бесконечная.

Бесконечная.

Вера стояла у окна и думала — быстро, против воли — о том, что сказал Григорий.

*Вот так она тебя в гроб загонит быстрее, чем сама по-
мрёт.*

Сто пятьдесят семь.

Сейчас наверное намного больше.

Та женщина упала у плиты.

Она сжала руки.

За дверью мама говорила.

День заканчивался, надо идти убирать второй офис.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Когда Вера пришла со второго офиса, она услышала звук
материного кашля, потом шаги к Вериней двери, потом сКап
в дверь.

— Верка.

— Что.

— Живот болит.

Вера открыла дверь.

Мама стояла — держась за косяк, лицо другое, уже не то
упрямое-победительное утреннее. Это лицо было — просто
старое и не очень хорошее.

— Сильно? — спросила Вера.

— Ну... очень неприятно. — Мама не говорила «сильно»,
принцип. — Крутит немного.

— Это таблетки. Я говорила.

— Ладно, говорила, — сказала мама — неожиданно коротко, без продолжения. — Что теперь делать?

— Ничего. Ждать. Пить воду.

— Сколько воды?

— стакан каждые полчаса.

— Много.

— Мама. Ты выпила четыре таблетки слабительного. Пей воду.

Мама помолчала.

— Они действуют хоть?

Вера смотрела на неё.

В этом вопросе — в этом усталом, почти жалобном «они действуют хоть» — была вся история этого дня. Весь утренний напор, все «Зинаида Михайловна», все «не кричи на мать», вся найденная упаковка в шкафчике — всё это сжалось в один маленький вопрос старого человека, которому просто нездоровилось.

— Действуют, — сказала Вера.

— Скоро?

— Не знаю. Может, через час. Может, раньше.

Мама кивнула.

— Принеси воды, — сказала она. — Пожалуйста.

Последнее слово было — редким. Она говорила его нечасто. Вера заметила его — сразу, как замечают неожиданное.

Подала воду.

Мама взяла стакан. Выпила половину. Поморщилась.

— Холодная.

— Могу согреть.

— Не надо. — Она допила. Вернула стакан. — Полежу.

— Хорошо.

Мама пошла к себе.

В дверях остановилась — не обернулась, просто остановилась на секунду.

— Верка.

— Что.

— Ты всё-таки не права была, — сказала мама — тихо, без прежнего напора. — Я же говорила — не помогает одна.

Вера смотрела на её спину.

— Помогла бы к вечеру, — сказала она.

— Может, и помогла бы, — согласилась мама — неожиданно легко. — Ладно.

Дверь закрылась.

Вера стояла в коридоре.

Дрожь в руках окончательно прошла — где-то между третьим стаканом воды для мамы и этим разговором.

Или не прошла. Просто ушла глубже.

Туда, где уже не видно.

Она пошла на кухню.

Поставила чайник.

Встала у окна.

Двор. Яблоня. Тёмное небо.

Всё, как всегда.

Только руки — помнили дрожь.

И это было — новым.

Этого — раньше не было.

Вера смотрела на закрытую дверь и понимала:

— Самое страшное не в том, что мама выпила лишние капли. Страшно то, что я сама добровольно ввязалась в эту мелкую, грязную войну. Моя собственная, единственная жизнь превратилась в какой-то бесконечный кошмар: посчитай таблетки, проверь простыни, угадай, где она спрятала ключи. Я целыми днями торчу в четырёх стенах, пока моё личное время просто утекает в слив раковины вместе с ржавой водой, пока я отмываю за всеми посуду и грязь.

Но хуже всего другое. Я ведь дошла до ручки. Мне самой перед собой признаться жутко, от этого просто тошнит. Разве не я сама сегодня днём, когда мама довела меня до иступления своим идиотским, глухим упрямством, поймала себя на мерзкой, извращённой радости? Радости от того, что она обпилась таблетками! Что она теперь виновата передо мной. Я ведь чисто подсознательно обрадовалась, что теперь могу её наказать. Отыграться на ней за свою испорченную, украденную жизнь. Припугнуть её Сашей, сделать ей больно, сорвать на ней всю свою злость и усталость Господи, да я в этой домашней тюрьме сама превращаюсь в садиста, который мстит больному человеку!

И чем я лучше остальных? Я ведь иду ровно по их следам, в ту же самую могилу. Я точь-в-точь как Лида из третьего подъезда. Она ведь так же гробила себя, таскала на себе как бы больного мужа, глушила обезболивающие горстями, пока у неё почки окончательно не отказали. Все врачи ей кричали: «У тебя кровь отравлена, ложись на диализ, чистись!» А она только твердила: «Как я его оставлю, на кого?» В итоге умерла прямо в коридоре больницы — синяя, опухшая, так и не дождавшись лечения. А муж женился на другой

Да и от той женщины, про которую врач семейный рассказывала, я ничем не отличаюсь. У меня сейчас в груди всё горит, дышать нечем, давление уже, наверное, за сто восемьдесят поднялось. А мне надо идти на кухню, греть ей макароны и тупо ждать, когда у меня сердце лопнет, как у неё. Та ведь тоже у плиты рухнула, суп матери варила, ложкой по полу звякнула — и привет, инфаркт в пятьдесят два года. Я ведь её смерть на себя примерила, я до секунды представляю, как она упала, как кастрюля из рук вылетела И ради чего всё это? Чтобы маму завтра всё равно забрали в спецучреждение? Я сама, своими руками зарываю себя заживо на этой кухне. Сама.

Кап.

Пауза.

Кап.

ГЛАВА 15. НОЧЬ СЛАБИТЕЛЬНОГО

ИЛЛЮЗИЯ ОТДЫХА

В половине десятого Вера расстилала постель, хотела пораньше лечь спать.

Это был ритуал — маленький, незначительный, но её собственный: она расправляла простыню обеими руками, от центра к краям, разглаживала складки, поправляла подушку. Одна минута. Может, полторы. Её время, её движения, её собственная тишина.

Сегодня она вернулась с работы в семь — офис убирала пять кабинетов, переговорную, два санузла. Спина к концу уборки уже говорила о себе — тупо, настойчиво, как говорит что-то давнее и привычное. Руки горели — щёлочь в трещинах костяшек, привычное жжение, которое она перестала замечать, как боль, просто фиксировала: есть. Ноги были тяжёлые — не больные, просто тяжёлые, как бывают тяжёлыми ноги к концу длинного дня, когда ходишь много и стоишь много и нигде не сидишь.

Дома — накормила маму ужином. Её любимые макароны по-флотски, чай. Мама за ужином молчала — что бы-

ло непривычно, но Вера не стала спрашивать. Живот болел, мать сама сказала — крутит, то отпускает, то снова. Четыре таблетки давали о себе знать, просто пока не в полную силу.

После ужина мама ушла к себе.

Серёжи ничего не было нужно от матери, поэтому он забрал своё еду к себе в комнату, и там ел за компьютером, за игрой.

Дом затих.

И вот — Вера расстилала свою постель. Чистая наволочка пахла порошком и немного — морозом, она сушила бельё на улице, на верёвке за домом, это её привычка, она любила этот запах. Простыня ложилась ровно. Одеяло — сверху.

Она смотрела на эту постель.

На белое чистое пространство.

И думала о том, что сейчас ляжет. Что сейчас закроет глаза. Что завтра всё то же самое — офис, дом, мама, Серёжа, таблетки, суп, — но сначала будет длинная, длинная ночь. Несколько часов темноты и тишины, которые принадлежат только ей.

Кран на кухне капал — тихо, ровно, привычно.

Кап.

Пауза.

Кап.

Она переделалась в ночное. Выключила свет.

Легла.

Закрыла глаза.

Прошло, наверное, десять минут.

Может, меньше.

ПЕРВЫЙ ПРОРЫВ

Крик пришёл из маминой комнаты — резкий, высокий, с той особой нотой, которую Вера научилась различать: не боль, не страх призраков. Что-то телесное, срочное, требующее немедленно.

Она вскочила.

Ноги нашли тапочки — на автомате, в темноте, потому что тапочки всегда стояли у кровати носами к двери, это была система.

Выбежала в коридор.

Мамина дверь распахивалась — мама уже шла, вернее — почти бежала, той особой шаркающей рысью, которой бегут пожилые люди, когда торопятся и не могут торопиться нормально. Ночная рубашка. Босые ноги. Лицо — сосредоточенное, испуганное, с той гримасой, которая означает одно: не успеваю.

— Мама, я —

— Туалет! — крикнула мама. — Быстро!

Они почти добрались.

Почти.

До туалета оставалось метра три, когда стало ясно: не успели. Мама остановилась — резко, посреди коридора — и

из-под рубашки на линолеум упало что-то жидкое, тёмное, с тем запахом, от которого сразу перехватывает дыхание.

— Господи, — сказала мама.

— Ничего, ничего, пойдём. — Вера взяла её под руку. — Пойдём в туалет.

— Я уже...

— Пойдём. Там доделаем.

Она довела маму до унитаза. Помогла сесть. Взяла тряпку — та лежала на краю раковины, она всегда держала там тряпку на всякий случай, этот «всякий случай» стал давно постоянным — и начала обтирать материны ноги.

Мать сидела на унитазе и смотрела куда-то в сторону — не на Веру, мимо, с тем выражением, которое бывает у людей в момент крайнего унижения, когда смотреть прямо невозможно.

Потом снова — волна. Мама охнула. Вера отступила за дверь.

Стояла в коридоре.

Смотрела на пятна на линолеуме.

Запах поднимался — густой, тяжёлый, тот, от которого невозможно дышать нормально, можно только маленькими, поверхностными вдохами, стараясь не думать о том, что вдыхаешь.

Она открыла окно входную дверь, и пошла за ведром.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Это длилось всю ночь.

Вера потом не могла восстановить хронологию — не потому, что забыла, а потому что хронология распалась, превратилась в бесконечный, лишённый структуры цикл: туалет — коридор — туалет — комната — снова коридор. Мама садилась на унитаз, ждала, когда пройдёт, поднималась — и шла обратно в комнату. И на полпути до комнаты — снова. Иногда она успевала развернуться и добраться до туалета. Иногда — нет.

Шерстяные дорожки в коридоре и её комнате приняли на себя больше всего.

Вера мыла их — вставала на колени, с тряпкой, с ведром, с каким-то чистящем средством, который разводила в горячей воде, — мыла, поднималась, и через десять минут там было снова. Потому что мама шла обратно и наступала — не специально, просто не видела от переживания, просто плохо соображала в такие часы, просто — так выходило.

— Мама, смотри под ноги.

— Я смотрю.

— Ты наступила.

— Где?

— Вот здесь.

— Не вижу.

Вера включала свет — яркий, резкий, нежеланный в такой час. Мама шурилась. Смотрела под ноги. Делала шаг в сторону, чтобы обойти. Но на ступнях уже было и она только разносила это по всему коридору и комнате.

Наступала на другое место. И опять

Вера стояла с ведром и смотрела на это.

В какой-то момент — она не помнила точно, это было, наверное, часа в два ночи — она перестала считать. Перестала отслеживать, сколько раз уже вымыла этот кусок коридора, сколько раз поменяла воду в ведре, сколько тряпок уже замочила в ванне. Просто делала. Механически, без мыслей — брала тряпку, опускала в ведро, выжимала, тёрла пол, полоскала тряпку.

Снова.

И снова.

Удушающий запах стоял по всему дому.

Она распахнула окно и ещё одно окно на кухне — настужь, холодный воздух, который ударил сразу, резко, принося с собой запах мокрой земли и ночи.

— Закрой! — немедленно закричала мама из туалета. — Закрой окно! Ты меня застудить хочешь!

— Мама, нечем дышать.

— Мне дышать нечем от холода! Закрой!

— Мама, одну минуту —

— Закрой, говорю! Нарочно! Нарочно окно открыла, чтобы я простудилась, вот доживёшь до моих лет, поймёшь!

— Мама, ...

— Закрой, я кому сказала!

Вера закрыла одно окно, оставив другое и дверь, в коридоре, чтобы меньше дуло.

Мартовский воздух стал заходить вяло.

Запах — внутри.

Она стояла в коридоре с мокрой тряпкой в руках и дышала — маленькими, контролируруемыми вдохами — и думала ни о чём. Мозг отключил мышление — это была его защита, она это понимала, просто отключил, оставил только моторику, только движение, только: тряпка, ведро, пол, снова тряпка, дорожки.

Из туалета — мама.

— Готово, — сказала мама. — Кажется, всё.

— Хорошо. Пойдём я тебя оботру.

— Там ещё немного...

— Ничего. Пойдём.

Это не было «всё».

Через двадцать минут, когда уже казалось, что всё вымыто и протёрто — снова.

Вера сидела в коридоре с тряпкой и грязным тазиком воды — просто стояла, просто переводила дух, просто пыталась дать себе одну минуту спокойствия, когда ничего не надо делать, — когда из её комнаты снова донеслось.

Она встала.

Пошла.

В коридоре мама стояла — посреди, растерянная, в испачканной рубашке, смотрела на Веру с тем выражением, которое Вера видела у неё очень редко: беспомощность. Без прикрытия, без привычной защитной реакции. Просто — беспомощность.

— Я не успела, — сказала мама.

— Я вижу.

— Я шла быстро.

— Я знаю, мама. Ничего страшного.

Это было неправдой — было страшно, не в смысле опасности, в смысле того, что Вера видела. Этот человек, который всю жизнь держался прямо, который не признавал слабости, который говорил «нельзя» и «так принято» и «держи спину» — этот человек стоял посреди коридора в испачканной ночной рубашке и смотрел на дочь с беспомощностью.

— Пойдём, — сказала Вера.

Взяла её под руку.

Повела.

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ БРЕД

В четыре утра Вера обнаружила её постель

Мама в какой-то момент дошла до кровати — это было хорошо, это было лучше, чем коридор — и легла. Но легла, не успев полностью, и постельное бельё было испорчено, и халат, который она накинула поверх рубашки, и сама рубаш-

ка.

Вера стояла у кровати и смотрела на это.

Ночник горел — оранжевый, маленький. В этом свете всё выглядело особенно: тени, края предметов, мамино лицо — старое, серое, измученное. На стене у кровати — пятно. На дверном косяке — пятно огромное, растёртое. Откуда пятно на косяке — она не понимала, не стала думать.

— Мама, — сказала она. — Надо сменить.

— Не трогай меня.

— Надо постель сменить и рубашку.

— Не трогай, говорю.

— Мама, ты не можешь лежать в этом.

— Могу. Отстань.

Вера стояла.

Смотрела на мать.

На это серое, измученное лицо в оранжевом свете ночника.

— Мама, — сказала она — тихо, с тем остатком терпения, который оставался, а оставалось немного, совсем немного, на доньшке. — Я сейчас принесу чистую рубашку и поменяю постель. Ты поднимешься на три секунды. Только три секунды. Хорошо?

Мама смотрела в потолок.

— Я умираю, — сказала она.

— Ты не умираешь, ты много слабительного выпила.

— Умираю. Из меня всё вытекло. — Голос был — не то,

что раньше, тот с напором и требованием. Этот был тихий, почти детский, и в нём было что-то такое, от чего у Веры что-то сжалось. — Это уже не кишечник. Это органы. Гниют изнутри и выходят.

— Мама.

— Выходят, говорю. Я чувствую.

— Это слабительное. Четыре таблетки. Это нормальная реакция.

— Какая нормальная! — Голос поднялся — ненадолго, сил не хватило удержать высокую ноту, и он снова упал. — Нормальная — это раз в сутки сходить. А тут — всю ночь. Это не нормально. Это умираю.

— Ты не умираешь.

— Ты не знаешь как я мучаюсь. — Мама наконец повернула голову, посмотрела на Веру. В её взгляде было — Вера не сразу нашла слово — животный страх. Тот, который глубже разума, который живёт в теле. — Ты не чувствуешь. Тебе не плохо. Тебе — хорошо, а мне — умираю.

Вера смотрела на неё.

И думала — быстро, под поверхностью, пока руки уже шли к ящику с чистым бельём — думала о том, что мама сейчас, в этот момент, говорила правду. Не про органы и гниение — нет, это был страх, это была усталость, это было четыре таблетки слабительного и четырьмя часами утра, в сочетании с семьюдесятью пятью годами возраста. Но про страх — правду. Она боялась. По-настоящему боялась — смерти,

тела, распада, того, что происходит с телом, которое больше не слушается.

Боялась того, что Вера видела снаружи.

А она — изнутри.

— Мама, — сказала Вера. — Ты не умираешь. Я рядом.

Поднимись на минуту.

Мама поднялась — с усилием, держась за Верину руку.

Вера сменила простыню — быстро, привычно. Принесла чистую рубашку. Обтёрла мать влажной тряпкой, помогла переодеться — руки мамы были слабые, почти не поднимались, кожа старческая, обвисшая, как пергамент, артрит плюс ночь плюс усталость.

Уложила обратно.

Накрыла одеялом.

Испачканное бельё взяла в охапку — вынесла в ванну, бросила в таз с холодной водой. Потом.

Вернулась в комнату.

Мама лежала с закрытыми глазами. Лицо — серое, выжатое. Рот чуть приоткрыт.

— Верка, — сказала она. Не открывая глаз.

— Что.

— Ты здесь?

— Здесь.

— Не уходи.

— Я здесь, мама.

КАПИТУЛЯЦИЯ

К пяти утра поток наконец пошёл на убыль.

Не кончился — просто стал меньше, реже, слабее. Мать сходила ещё раз, потом ещё раз — уже сама без эксцессов добралась до туалета, уже сама вернулась. Упала на постель — буквально упала, без сил, без слов. Течь по ногам прекратилось, видно кишечник очистился полностью.

Лежала.

Вера сидела на краю её кровати — на том месте, где сидела всегда последние месяцы. На примятом краю, у маминых ног.

Тишина.

Настоящая, первая за всю ночь.

— Верка, — сказала мама — тихо, с трудом. — Прости меня.

Вера посмотрела на неё.

— За что.

— За ночь такую. — Мать не открывала глаз. — Это я сама. Сама виновата. Не надо было шесть пить.

— Не надо было, — согласилась Вера.

— Я думала — так быстрее.

— Я знаю.

— Не быстрее вышло.

— Нет.

Молчание.

Потом мама нашла рукой — Верину руку, лежавшую на краю постели — нашла, не глядя, взяла. Крепко, с той неожиданной силой, которая бывает у людей в момент, когда им плохо и они держатся за что-то живое.

Вера не убрала руку.

Сидела.

Держала.

— Ты злишься? — спросила мама.

— Нет.

— Злишься. Ночь такая была.

— Мама. — Вера смотрела на это серое, выжатое лицо с закрытыми глазами. — Спи. Не думай сейчас.

— Устала ты.

— Устала.

— Прости.

— Сплю. Я рядом.

Мамина рука постепенно расслабилась — не выпустила, просто расслабилась, как расслабляется то, что больше не может держаться напряжённым. Дыхание выровнялось. Присвист — тихий, привычный.

Заснула.

Вера сидела ещё несколько минут.

Смотрела на маму.

На это лицо во сне — без страха, без напора, без всего, что было днём и всю ночь. Просто — старое лицо. Усталое.

Она осторожно вытащила руку.

Встала.

Пошла в ванну — посмотрела на гору испачканного белья в тазу. Залила горячей водой. Добавила порошок. Пусть отмокает. Потом отстираю, и в стиральную машину.

Потом.

Сейчас — коридор.

УБОРКА ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Время приближалось к шести, опаздываю, пора бежать на работу, она домывала линолеум.

На коленях — тряпка, ведро с чистящим средством, холодная вода. Руки работали — ровно, без мыслей, без оценок. Это нужно сделать, иначе все остатки разнесёт по всему дому. Это делается. Вот и всё.

Пятна на дверном косяке — она не понимала до сих пор, как они там оказались, но они были, она их видела — она отёрла их сначала влажной тряпкой, потом сухой. Шерстяные дорожки — они приняла больше всего, она работала с ними осторожно, поперёк ворса, потом вдоль, пока не стало чище.

Не идеально.

Дорожки потребуют нормальной стирки — потом, не сейчас.

Сейчас — чтобы не воняло. Чтобы можно было войти в дом и не знать.

В половине седьмого она встала с колен.

Постояла — держась за стену, потому что голова поплыла немного, это от долгого сидения на корточках, от бессонной ночи, от химии, в закрытом помещении. Прошло.

Она пошла к себе.

В комнате — постель нетронутая, та, которую расстилала в половине десятого. Чистая наволочка с запахом мороза и порошка. Она смотрела на неё.

Переделалась быстро.

Она взяла рабочую куртку. Сумку. Ключи.

Прошла через коридор — запах ещё стоял, слабее, но стоял. Небольшой сквозняк вытягивает запах, а когда вернётся — он уже рассеется. Она знала, что, когда вернётся мать ещё будет спать в своей комнате, поэтому окна раскрыла настежь.

Вышла на улицу.

Мартовское утро было серое, холодное, с мокрым воздухом и запахом весны под снегом.

Она шла к остановке.

Нет — к офису. Пешком, как всегда, двенадцать минут.

Думала о том, что сейчас придёт в чужой офис. Что там будут кабинеты — чистые, почти чистые, просто — рабочий беспорядок, бумаги на столах, кружки с засохшим чаем, мусорные корзины. Что она будет мыть полы — обычный пол, ровный, без всего. Что она будет протирать раковины в туалете — офисные раковины, аккуратные, минимальный след.

И что это — это — будет легко.

Легче, чем дома.

Это было страшным открытием.

Что чужая грязь — легче своей.

Что вымыть весь офис — это отдых. По сравнению с тем, что было дома.

Она шла и думала об этом.

И думала о том, что сказал врач — Маргарита Васильевна, на крыльце, с сигаретой. Про ту женщину, которая упала у плиты. Которая говорила «некогда» до последнего.

Вера поднесла руку к лицу.

Посмотрела на костяшки.

Трещины. Краснота. Следы хлорки — белёдые, по краям трещин.

Руки человека, которого используют.

Она опустила руку.

Шла дальше.

До офиса оставалось восемь минут.

Впереди — чужой пол. Чужие раковины. Чужой мусор.

Отдых.

В последней переговорной она успела остановиться — на секунду, проходя мимо зеркала.

Посмотрела.

Женщина в зеркале была — она знала это лицо наизусть, видела его каждый день — но сегодня оно было другим. Не внешне — те же черты, тот же цвет волос. Другим — внутри того, что читается в лице, если смотреть не на поверхность.

Серое.

Не больное, нет. Просто — серое. Того особого серого цвета, который бывает у людей, когда из них что-то ушло и ещё не вернулось. И неизвестно — вернётся ли.

Она вспомнила слова Маргариты Васильевны.

Человек, который ухаживает, привыкает считать свою жизнь менее важной. Это происходит незаметно.

Незаметно.

Вот именно.

Она смотрела на себя в зеркало.

И думала — впервые так отчётливо, впервые именно этими словами, без смягчения, без «наверное» и «может быть» — думала о том, что исчезает. Не мгновенно — постепенно, по кусочку, как исчезает всё, что тает медленно: сначала края, потом середина, потом — просто лужа, и не понять, что здесь было раньше.

Она исчезала.

В этом доме.

В этих тряпках и вёдрах.

В этих ночах.

Григорий говорил это словами — математика распада, рациональное облегчение, коробка, которую надо открыть. Маргарита Васильевна говорила это словами — давление сто пятьдесят семь, та женщина упала у плиты.

А здесь, в зеркале, это было без слов.

Просто — серое лицо.

Просто — руки с трещинами.

Просто — она, которой становилось меньше.

Она отвернулась от зеркала.

Взяла швабру.

Открыла дверь.

Вышла.